

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ
(ИНФОРМАЦИЯ)
ПРОИЗВЕДЕН,
РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ)
НАПРАВЛЕН
ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ
ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ
СОЦИОЛОГИИ ИЛИ
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
ЛАБОРАТОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ
СОЦИОЛОГИИ 18+

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

**Этнография «внезапной» войны
в приграничном регионе**
Курская область, осень 2024

**лаборатория
публичной
социологии**

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ:
29 СЕНТЯБРЯ 2025

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Осенью 2024 года, когда часть территории Курской области была оккупирована ВСУ, наши исследовательницы провели два месяца в регионе. Они вели включенное наблюдение и собирали неформальные интервью. Основной задачей исследования было понять, что представляет собой жизнь в непосредственной близости от фронта и как эта близость влияет на восприятие войны. Также мы хотели выяснить, что способствует и что препятствует формированию солидарности, самоорганизации и коллективного действия в среде беженцев и волонтеров.

Проанализировав данные, собранные в Курской области, и сравнив их с нашими данными из других регионов, мы пришли к следующим выводам:

1. Непосредственная близость боевых действий и личный опыт столкновения с ними не влияют на отношение жителей Курской области к войне и российскому руководству:

- ▶ Вместо того чтобы начать больше говорить о российско-украинском конфликте, куряне еще сильнее **отстранились** от его осмысления и оценки, сосредоточившись на **переживании своих личных утрат**. Чем сильнее война отражалась на их жизни, тем больше она воспринималась как **личное, а не политическое событие**, в котором нет виноватых, но есть пострадавшие.
- ▶ В восприятии курян вторжение ВСУ и оккупация были не закономерным последствием российско-украинской войны, а **отдельным и внезапным событием**. Куряне *проживали* свой опыт столкновения с военной реальностью **как природную катастрофу**. Они не хотели рассуждать о том, почему часть Курской области оказалась оккупирована украинской армией, а сам регион постоянно находился под обстрелом, и о том, кто во всем этом виноват.
- ▶ Оккупация и ее последствия не воспринимались как трагедия всероссийского, национального масштаба. Вторжение ВСУ в глазах курян было **региональной (а иногда локальной) проблемой**. Куряне **не «сплотились вокруг флага»** в ответ на вторжение ВСУ. Вместо ожидаемого многими подъема национализма мы наблюдали усиление и обострение ностальгии и

локальных идентичностей.

- ▶ Вторжение и оккупация радикально повлияли на жизни тех, кто вынужден был покинуть свои дома и превратился в беженцев. Однако даже они не поменяли отношение ни к самой войне, ни к российской власти.

2. Опыт прямого столкновения с войной, пришедшей на порог к курянам, изменил их практики медиапотребления, но эти изменения не сделали их большими или меньшими сторонниками «спецоперации». Многие куряне уделяли больше внимания — и больше доверяли украинским медиа, которые сообщали *полезную* информацию о ситуации на оккупированных территориях, чем российским новостным ресурсам, предлагающим информацию, не соответствующую действительности. «Разноголосица» информационной среды и ангажированность с обеих сторон способствовали отказу от оценок войны («всея правды мы никогда не узнаем»).

3. Столкновение с последствиями войны редко вело к формированию новых *солидарностей*. Чаще оно усиливало разобщенность в результате борьбы разных групп пострадавших за ограниченные ресурсы или способствовало аполитичному *сочувствию*, ставшему основной для взаимопомощи.

- ▶ Отношение курян к беженцам и отношение беженцев друг к другу определялись двумя противоположными мотивами: сочувствием и желанием помочь, с одной стороны, и стремлением преуспеть в конкуренции за ресурсы, с другой. И сочувствие, и редкая солидарность опирались на **ощущение близости**: люди помогали друг другу (и иногда действовали вместе), если чувствовали, что они похожи. Одновременно ограниченность ресурсов способствовала разобщенности: в других ситуациях те же самые люди могли считать друг друга чужими.
- ▶ При этом для большинства членов принимающего сообщества, то есть не пострадавших напрямую курян, беженцы оставались пусть и похожими, но *другими* — поэтому даже сочувствуя и помогая последним, они не думали о том, что у них могут быть общие интересы или что их беда — общая. Сочувствие не вело к солидарности.

4. Единственной группой, которой охотно помогали и беженцы, и не пострадавшие от войны напрямую куряне, были российские военнотружущие (мобилизованные). Желание помогать военным не

было продиктовано идеологическими или политическими мотивами — оно было вызвано сочувствием к «мальчишкам», оказавшимся на войне не по своей воле и больше всего страдающим от нее.

5. Ответственность за проблемы, вызванные вторжением ВСУ и оккупацией ими части российских территорий, куряне приписывали местным чиновникам, а не федеральной власти. Они обвиняли региональных политиков в коррупции, которая, по их мнению, привела к тому, что граница оказалась уязвимой перед ВСУ, а глав приграничных населенных пунктов — в том, что те не предупредили людей заранее и плохо организовали эвакуацию. Когда разговор заходил о действиях федеральной власти, куряне могли представлять вторжение как «хитрый план Кремля», призванный отвести силы противника от более важных направлений на фронте.

6. Большинство инициатив, занимавшихся помощью беженцам, представляли собой гибрид государственной бюрократии, низкой самоорганизации и благотворительности. В центрах гуманитарной помощи трудилось множество «профессиональных» волонтеров с опытом и людей, направленных в центры государством. Куряне без опыта волонтерства, которые сами решили помогать беженцам, обычно делали это через неформальные каналы, а не становясь волонтерами в центрах гуманитарной помощи и пунктах временного размещения беженцев.

7. Куряне, как и другие россияне, неохотно размышляли о будущем российско-украинского конфликта, а особенно сложно такие размышления давались беженцам, то есть тем, кто сильно пострадал от войны. Последние сосредотачивались на мыслях о *личном* будущем, зависящем от того, как будут разворачиваться события на занятых (на тот момент) украинской армией территориях Курской области, где они жили до этого. Идеальным будущим им казалось возвращение в прошлое — к их домам и населенным пунктам, к их жизни до вторжения ВСУ.

8. Военный кризис в Курской области не привел к идеологической (патриотической) мобилизации населения области (и страны тоже) в поддержку Кремля и его политики. Не привел он и к протестной политизации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ	15
1. Как мы собирали данные	16
Мы снова отправляемся на необычную работу	16
Молоко за вредность	21
2. Что у нас получилось? Описание данных	26
3. Что мы со всем этим делаем? Анализ данных	29
ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ: ЖИЗНЬ НА ГРАНИЦЕ С ВОЙНОЙ	32
Введение	33
1. Рассказы о жизни до 2014 года	34
2. «Сожительство» с войной до 6 августа 2024	37
Танки в огородах	38
Где-то там что-то бухало.	40
3. Вопреки катастрофе жизнь продолжается	42
Как гром среди ясного неба.	43
Мирная картина	45
4. Спонтанная эвакуация или отъезд налегке	49
Заключение	52
ГЛАВА 2. БОЛЬШОЙ ГОРОД — НОВОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ	54
1. Милитаризация городского ландшафта	56
Защитная инфраструктура	57
Локализованная пропаганда	60
Новые горожане — жертвы и участники войны	64
Война в повседневных разговорах	68
2. Как куряне «обживают» войну	73
Танцы под сирену.	73
Военные без войны.	81
Дроны-ноготочки-катышки	84
Пробки на дорогах и другие неприятности	89
Заключение	92

ГЛАВА 3. БЕЖЕНЦЫ	95
Введение	96
1. Переселенцы или беженцы?	96
«Нейтрализовать» войну.	97
Говорить с государством на его языке	98
Отказать в сочувствии	100
Признать чрезвычайность	101
Подчеркнуть уязвимость.	102
2. Быть беженцем в своей стране	103
Вся жизнь осталась там	104
Что, куда и как дальше?	108
Мы просто хотим вернуться.	110
Суджанцы с суджанцами	113
Вместе с соседями	116
Война разъединяет	118
Мародерят все.	119
Своих не бросаем?	121
Давайте не будем о плохом	125
3. Беженцы в глазах принимающего сообщества	128
Не наша беда	129
Бескультурные иждивенцы	130
Привилегированные	134
Чужаки	135
Заключение	137
ГЛАВА 4. ВОЛОНТЕРЫ	139
Введение	140
1. Инфраструктура помощи	140
Какими бывают помогающие организации	141
Государственное и низовое	145
2. Волонтеры бывают разные	149
Вынужденные волонтеры	150
Профессиональные волонтеры.	155
Волонтеры-беженцы	156

Волонтеры-новички	158
Меняющиеся мотивации	159
3. За дверями центра гуманитарной помощи	161
Ситуативные иерархии	162
Ежедневные задачи	164
Организация процесса и власть волонтеров	167
Эмоциональное напряжение и забота	172
4. Самостоятельная помощь	174
Тут каждый второй волонтер	174
Такие же, как мы	176
Заключение	179
ГЛАВА 5. ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ И ВЛАСТЬ	182
Введение	183
1. Оправдания вторжения — украинского и российского	183
Через границу перешли и дошли	184
Хитрый план Кремля	190
Критиковать или оправдывать в зависимости от ситуации	193
Не виноватая я	197
2. Образ врага	202
Паразиты в кукурузе	204
Поляки, британцы и «чумазые»	207
3. Критика войны	210
Большие дяди делят деньги	210
Критиковать, но понимать	211
4. Недовольство властью	218
Это делается все на местном уровне	220
Все разворовали	224
Заключение	228
ГЛАВА 6. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ, ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ.	230
Введение	231
1. Медиапотребление и пропаганда	231
Бесполезная пропаганда	232

Усталость от «негатива», мечты о нейтральности	233
В новостях такого не покажут	235
О пользе Telegram-каналов	237
Я просто слушаю людей	238
Между «своей» и «чужой» пропагандой	240
Всей правды мы (все еще) не знаем	241
2. Есть ли будущее после украинского вторжения?	243
Вперед в прошлое	243
Заключение	246
ПОСЛЕСЛОВИЕ. «ГОД ПРОШЕЛ, ЧИСЛО СМЕНИЛОСЬ – НИ*УЯ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ».	248
Природная катастрофа	249
Ценность нормальности.	251
Отношение к войне	253
Разобщенность, солидарность и сочувствие.	257
Год прошел, число сменилось	260

ВВЕДЕНИЕ



С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже более трех лет. С тех пор российское общество разделилось — не только и не столько на сторонников и противников «спецоперации», сколько на тех, кто оказались затронуты войной, и на тех, кто может себе позволить не замечать ее. Большая часть россиян не страдает от войны напрямую. Государство предоставило им все возможности для того, чтобы продолжать жить так, как будто никакой войны нет. Для меньшинства же жителей России, например, контрактников, мобилизованных, их родственников, околовоенных волонтеров или антивоенных активистов жизнь никогда больше не будет прежней — ее кардинально изменила война. Это меньшинство в каком-то смысле было принесено в жертву ради сохранения нормальной жизни (и лояльности) большинства. Текст, который вы читаете, посвящен одному из этих меньшинств, обычным жителям прифронтового региона России.

Он написан на основе этнографического исследования того, как жители Курской области переживали гуманитарный кризис, вызванный военным обострением в регионе. В августе 2024 года украинские войска за несколько недель оккупировали более 1000 квадратных километров российской территории и взяли под контроль более 80 населенных пунктов, в том числе город Суджу. В области был объявлен режим чрезвычайной ситуации и режим контртеррористической операции, предполагающий привлечение спецслужб, различные ограничения и меры контроля, например, проверку документов или обыски. Согласно официальным российским источникам, в первые недели после украинского вторжения из приграничных населенных пунктов было эвакуировано более 130 тысяч человек, и большинство из них оказались в Курске. В регионе было открыто более 90 пунктов временного размещения (ПВР), куда переселились тысячи человек, а также множество центров выдачи гуманитарной помощи. Осенью 2024 года в Курскую область приехали наши исследовательницы и наблюдали последствия украинского вторжения своими глазами. В середине марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что «ВСУ выполнили свою основную задачу в Курской области», а еще через полтора месяца российские официальные лица сообщили о полном освобождении региона.

При этом даже спустя год после трагических событий, осенью 2025 года, жители Курской области продолжают существовать в условиях кризиса. Большинство беженцев все еще не могут вернуться домой. Многие центры

гуманитарной помощи и волонтеры все так же снабжают их ресурсами. Пострадавшие до сих пор пытаются [получить компенсации от государства](#). В Курске и окрестностях почти ежедневно звучит сирена воздушной тревоги и порой случаются «прилеты» в жилые кварталы.

Сама по себе оккупация украинскими войсками части российской территории на протяжении более чем полугода — исключительный эпизод войны. Нас, однако, он интересует как очередной этап процесса проникновения войны в общество, которое государство стремится от нее оградить. На каждом таком этапе все новые группы людей оказываются непосредственно затронуты войной. Поскольку окончания российско-украинской войны все еще не наблюдается в обозримой перспективе, таких групп в обществе будет становиться все больше.

Этот аналитический отчет отвечает на следующие вопросы.

- ▶ Как опыт прямого соприкосновения людей с войной влияет на ее восприятие и оценку?
- ▶ Что представляет собой повседневность людей, живущих рядом с фронтом?
- ▶ Возможна ли солидарность и/или сочувствие между различными группами пострадавших от войны, а также между пострадавшими и не затронутым войной большинством?
- ▶ Ну и, в конце концов, способны ли пострадавшие от войны на открытый протест?

Наша команда провела непростое во всех отношениях исследование. Еще в 2023 году, после нашей [этнографической поездки в российские регионы](#), стало понятно, что россияне неохотно говорят о войне с исследователями, а главное, говорят о ней совсем не так и не то, что они же обсуждают в неформальной обстановке друг с другом. Кроме того, изучение военной повседневности исключительно по рассказам из интервью имеет очевидные ограничения. За повседневностью надо наблюдать непосредственно, а еще лучше — проживать ее изнутри. Именно поэтому в какой-то момент мы обратились к этнографическому методу. А осенью 2024 года две наши исследовательницы отправились в Курскую область.

Первая исследовательница приехала туда в начале осени 2024 года, вскоре после начала оккупации. Вторая исследовательница оказалась там спустя время, уже в начале зимы. Обе активно волонтерили в центрах

гуманитарной помощи, знакомясь и вступая в неформальные разговоры с беженцами и коллегами-волонтерами. Они много гуляли и разговаривали с горожанами где и когда это было уместно: в общественном транспорте, в такси, кафе и барах, в парках. Они встречались и болтали с новыми приятелями и знакомыми знакомых, расспрашивая их о жизни в регионе. Они внимательно наблюдали за происходящим вокруг себя. Результаты наблюдений и подробные пересказы неформальных разговоров они записывали в свои этнографические дневники. Им также удалось взять несколько формализованных интервью под запись — большинство курян, однако, наотрез отказывались от такого формата общения. Подробнее о методах сбора данных, сложностях, с которыми сталкивались наши исследовательницы и о том, что у них получилось, мы рассказываем в следующей главе.

Этот аналитический отчет описывает результаты четвертой части нашего масштабного качественного исследования, посвященного восприятию российско-украинской войны россиянами и военной повседневности в России. [Первая](#) и [вторая](#) части рассказывали, в основном, про мнения и оценки происходящего — сразу после начала войны и спустя небольшое время. [Третья](#) часть была посвящена повседневной жизни россиян вдали от фронта. Четвертая часть, которая перед вами, тоже знакомит читателей с повседневной жизнью обычных людей — но на этот раз тех, кто живет в приграничье и ежедневно наблюдает войну, развязанную их государством, своими глазами.

Текст, который вы читаете — это почти полноценная книга. Он состоит из методологической части и шести глав. Мы рекомендуем не пропускать [методологическую часть](#) — именно она повествует о приключениях наших исследовательниц в непростом «поле» и, конечно, знакомит читателя с данными, которые им удалось собрать, а также с тем, как на их основе мы делаем все наши выводы. [Первая глава](#) рассказывает предисторию той ситуации, которую застали наши исследовательницы, приехав в Курскую область осенью 2024 года: какой была жизнь в регионе до и сразу после начала российско-украинского конфликта и что пережили жители приграничья в августе 2024-го. [Вторая глава](#) описывает общественные пространства и городскую жизнь рядом с фронтом. [Третья глава](#) посвящена опыту беженцев, а [четвертая](#) — опыту волонтеров. Обе так или иначе поднимают вопрос о том, при каких условиях возможно сочувствие к пострадавшим от войны группам и где проходят его границы. [Пятая глава](#) рассказывает о том, как жители прифронтовой Курской области воспринимают — оправдывают и критикуют — российско-украинский конфликт и военное обострение в своем регионе, и кому и как они приписывают ответственность за происходящее. [Шестая глава](#) посвящена

особенностям медиапотребления тех, кто живет рядом с войной, а также тому, как они представляют свое будущее и будущее конфликта. Самая главная часть отчета — это, конечно, заключение. В нем мы собрали основные выводы, а также объяснили, что именно сообщают нам эти выводы о российском обществе, государстве и политике. Чем дольше идет российско-украинская война, тем больше пострадавших появляется в обществе — таких, например, как герои этого текста. Одновременно государство стремится сделать все, чтобы большинство могло жить как ни в чем ни бывало. Наше исследование показывает, в какой степени это удастся, а в какой — нет.

Над исследованием трудилась команда Лаборатории публичной социологии почти в полном составе. Но те, без кого этот текст был бы совершенно невозможен — это, во-первых, наши полевые исследовательницы, которые блестяще справились со сбором данных в непростой ситуации, а во-вторых, наши герои-курае, многие из которых помогали исследовательницам как могли. К сожалению, пока мы не можем назвать имена ни тех, ни других — но надеемся, что со временем они попадут в историю.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

1. Как мы собирали данные

Мы снова отправляемся на необычную работу



Текст, который вы сейчас читаете, написан на основе этнографического исследования. Год назад мы уже выпустили отчет по результатам подобного исследования восприятия войны в российских регионах (проведенного осенью 2023 года) и подробно рассказывали вам о том, что это такое.

Сбор данных во время этнографического исследования — это особая работа, не похожая на то, как обыватель представляет себе труд «социолога». Этнограф не бегает с анкетами и не пристает к людям с просьбами ответить на его или ее вопросы. Этнограф становится частью сообщества, которое он или она (а в нашем случае — это всегда она) изучает. Этнограф смотрит на происходящее широко открытыми глазами, завязывает отношения с людьми вокруг, общается с ними в неформальной обстановке и обязательно ведет этнографический дневник — подробные заметки о событиях и впечатлениях.

При этом этнограф, в отличие, например, от журналиста (который тоже делает очень важную работу, просто другую) приходит в «поле» — то есть, в сообщество, которое она изучает — вооружившись научным методом. Этнограф — в нашем случае вместе с командой — заранее формулирует исследовательские вопросы и разрабатывает способы получить на них ответы. Этнограф не задает свои вопросы собеседникам напрямую, поскольку последние обычно не знают, как на них ответить (а когда знают — слова часто не соответствуют их реальному поведению). Это означает, что этнографу надо понять, куда именно пойти, с кем и как говорить, за чем и как наблюдать, чтобы получить необходимые ответы. Этнограф владеет специальными методами фиксации происходящего в своем дневнике, а вся команда — методами систематического анализа собранных данных. Этнограф, с одной стороны, становится частью сообщества, а с другой — остается чужаком. Этот взгляд чужака, в свою очередь, позволяет ей замечать то, что сами члены сообщества не замечают. Но хватит общих слов: чем именно занимались в Курской области наши этнографы?

Идея провести этнографическое исследование прифронтовых регионов пришла нам в голову сразу после успеха нашего [предыдущего этнографического исследования](#), в рамках которого мы изучали, как россияне, не пострадавшие напрямую от войны, живут в России военного времени и размышляют о происходящем. Уже тогда стало понятно, что

многие не хотят говорить о войне под запись, но не прочь поболтать на связанные с ней темы в неформальной обстановке. Планируя поездку в прифронтовой регион, мы были готовы и открыты ко всему. Может быть, жители прифронтовых регионов, проживая войну каждый день, будут охотно рассказывать о своем опыте? Тогда мы запишем много социологических интервью с ними. А может быть, они будут бояться и предпочтут молчать? Тогда мы сосредоточимся на наблюдении за происходящим. Оказалось, однако, что люди, живущие в условиях войны, и в особенности пострадавшие от войны напрямую, хотят делиться своим опытом и быть услышанными — но, за редкими исключениями, не готовы делать это под запись, в формате интервью. Поэтому методология этнографического исследования с ее акцентом на неформальные разговоры и их фиксацию в дневниках оказалась особенно уместной. Это едва ли не единственный способ изучать восприятие войны в таких местах, особенно когда речь идет о жителях небольших приграничных деревень, которые, по их собственному признанию, не хотят и «не умеют» давать интервью социологам.

Мы выбрали Курскую область в качестве региона для исследования после военного обострения в ней в августе 2024 года. Вслед за вторжением ВСУ и частичной оккупацией в регионе появились тысячи людей, бежавших из приграничья, участились обстрелы, а в Курске даже на расстоянии от фронта почти ежедневно начали звучать сигналы воздушной тревоги. Первая наша исследовательница провела в регионе **три недели в сентябре и октябре 2024 года**. Она успела посетить **город Курск и поселок Игловку** (название изменено), находящийся примерно в 50 километрах от Курска. Вторая — **четыре недели в ноябре и декабре 2024 года**. Все это время она была в столице, **городе Курске**.

Наши исследовательницы использовали несколько стратегий сбора данных.

Первая и основная — *наблюдение через участие*: обе стали волонтерками в нескольких центрах гуманитарной помощи. Там они выдавали еду и одежду беженцам, покинувшим свои дома в приграничье и оставшимся почти ни с чем. Таких центров и пунктов в регионе имелось много, они отличались друг от друга: одни действовали при поддержке государства, другие были негосударственными, а какие-то — даже условно оппозиционными. Все они остро нуждались в волонтерах. Именно к этой работе и подключились исследовательницы. Это стало для них тем, что на жаргоне социальных наук называется «входом в поле». Они наблюдали

за организацией помощи, за взаимодействием волонтеров и беженцев, заводили знакомства и беседовали с теми, кто искал внимательных слушателей.

Вторая стратегия — это *ненавязчивые беседы со случайными собеседниками*. Наши исследовательницы заводили разговоры с теми, кто привык говорить с незнакомцами — барменами и бариста, мастерицами маникюра и педикюра, водителями такси, отдыхающими на лавочках в парке и так далее.

Третья стратегия — это встречи, прогулки по городу и *разговоры с местными жителями, чьими контактами с нами поделились наши друзья, знакомые и коллеги*. В нескольких из этих случаев исследовательницам даже удалось записать формальные социологические интервью.

Наконец, четвертая стратегия — это *невключенное наблюдение*. Исследовательницы ходили по улицам и внимательно смотрели вокруг, фиксируя, как в публичном пространстве отражается близость войны. Они замечали защитные сооружения, помещения, переоборудованные в волонтерские центры или многочисленные плакаты на военную тему — от рекламных до откровенно пропагандистских. А еще — людей с растерянным взглядом: вскоре исследовательницы научились практически безошибочно узнавать в них беженцев. Они прислушивались к разговорам в общественном транспорте, парках и кафе. В отличие от похожих разговоров в далеких от фронта регионах, здесь тема войны звучала регулярно.

Опираясь на опыт предыдущего этнографического исследования, наша команда подготовила гайд для наблюдения за публичным пространством в области, в том числе для того, чтобы полученные данные можно было сравнивать с материалом, собранным нами раньше в отдаленных от фронта регионах. Мы также адаптировали под актуальную ситуацию наш стандартный гайд для глубинных социологических интервью о восприятии войны и жизни в России военного времени. Последний, впрочем, пригодился всего несколько раз — большинство курян категорически отказывались говорить под запись, как бы исследовательницы ни убеждали их в анонимности. Показателен в этом отношении разговор одной из исследовательниц с волонтеркой по имени Света. Они вместе работали в центре гуманитарной помощи, помогая беженцам, и постепенно сблизились: выходили на перекуры, делились жалобами на жизнь и почти подружились. Во время одного из таких разговоров исследовательница призналась Свете, что собирает материал для научного проекта, и

предложила дать анонимное интервью. Реакция Светы оказалась красноречивой. Вот как этот эпизод воспроизвела исследовательница в своих полевых записях (по памяти сразу после разговора):

Света: Я умными словами говорить не умею.

Исследовательница: Не надо говорить умными словами, надо как есть.

Света: Я не хочу прославиться на весь этот мир.

Исследовательница: Все интервью анонимные! Статью потом напишу научную.

Света: Ты чего, ебнулась? Не втягивай меня в это, у меня своих дел полно.

Исследовательница: Ну, как хочешь. Просто это реально очень интересно. И для российской науки, и вообще для человечества. Для будущего. Ну, я так считаю.

Света: Зависит все это не от нас точно. Максимум, что мы можем сделать — это высказать свою точку зрения по поводу всего этого. И все. Толка от этого я не вижу. Смысла от этого я тоже не вижу.

Исследовательница: Почему?

Света: Ну, потому что ты напишешь статьи, но никто вникать в эту хуйню не будет. Это как если мы тебе начнем рассказывать, что творится в Уланке, Борках, Плехово, Судже, Малой Лохне... оно тебе надо? (ж, 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска родом из приграничья, Курск, сентябрь 2024).

Этот короткий диалог важен тем, что в нем прозвучало сразу несколько причин, по которым и другие куряне не соглашались «официально» разговаривать с исследователями. Одни чувствовали себя недостаточно компетентными в вопросах войны и политики, другие боялись «засветиться». Но почти все ощущали бессмысленность таких разговоров: они были уверены, что их истории никому не нужны и ни на что не повлияют. Еще и поэтому мы хотим рассказать эти истории здесь.

В ситуации, когда формальные социологические интервью под запись оказались невозможны, мы стали использовать метод **«непрямого» или «неформального» интервьюирования**. Наши исследовательницы разговаривали со своими собеседниками в комфортной для них обстановке, подчиняясь естественному ходу беседы, но задавая при этом заранее продуманные и важные для исследования вопросы. Поскольку такие разговоры тоже опирались на гайд, их можно сравнить между

собой и систематически анализировать. После каждого такого разговора исследовательницы делали подробные заметки в этнографическом дневнике.

Этнографическое исследование восприятия войны в военное время в прифронтовом регионе в авторитарном государстве не может быть простым с этической точки зрения. Единственный способ сделать это исследование безупречным с этической точки зрения — это не проводить его. Мы пошли по другому пути. Мы посвятили много времени обсуждению разнообразных этических проблем, которые могли возникнуть в полевой работе, и выработке решений для них — не безупречных, но жизнеспособных.

Самая главная проблема такого исследования — это его потенциальная опасность для жизни и свободы как исследовательниц, так и их собеседников. Поэтому мы, во-первых, разработали протоколы безопасности для наших исследовательниц, в детали которых мы не будем вдаваться в этом тексте, чтобы не нарушить безопасность исследовательниц в будущем. Во-вторых, мы выработали протоколы для хранения и передачи данных, как во время полевой работы, так и после нее. В-третьих, в качестве дополнительной меры, призванной обеспечить безопасность наших собеседников, все данные *с самого начала* собирались в анонимизированном виде. Иными словами, даже когда исследовательницы писали свои заметки, они изменяли известные им имена героев, названия исследовательских локаций, многих населенных пунктов и так далее. После окончания полевой работы несколько других участниц нашей команды внимательно вычитывали этнографические дневники на предмет любой информации, которая позволила бы идентифицировать личности упоминающихся в них персонажей — эта информация сразу удалялась.

Другая этическая проблема этого исследования — впрочем, типичная для многих этнографических исследований — это невозможность полноценного информированного согласия со стороны наших героев. В традиционном социологическом исследовании требование информированного согласия предполагает, что его участники полностью осведомлены о том, кто проводит исследование, в каких целях и как будут использоваться собранные в рамках него данные. В нашем же случае, как мы уже показали выше, большинство потенциальных собеседников не были готовы говорить с социологами. На наше счастье, мы далеко не первые, кто работал в таких условиях — социологи и антропологи изучали, например, уличные бандитские группировки, нелегальных мигрантов или работников трудовых лагерей — в общем, группы, представители которых

не слишком-то жалуют исследователей или интервью. Невозможность полного информированного согласия в таких «полях» обсуждается в профессиональной социологической и антропологической литературе. Ученые отмечают, что наличие полного информированного согласия (как и его полное отсутствие) — редкость в этнографических исследованиях. Этнографы всегда прибегают к разным «промежуточным» стратегиям. Так, чаще всего наши исследовательницы выбирали роли, которые сами по себе позволяли и даже требовали от них разговоров с интересующими нас группами курян — например, роль волонтера требовала общения с другими волонтерами и беженцами. Они частично, насколько это было уместно, рассказывали о себе: о том, что они антропологи и что их интересует происходящее в регионе с исследовательской точки зрения. Такой подход называется учеными «[adoption of an appropriate semi-covert role](#)» (если переводить дословно, «принятие на себя полускрытой роли, соответствующей ситуации»).

Кроме того, ученые, причем не только социальные, обычно полагаются в своих исследованиях на этический принцип «не навреди»: или иными словами [потенциальная польза обществу от исследования должна перевешивать его потенциальный вред](#). Это ключевой принцип нашей работы. Наши протоколы безопасности и анонимизации данных гарантируют отсутствие вреда нашим собеседникам и минимизируют опасность для исследовательской команды. Одновременно мы верим в то, что это исследование поможет увидеть и понять бессилие, злость, ненависть, но также горе, любовь и сострадание, которые проживают обычные, «маленькие» люди — жители большого государства-агрессора — и сделать наш мир чуточку гуманнее, а войны чуть менее «нормальными» в глазах человечества.

Молоко за вредность

«Поле», в которое почти на месяц погрузились наши исследовательницы, было непростым — причем не только и не столько из-за физической опасности-бесопасности, в связи с которой у нас были разработаны протоколы безопасности (к тому же, в тех местах, где были исследовательницы, в то время не было сильных обстрелов), сколько из-за эмоционального напряжения.

Сигналы тревоги, обстрелы за чертой города — все это обращало на себя внимание исследовательниц лишь в первые дни. Так, одна из них услышала сирену прямо на перроне, когда приехала в Курск в сентябре 2024 года. «Курск встречает, поздравляю себя с началом поля», — записала она в дневнике. Спустя всего четыре дня она отметила: «Сегодня я проснулась

позже обычного. <...> Пока я пила кофе, услышала сирену. Вообще никак не отреагировала — уже привыкла» (Курск и Игловка, сентябрь 2024). Вторая исследовательница, оказавшаяся в Курске в ноябре, отметила спустя несколько дней: «Пока занималась всякой бытовой рутинной, едва услышала сирену. Наверно она и вчера была, просто я не обратила внимание» (Курск, ноябрь 2024). Впоследствии обе заметили: большинство курян вообще не реагировали на сирену — и невольно сами переняли эту практику.

Куда труднее исследовательницам было привыкнуть к человеческому горю. Каждый день им приходилось сталкиваться с людьми, потерявшими дома, а иногда и близких. На этом фоне они остро ощущали собственную привилегированность: они были обеспечены всем необходимым и приехали в регион на время, чтобы в научных целях поговорить с теми, кто многое потерял. В дневниках регулярно появлялись записи вроде:

«Мне было очень его жалко. Я уговаривала его взять побольше, но в итоге он взял всего одну коробку макарон и две баклажки воды» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

«Мне стало ее жалко, она почти плакала. Я вздохнула и предложила помочь подобрать ей вещи. Она немного успокоилась» (центр гуманитарной помощи, Игловка, сентябрь 2024).

Дневники наполнены размышлениями исследовательниц о чувствах беженцев и о собственных реакциях на эти чувства. Так, одна из них описала сцену, в которой она помогала беженке подбирать одежду в центре гуманитарной помощи. Та жаловалась, что среди вещей не найти ничего подходящего размера: «Ну, я просто люблю посвободнее, а то уже года не те, чтобы обтягиваться...», — сказала она и заплакала. Чуть-чуть успокоившись, беженка рассказала, что они здесь уже второй месяц. Она продолжила перебирать вещи и, взяв в руки кофту без пуговиц, заметила, что сама недавно пыталась их заказать — но пришли «малюсенькие, плохие, не те». Исследовательница предложила вместо пуговиц «поясок». Женщина ответила: «Может, все-таки найдем что-то еще», — и снова начала всхлипать: «Я если поплачу чуть-чуть, потом как ливанет из глаз...». В дневнике исследовательница написала:

«После этого она ушла с головой в перебор одежды — для себя и для ребенка. Было видно, что она это делает, чтобы сдерживать слезы. Я больше не стала ее спрашивать: мне стало немного стыдно, что, возможно, я была с ней недостаточно деликатна.

Особенно из-за своей фразы про “поясок” — она прозвучала не так, как я хотела. Я подумала, что это как раз тот случай, когда сильное внутреннее напряжение и обида из-за одного начинают транслироваться на все: и на то, что нет одежды нужного размера, и на то, что даже пуговицы пришли не те. Как будто все вокруг только подчеркивает, что прежняя жизнь потеряна и ничего привычного больше нет. Я прямо почувствовала это в ее поведении — как она старается справиться, но с трудом. Мне стало очень ее жалко, и я решила дальше ее не спрашивать» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Исследовательницы часто вкладывались в волонтерскую работу гораздо сильнее, чем того требовали задачи исследования: старались помочь как можно большему числу людей и порой «компенсировали» недостатки системы, неспособной оказать нужную помощь. Так, одна из них заметила, что на складе гуманитарной помощи нет мужской обуви большого размера. Между тем пожилой беженец приходил туда из-за дня в день, надеясь найти нужную пару. Тогда исследовательница сама пошла в магазин и купила ему обувь.

Чтобы установить доверие с собеседниками, нашим исследовательницам не нужно было прилагать особых усилий. Куряне, а особенно беженцы, сами хотели выговориться и поделиться своим опытом. Война настолько проникла в их повседневность, что темы, связанные с ней, возникали даже там, где исследовательницы этого меньше всего ожидали. Тут следует отметить, что «говорить о войне» можно в двух разных смыслах: затрагивать тему войны либо предлагать гражданские и политические размышления о войне. Куряне охотно говорили о войне в ее бытовом, «человеческом», экономическом аспектах, что неудивительно, учитывая то, что война затронула их напрямую. И в то же время они, как и другие россияне, неохотно касались вопросов причин и последствий войны, роли в ней общества и государства — и вовсе не потому, что не имели привычки и вкуса к «абстрактным», «политическим» размышлениям. Например, однажды наша исследовательница разговорилась с охранницей центра гуманитарной помощи: последняя всячески избегала обсуждения причин войны и ее последствий для общества в целом. В то же время она охотно делилась с нашей исследовательницей своими соображениями о российской системе образования, ее недостатках и преимуществах, а еще — о реформе в этой сфере. Критикуя ЕГЭ, охранница настаивала на том, что помнить даты не так важно, как понимать суть событий, таких, например, как Великая Отечественная война (ж, около 60 лет, охранница

центра гумпомощи, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). Иронично, что наша исследовательница смогла поговорить с ней обо всем, кроме «сути» текущей российско-украинской войны.

Часто для доверительного разговора исследовательницам было достаточно внимательно слушать своих собеседников и показывать соучастие. Однажды, например, во время прогулки по парку, наша исследовательница заметила трех женщин. Одна из них жаловалась на тяготы жизни двум другим. Исследовательница безошибочно догадалась, что говорящая — беженка, подошла поближе и стала внимательно слушать. Одного этого оказалось достаточно: женщина переключила свое внимание на нее, и разговор завязался сам собой (городской парк, Курск, сентябрь 2024). В другой ситуации, в первые дни работы в центре гуманитарной помощи, исследовательница с удивлением записала в дневнике, что молодые волонтеры из курского колледжа, многие родом из приграничья, «сами подходят ко мне и начинают рассказывать свою боль — даже когда я их об этом не спрашиваю» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Наиболее непринужденные разговоры — и с беженцами, и с коллегами-волонтерами — происходили в курилке. Поэтому работа в поле стоила нашим исследовательницам немало количества выкуренных сигарет.

Иногда, впрочем, исследовательницы замечали, что их слова или реакции оказывались неуместными и разрушали доверие собеседников. Нечто подобное случилось, когда уже упоминавшаяся волонтерка Света спросила у нашей исследовательницы, как та относится к президенту Путину. Исследовательница постаралась ответить честно, но избегая прямой оценки. Она сказала, что ей жалко людей, погибающих на войне, и что, с ее точки зрения, власть недостаточно заботится о людях. Света отреагировала резко: «О людях никто не заботится. В теории это их работа, но на практике — нет». Исследовательница зафиксировала в дневнике:

«После этого мы обе резко замолчали и молча вышли из туалета. Мне кажется, я сплеховала. Мне было страшно продолжать разговор, потому что мы находились внутри центра [гуманитарной помощи], и мне было тревожно. Было неловко вспоминать о том, что мы только что обсуждали, и еще более неловко из-за того, что я не знала, как правильно продолжить разговор. Мне следовало спросить ее, как она сама относится ко всему этому, но я растерялась. Кажется, ей тоже было неловко после этого диалога — так же, как и мне» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Такие «неудачи» усиливали тревожность исследовательниц. В дневниках они описывают моменты, когда тревога нарастала: во время недовольных реакций собеседников на их реплики, под внимательными взглядами в ответ на их вопросы, при вооруженных людях поблизости.

«Я поспешила пересесть ближе к водителю автобуса, чтобы лучше слышать. Пока пробиралась, заметила в автобусе знакомую мне учительницу, поздоровалась с ней и спросила, готова ли она к смене. “А как быть не готовой?” — ответила она равнодушно, без особых эмоций. Я немного напряглась. А вдруг она поймет, что я специально сажусь ближе, чтобы слушать водителя?» (автобус, Курск, сентябрь 2024).

«Войдя в холл, я заметила охранников с калашами — они стояли у лестницы, рядом с ресепшеном. Мне стало немного не по себе от вида автоматов. За столиками в холле (буфетная зона) все также сидели мужчины пенсионного возраста и пили что-то из рюмочек. Все столики были заняты. Если бы там была хотя бы одна женщина, то я бы купила что-то в буфете и села поболтать, но к выпивающим дедам было как-то ссыкотно идти. Да и охранники с калашами вообще не добавляли уверенности — вдруг они сочтут меня какой-то подозрительной личностью?» (гостиница-ПВР, Курск, декабрь 2024).

Со временем исследовательницы все больше интегрировались в местное сообщество. Они привыкали к обстрелам и переставали обращать внимания на сирену тревоги. Их эмоции притуплялись. «Я слушала историю беженцев, и мне было жалко этих людей, — отметила одна из них после нескольких дней волонтерства. — Но одновременно я чувствовала, что начинаю терять эмпатию. За последние дни слишком много подобных историй прошло через меня, и казалось, что люди просто подходят ко мне, чтобы слить свою боль» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Постепенно исследовательницы научились распознавать беженцев в городской среде по едва заметным признакам. Если в первые дни в «поле» свежий взгляд помогал им видеть то, к чему местные жители давно привыкли, то позже эта свежесть взгляда была утрачена. На его место пришли новые навыки — эмоциональная устойчивость и способность замечать то, что скрыто от посторонних глаз.

2. ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ? ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

Совокупно исследовательницы провели в поле около двух месяцев (в разное время). В результате в нашем распоряжении оказались **два** внушительных **этнографических дневника** и **семь** записанных на диктофон **глубинных социологических интервью**.

Первый дневник описывает поездку в Курск и Игловку в сентябре-октябре 2024 года и составляет около **165 000 слов**. Второй — поездку в Курск в ноябре-декабре 2024. Он составляет около **100 000 слов**. Помимо описания того, что исследовательницы наблюдали в регионе, дневники включают в себя **множество «непрямых» или «неформальных» интервью**, которые исследовательницы фиксировали по памяти сразу после их окончания. Многие из этих неформальных интервью представляют собой серию бесед с одними и теми же людьми. Это типично для этнографического исследования: беседы в таком исследовании обычно носят неформальный характер и не записываются на диктофон, но зато ведутся с «главными героями» не единожды, а изо дня в день. Именно поэтому на страницах отчета читатель будет встречать повторяющиеся имена — это имена наших главных героев. Среди них — волонтерки и волонтеры, с которыми плечом к плечу работали наши исследовательницы: Регина, Глория, Игорь, Рита, Карина, Аня, Милана, Шура, Тамара, Энджи, Света, Раиса, Даша, Богдана, Мария, Андрей и Костя. Это также жители Игловки Марина и ее муж Саша, приютившие одну из наших исследовательниц. Это барменши Вика и Марго, а также посетители многочисленных курских баров и кофеен, с которыми подружились исследовательницы: Ида со своим молодым человеком, Саня со своей девушкой, Сергей, Илья и Настя, Соня, Дима и Кира. Это также знакомые наших знакомых, которые соглашались встречаться и проводить время с исследовательницами: Настя, Вероника и Диана. Беседы с большинством беженцев у исследовательниц получались длинными, но единичными. Некоторые из беженцев, однако, возвращались в центры гуманитарной помощи раз за разом, а кое с кем исследовательницы встречались и за пределами центров — они тоже стали главными героями этого текста. Среди них: Шура и Олег, Лина, Мира, Татьяна и ее мама, а также Полина.

Три из семи глубинных социологических интервью были взяты онлайн первой исследовательницей после ее возвращения из Курской области. Ее собеседники — это люди, с которыми она познакомилась во время поездки. Еще два интервью взяла онлайн одна из редакторов этого отчета с выходцами из Курской области, регулярно навещающими родные места. Их контакты команда PS Lab получила через знакомых. Наконец,

последние два были записаны второй исследовательницей прямо в Курске. Все интервью длились около часа, за исключением двух, которое длились чуть более трех часов.

Всех наших собеседников — и тех, с которыми мы записали формальные интервью, и тех, с которыми просто разговаривали — можно разделить на три группы.

Первая группа — это жители приграничных территорий, которые покинули свои дома после того, как эти территории перешли под контроль украинской армии. Местные и федеральные власти, а также прогосударственные СМИ называли этих людей «переселенцами». Сами пострадавшие для обозначения своего статуса использовали слово «беженцы». ООН ввел термин «внутренне перемещенные лица» для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома в результате военных конфликтов, но остались внутри своей страны. Тем не менее, мы сделали выбор в пользу употребления слова «беженцы». Это слово этимологически связано с глаголом бежать и указывает на процесс бегства. Именно о бегстве рассказывали нам наши собеседники (в противовес «перемещению» со стороны государства или «переселению» по собственной инициативе). Беженцам посвящена отдельная, **третья** глава этого отчета.

Вторая группа — это волонтеры. Наши исследовательницы общались со множеством коллег-волонтеров во время работы в центрах гуманитарной помощи. Кто-то приходил туда по собственной инициативе, других направляли работодатели — чаще всего государственные учреждения. Иногда же мотивы смешивались: например, работодатель отправил человека «волонтерить», но уже на месте «добровольно-принудительный» волонтер или волонтерка по-настоящему увлекались этим занятием. Подробнее об этом мы рассказываем в **четвертой** главе.

Наконец, третья группа наших собеседников — это жители Курской области (прежде всего Курска и Игловки), которые не являются беженцами, то есть не пострадали от военных действий напрямую.

Беженцы и жители Курской области, не пострадавшие от войны непосредственно — категории, очевидно, непересекающиеся. Однако среди волонтеров нам встречались и те, и другие. Некоторые же волонтеры, как и наши исследовательницы, приехали помогать из других регионов. Поэтому, когда мы цитируем истории или слова наших героев из этнографических дневников, мы указываем не только их пол, возраст и профессию (если она известна), но и то, к какой группе относится собеседник

— например, «беженка» или «жительница Курска» или «беженка, волонтерка». Поскольку подавляющая часть наших данных собрана именно в этнографических дневниках, мы не подписываем источник данных («этнографический дневник») во время каждого цитирования. В тех же редких случаях, когда мы используем фрагменты записанных на диктофон интервью, мы помечаем их как «интервью».

Традиционно словом «куряне» называют жителей города Курска. Однако в тексте, который вы читаете, мы используем его в более широком смысле — для обозначения всех жителей Курской области. Под «курянами» мы имеем в виду и беженцев, и жителей Курска или Игловки, не пострадавших от войны напрямую, и тех из них, кто одновременно является волонтерами.

С большинством наших героев мы знакомимся в процессе неформальных интервью, то есть, обыденных разговоров, пусть темы этих разговоров и диктовались исследовательскими вопросами. Поэтому нам известен лишь их примерный возраст и иногда — профессия, а вот экономическое положение мы почти никогда не знаем. Поэтому, в отличие от предыдущих отчетов, мы не приводим здесь графики с распределением социально-экономических характеристик наших собеседников. Тем не менее, можно отметить несколько присущих им характерных особенностей. Во-первых, среди них (особенно беженцев, но не только) много выходцев из непривилегированных слоев общества, много тех, кто не имеет высшего образования и не принадлежит к числу обладателей престижных профессий. Во-вторых, многие из них (по преимуществу, беженцы) происходят из деревень, где они жили за счет сельского хозяйства. Их благосостояние связано с землей, а не копится исключительно на банковских счетах, поэтому они гораздо менее мобильны, чем городские жители. В-третьих, среди наших собеседников особенно много людей пожилого возраста — такие люди нередко обращались за помощью в центры гуманитарной помощи. Все эти особенности напрямую влияют на суждения и действия наших героев, и там, где это возможно, мы стараемся показать и объяснить это влияние.

Неформальные интервью с беженцами часто начинались с вопросов об их текущем эмоциональном состоянии и переходили в подробные рассказы о жизни до и во время войны, об опыте эвакуации и о трудностях обустройства на новом месте. Во время **неформальных интервью с волонтерами** исследовательницы расспрашивали последних об их работе в центрах гуманитарной помощи, о том, как они туда попали, и о том, как они сами оценивают организацию волонтерства. **Неформальные интервью с местными жителями**, которые не были ни волонтерами,

ни беженцами, обычно касались ситуации в регионе и ее влияния на повседневную жизнь, а также эмоций, связанных с войной. Во всех трех случаях исследовательницы пытались — с разной степенью успеха — вызывать у собеседников оценочные, политические, рефлексивные суждения о войне, задавая общие вопросы вроде: «Как такое вообще получилось?» или «Как такое могли допустить?». При этом во всех неформальных интервью нередко всплывали и другие темы, а оценочные реплики о войне порой звучали спонтанно, без всяких наводящих вопросов со стороны исследовательниц. **Формальные интервью** включали все эти темы и дополнялись вопросами о политических взглядах и опыте политического участия, о медиапотреблении и социально-экономическом положении информантов.

3. ЧТО МЫ СО ВСЕМ ЭТИМ ДЕЛАЕМ? АНАЛИЗ ДАННЫХ

Первый этап анализа данных почти в любой социологической и антропологической работе — это «кодирование». Мы разбили текстовые данные на тематические категории. Часть из них была определена заранее — исходя из исследовательских вопросов. Другая часть была продиктована самими данными. Благодаря кодировке каждый исследователь мог обращаться к конкретной теме и работать только с теми фрагментами корпуса, которые к ней относятся.

После завершения кодирования данных редакторки отчета, внимательно изучив все материалы, составили план: придумали общую структуру и примерное наполнение каждой из глав. После этого члены команды прочитали получившееся «оглавление», выбрали приглянувшиеся им и интересующие их с профессиональной точки зрения фрагменты и приступили к самостоятельному анализу выбранных тем. Когда авторский анализ был закончен и главы дописаны, редакторки свели текст воедино, убедившись в отсутствии повторов и противоречий. В конце редакторки написали эту, методологическую главу, а также введение и заключение ко всему отчету.

Авторы использовали разные техники анализа, работая над выбранными ими фрагментами, однако все мы ориентировались на общие его принципы. Так, мы изучали мотивы, стоящие за теми или иными поступками наших героев, или внешние обстоятельства, направляющие их действия в ту или иную сторону. Мы обращали особое внимание на сочетания грамма-

тических конструкций, лексических единиц и метафор, которые выступали маркерами идентичности или политической оценки в речи наших собеседников. Другими словами, мы анализировали, кто такие «мы» и «они» в речи наших информантов, как описываются представители государства, власти и гражданского общества, с помощью каких формулировок люди говорят об украинских военных и так далее. Все это позволяло нам изучать восприятие войны теми, у кого нет явных «политических позиций». Мы пытались схватить и описать логику, стоящую за тем, что в народе принято называть «кашей в голове».

Публикации наших предыдущих аналитических отчетов вызвали бурную дискуссию среди читателей: влияют ли наши политические взгляды на результаты нашего анализа? Действительно, у участников нашей команды есть политические взгляды. Эти взгляды — левые, хотя и разного толка. Кроме того, мы, как россияне, занимаем антивоенную позицию, то есть считаем наше государство в первую очередь ответственным за начало российско-украинской войны, а саму войну — наносящей вред обществу. При этом многие из нас по-разному смотрят на целый ряд политических вопросов: текущую экономическую политику России, ее взаимодействие с западными странами, вопрос коллективной ответственности россиян за агрессию против Украины и так далее.

Как исследователи, мы старались избежать непосредственного влияния наших взглядов на то, как мы анализируем данные. Во-первых, методологический тренинг в рамках академической науки научил нас отличать интерпретации наших информантов, которые мы зачастую описываем в этом отчете, от наших собственных интерпретаций — и в случае последних объяснять, на основании чего и с какой степенью уверенности мы их делаем. Во-вторых, мы полагались то, что в науке называется «исследовательской триангуляцией»: с одним и тем же материалом над одними и теми же темами в нашей команде работали сразу несколько исследователей. Если интерпретации нескольких исследователей различались, мы обсуждали это отличие внутри команды и разбирались, с чем это связано.

Самое важное, однако — это то, что даже из одинаковых *исследовательских* интерпретаций члены нашей команды делают для себя разные *политические* выводы. Это показывает, что взгляды внутри команды действительно отличаются, но несмотря на это, мы обычно приходим к схожим исследовательским интерпретациям (то есть наши интерпретации не определяются нашими взглядами). Например, мы все наблюдаем оправдание войны многими россиянами как почти «природного» события, не зависящего от их воли (исследовательская интерпретация). Но для кого-то

из нас это не снимает с них ответственности за происходящее, для кого-то — напротив, снимает, а кто-то считает сам язык ответственности и вины неприменимым (политические интерпретации).

Поэтому в этом отчете мы не делимся нашими политическими интерпретациями событий в Курской области. Мы предлагаем читателю *исследовательские интерпретации*, к которым мы пришли все вместе, несмотря на различие в наших взглядах — и пусть читатель сделает из них свои политические выводы.

ГЛАВА 1.

ПРЕДЫСТОРИЯ: ЖИЗНЬ НА ГРАНИЦЕ С ВОЙНОЙ

ВВЕДЕНИЕ



Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года стало шоком для огромного количества россиян, включая нас самих. Подавляющее большинство наших собеседников — вне зависимости от взглядов, возраста, социального статуса и места жительства — оказались совершенно не готовы к этому событию. Несмотря на агрессивную антизападную и антиукраинскую пропаганду, которая усиливалась, начиная с 2014 года, несмотря на участие России в войне в Донбассе, для многих этот конфликт оставался на периферии внимания. Действительно, из сотен тех, с кем мы говорили за последние три года, до начала вторжения только единицы допускали, что могут проснуться в стране, которая развернула полномасштабную войну с соседним государством.

После шока первых дней большинство наших собеседников стали искать рациональные объяснения войне — а позднее стараться минимизировать присутствие войны в своей повседневности. Если война и просачивалась в жизнь рядовых россиян, то это, как правило, происходило в опосредованной форме — через истории одноклассников с фронта, известия о смерти знакомых горожан, сплетни о материальных приобретениях соседей на «гробовые» и другие локальные новости. Для большинства война оставалась событием, во-первых, пространственно отдаленным, во-вторых, сугубо *информационным*, не влияющим на привычный ход жизни. Исключение составили разве что участники отдельных сообществ — например, волонтеров, занятых сбором гуманитарной помощи для фронта.

Для жителей российских территорий, граничащих с Украиной, ситуация была принципиально иная. Во-первых, Украина никогда не была для них далекой страной. Их населенные пункты располагались в непосредственной близости от границы — в тридцати, двадцати, десяти километрах от нее, а порой и буквально на ней. С Украиной — которая в риторике государственной пропаганды с 2014 года, и в особенности после начала полномасштабной войны, превратилась во «вражеское» государство — этих людей объединяли тесные родственные, дружеские, соседские и профессиональные отношения. Во-вторых, российско-украинский кризис, начиная с 2014 года, отражался на бытовой жизни приграничных сел — как минимум потому, что границу, которую многие жители до этого регулярно пересекали в обе стороны, стало переходить сложнее. В-третьих, полномасштабная война никогда не была для жителей приграничья исключительно информационным событием, поскольку их дома находились в непосредственной близости от боевых действий — они видели солдат и боевую технику из своего окна и регулярно слышали звуки снарядов.

Осенью 2024 года наши исследовательницы поговорили с десятками бывших жителей приграничных населенных пунктов Курской области. Эти люди лично столкнулись с войной до того, как о ней услышали большинство россиян. Как они жили до 2014 года? Что изменилось после начала войны в Донбассе? Как на их жизнь повлияла полномасштабная война 2022-го? И, наконец, как они встретили 6 августа 2024-го? В этой главе мы рассказываем о прошлом главных героев нашего исследования — беженцев: об их жизни и о том, как они воспринимали войну до того момента, когда были вынуждены покинуть свои дома.

Мы не описываем здесь собственные наблюдения, но работаем с воспоминаниями наших собеседников. Воспоминания не являются «объективными историческими свидетельствами». Потрясение, пережитое нашими собеседниками в результате вторжения ВСУ и эвакуации, также влияет на то, как именно они рассказывают о прошлом. Поэтому мы не пытаемся в деталях восстановить ход событий. Все собранные нами рассказы о жизни в приграничье, прежде всего, позволяют лучше понять, как война — ее прошлое, настоящее и будущее — воспринимается *сегодня*.

1. РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ ДО 2014 ГОДА

Хотя наши собеседники не так часто рассказывали о жизни в приграничье до 2014 года, рассказы о том времени совпадали в основном: граница между государствами не играла для жителей приграничных населенных пунктов с обеих сторон почти никакой роли. Люди регулярно и беспрепятственно пересекали ее, как с конкретными целями — например, чтобы съездить за покупками — так и «случайно», например, катаясь на велосипеде или гуляя. Другими словами, на практике этой границы, по воспоминаниям наших собеседников, попросту не было. Приграничные села и города Украины были для них знакомым, освоенным пространством, наполненным социальными, экономическими, профессиональными и родственными отношениями.

Так, к примеру, одна из наших собеседниц, Кристина, которая с детства регулярно навещала родственников в приграничье, вспоминала в интервью:

«У меня не было такого какого-то разделения, опять же, из-за того, что **там нет границы физической**. То есть так-то **мы переходили, мы часто плавали, ходили в лес** и можно точно сказать, что там не было никакого контроля. Кажется, **до 2014-**

20 года там вообще ничего не было — мы буквально пешком переходили и никогда не было какого-то такого отношения к этому. То есть *не было разделения, что это — Украина, а это — Россия. То есть мы даже не думали об этом*» (интервью, ж, 29 лет, юристка, онлайн, август 2024)

Другая наша собеседница, Вера, тоже выросшая в одном из сел Курской области, говорила примерно то же самое:

«Ее и нет — этой границы. Если бы она проходила, наверное, вот у этих людей из приграницы было бы какое-то там понимание, что вот эта вот линия, она должна быть визуализирована. А ее нет».

В качестве примера она упомянула село, разделенное границей как будто бы исключительно на бумаге:

«Вот эти бабушки, грубо говоря, там баба Маня на этой стороне, и баба Галя, ее родная сестра на той стороне, это вот, вот у нас Теткино, это же просто село, которое располовинили, блин, там они ходили, наоборот, на украинскую сторону землю обрабатывать, а жили на российской стороне» (интервью, ж, 47 лет, домохозяйка, родом из Курской области, онлайн, ноябрь 2024).

В этом фрагменте интервью Вера подчеркивала искусственность политического территориального деления, наложенного поверх родственных связей и общего жизненного пространства.

В целом из разговоров с жителями курского приграничья следовало, что до 2014 года поездки в Украину и взаимодействие с ее гражданами были частью их повседневного опыта. Подробнее других о таких поездках рассказывала Софья Викторовна, пожилая беженка из Суджи, которая в прошлом работала завучем младших классов, а оказавшись в Курске, стала волонтерить в одном из центров гуманитарной помощи. Она рассказывала нашей исследовательнице, что прожила в Курской области всю жизнь. По словам Софьи Викторовны, до 2014 года она регулярно ездила в Украину за покупками — в особенности она любила рынок в Сумах. «Там дешевле продукция, и там качество лучше, чем наше во много раз». Она в деталях описывала товары сумского рынка, например, копчености, колбасы и сыры: «Идешь, и все дают попробовать. Пока прошел, наелся».

Казалось, что образ этого рынка с его копченостями, как прустовская мадленка, пробуждали в Софье Викторовне цепочку воспоминаний. Однажды, например, она стала рассказывать, как дешево можно было оставить машину под присмотром местной ребятни или на рынке под навесом. Периодически они и вовсе парковали автомобиль в переулке, и его «никогда не трогали». Софья Викторовна также вспомнила качественную польскую одежду, которую она покупала на этом рынке. С ее слов отношения с украинскими продавцами были особенно доверительными и душевными. Как-то раз, — рассказывала Софья Викторовна — она хотела купить себе шапку и уже достала кошелек, чтобы расплатиться, но продавщица, заметив кошелек своей любимой фирмы, предложила ей взять шапку бесплатно, наотрез отказываясь от любых денег. «Очень, очень хорошо относились!» — резюмировала Софья Викторовна.

Она вспомнила еще один диалог с продавщицей на рынке — о ее сыне, уехавшем работать из Украины в Курскую область. Софье Викторовне как будто было важно подчеркнуть тот факт, что приграничные территории двух стран были связаны человеческими отношениями. «Ездили мы туда, — повторяла она много раз, — потому что в Курск в два раза дальше». Украинские приграничные города привлекали ее не только хорошим рынком с дружелюбными продавцами: «*У нас из Суджи никто не ездил сюда в Курск* учиться, все учились: Харьков, Донецк, Мариуполь — все там. И работали там... *Так что все было хорошо!*» (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, декабрь 2024).

В этих историях важно не только, что приграничье по обе стороны изображалось собеседниками как единое социальное и экономическое пространство, а граница между государствами — как почти несуществующая, но и то, что в них не было и тени демонизации украинцев (как и какой-либо иной примеси государственных пропагандистских нарративов). [Путешествуя по более отдаленным от фронта регионам России и разговаривая с людьми](#), мы встречали высказывания, в которых люди *ретроспективно* наделяли жителей Украины уничижительными чертами, тем самым помогая себе оправдывать войну. Софья Викторовна же, которая всего лишь пару месяцев как осталась без дома в результате вторжения ВСУ, напротив, описывала украинцев в сугубо положительном ключе. Иными словами, к памяти курян о жизни в приграничье обычно не примешивалась государственная идеология. Они судили о гражданах Украины *исходя из своего, житейского, повседневного опыта*. Образ Украины в глазах Софьи Викторовны не был исключительно положительным — например, ей не нравились «плохие дороги» до

рынка в Сумах. Впрочем, неприятную дорогу компенсировали низкие цены и качественные продукты. Обе эти оценки, негативная и позитивная, были основаны на личном опыте и касались бытовых, неидеологических характеристик жизни в Украине. При этом ни Софья Викторовна, ни другие жители приграничья не задавалась вопросом о том, по каким причинам это приятное соседство перестало быть возможным.

Из рассказов наших собеседников, знакомых с жизнью в приграничных селах до 2014 года, следует, что государственная граница между Россией и Украиной на практике «не работала». Сильнее официальных разделительных линий оказывались социальные и экономические связи, объединявшие приграничные села и города с обеих сторон в единое повседневное пространство. Привнесенная российской государственной пропагандой после 2014 года идеология, направленная на превращение Украины во «врага», не влияла на воспоминания жителей приграничья. Вместо идеологических клише наши собеседники фокусировались на личном опыте и бытовых аспектах соседской жизни с украинскими гражданами. Рассказывая о жизни до 2014 года — возможности беспрепятственно ездить в Украину и отношениях с украинцами — они описывали ее в основном в позитивных тонах.

2. «СОЖИТЕЛЬСТВО» С ВОЙНОЙ ДО 6 АВГУСТА 2024

Итак, Украина для жителей курского приграничья была не просто страной из новостей, а частью обжитого и знакомого пространства — буквально «на расстоянии вытянутой руки» — границы с которым до 2014 года будто не существовало вовсе. Как в этой ситуации они восприняли начало войны на Донбассе? Отличалось ли это восприятие от реакции остальной России — и если да, то в чем именно? Как выглядела повседневная жизнь людей рядом с фронтом, где как будто нельзя было просто «отгородиться» от войны — особенно когда обстрелы усилились и участились? В этом разделе мы покажем, как территориальная близость к зоне боевых действий повлияла на хронологию конфликта в восприятии жителей приграничья, а также на то, как те оценивали сопряженную с боевыми действиями опасность для жизни и представляли себе вероятность дальнейшей эскалации.

Танки в огородах

Если для большинства россиян война началась в конкретный день — 24 февраля 2022 года — и узнали они об этом событии из новостей, то в воспоминаниях жителей курского приграничья начало войны было растянуто во времени и разворачивалось прямо перед их глазами.

Первое изменение, которое принесла в жизнь приграничья война в Донбассе и кризис в российско-украинских отношениях — это «проявление» государственной границы. Наши собеседники припоминали ограничения вроде проверок документов в пограничной зоне и запреты на въезд на территорию Украины, которые стали появляться с 2014 года. При этом, по рассказам некоторых из них, граница все равно оставалась проницаемой.

В одном из курских баров наша исследовательница разговорилась с Сергеем, юношей-программистом, который вырос в селе в пяти километрах от границы с Украиной. На момент разговора Сергей уже несколько лет жил в Курске, но регулярно приезжал в родное село к родственникам и друзьям, проводил там продолжительное время. С его слов, раньше разделения между Россией и Украиной не было вовсе, но даже после 2014 года люди продолжали пересекать границу. И хотя официально сделать это с российской стороны, по словам Сергея, было нельзя, но имелась возможность «договориться». К примеру, они с друзьями периодически ездили в Сумы в магазин за водкой и другими продуктами (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Таким образом, как режимы проверки документов и запреты на пересечение границы, так и неформальные договоренности, позволявшие их обходить, стали конкретными результатами политического конфликта, которые жители приграничья испытывали на себе.

Кроме того, по словам наших собеседников, ближе к 2022 году они своими глазами наблюдали подготовку военных действий, скрытую от взглядов большинства россиян — то есть еще *до* того, как событие «случилось» для всех остальных и получило свое официальное название. Как выразился тот же программист Сергей, «это же не так происходило, что, вот, 24-го февраля — все». **«До этого две недели к нам гнали технику, машины.** Вот, едешь, допустим, вдоль леса — и просто колонна от начала до конца леса стоит. Потом дальше едешь, и там тоже все усыпано военными и техникой», — рассказывал он (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Сергей, впрочем, утверждал, что скопление военных и техники не создавало у жителей приграничья ощущения начала полноценной войны, поскольку они видели подобное и раньше: «Когда вот этот был Майдан, когда Крым присоединили», — объяснил он. А затем добавил: «Мы думали, что они также пойдут и уедут» (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Однако военные не уехали. Напротив, постепенно они становились близкой, наблюдаемой частью повседневной реальности. Так, например, беженка из приграничного села рассказала нашей исследовательнице, что танки и военные машины стояли буквально «в конце нашего огорода и напротив дома» (ж, около 30 лет, беженка, профессия неизвестна, Игловка, октябрь 2024). Если большинство россиян знали об участниках боевых действий и военной технике лишь по новостям, то жители курского приграничья — по собственному опыту. Так, например, еще одна беженка рассказывала, как в их селе общались с солдатами: «**Мы их и кормили** — вот, “кушайте”, позволяли им прийти купаться. **Они нам тоже помогли** — картошку посадить, все такое» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

О солдатах, которых жители приграничья наблюдали в непосредственной близости незадолго до вторжения России в Украину, когда полномасштабную войну между двумя соседними странами еще мало кто мог всерьез помыслить, наши собеседники рассказывали без удивления, как о привычном, естественном ходе вещей, не требующем дополнительных объяснений. Почти столь же буднично, как и о военных с танками — которые будто сами собой повыврастали в огородах, сделавшись частью окрестного пейзажа — наши собеседники рассуждали и о боевых действиях на третий год войны. Как выразилась одна из них, беженка из Суджи, с которой исследовательница познакомилась в центре гуманитарной помощи, «бухало постоянно все эти два года, все бухало — мы уже привыкли к этому» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Истории, которые слышали наши исследовательницы, не позволяют до конца восстановить хронологию событий. По словам одних собеседников, «бухало» в их населенных пунктах с самого начала полномасштабной войны. По словам других, в первые два года войны вокруг было «относительно тихо» и прятаться от обстрелов в погребах им приходилось буквально пару раз. Тем не менее, все они сходились в том, что общая интенсивность боевых действий в приграничье нарастала со временем. Например, одна из беженок в красках описала, как примерно за месяц до августа 2024 их село стали особенно «хорошо лупить»: «Такое ни в

одном фильме нельзя увидеть! — воскликнула она. — Треск такой, что ты прямо на колени падаешь, и мозги перестают работать!» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Где-то там что-то бухало

Еще одна общая черта этих рассказов заключалась в том, что военные действия в период до вторжения ВСУ, несмотря на их близость и нарастающую интенсивность, обычно описывались как не несущие серьезной угрозы для наших собеседников. Хотя те и упоминали отдельные переживания испуга, тем не менее, по их словам, они до последнего момента жили «нормальной» жизнью, верили в то, что «настоящая» война до них не дойдет.

Явления, которые человеку со стороны — по крайней мере нам самим — могли бы показаться прямыми сигналами угрозы, бывшие жители приграничья, напротив, представляли как признаки собственной безопасности. Так, обстрелы вблизи воспринимались нашими собеседниками как свидетельства того, что угроза локализована где-то в другом месте. Например, беженка, сообщившая нам, что с начала войны вокруг что-то постоянно «бухало», затем добавила: «но оно бухало **за 10 километров, за 5 километров**» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Другая собеседница — родом из Теткино — объяснила: «Там к границе ближе эти улицы — там да, там часто попадало. А у нас в центре почти никуда не прилетало. Люди жили, даже на работу ходили» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, октябрь 2024). «Успокоительный» пространственный принцип восприятия опасности действовал для нее в пределах одного города: улицы рядом с границей маркировались как более опасные, что позволяло воспринимать центр как безопасный.

Опираясь на ту же логику, другая беженка рассказала исследовательнице: «Ну, грохотало, **но это было далеко. Мы знали, что это в Теткино**. Мы просто охали: о, **где-то бьют, где-то бьют**». Затем она продолжила, рассказав, что люди оттуда, из Теткино, уже получили сертификаты и стали покупать дома у них, в Коренево. И заключила: «Поэтому мы думали, что здесь все хорошо» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Точно так же присутствие военных считывалось многими жителями приграничья не как сигнал превращения окружающей их территории в зону боевых действий, а наоборот, как гарантия того, что этого не произойдет. «Мы как-то не боялись. Мы даже этим летом **не верили**,

что такое может быть. У нас же военные ездили. У нас их очень много», — объясняла нашей исследовательнице одна из посетительниц центра гуманитарной помощи (ж, около 30, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Подобная интерпретация, впрочем, кажется вполне закономерной, если учитывать, что российская армия в прошлом вполне успешно справлялась с появлением **вооруженных групп со стороны Украины**. Логично предположить поэтому, что многие действительно верили как в способность военных защитить их от полноценного наступления армии противника, так и в способность государства держать ситуацию под контролем.

Удивительно, тем не менее, то, насколько жители курского приграничья, живущие в непосредственной близости от зоны боевых действий, регулярно наблюдающие перемещение солдат и военной техники, а на момент начала украинского вторжения как минимум несколько месяцев слышащие звуки снарядов — падающих то в соседнем селе, то буквально на соседней улице — оказались не готовы к началу «настоящей» войны. Об этом — следующий раздел настоящей главы.

Можно сказать, что для наших собеседников из приграничья война началась одновременно и раньше, и позже, чем для жителей остальной России. С одной стороны, она стала проникать в их повседневность еще с 2014 года. А говоря о полномасштабной российско-украинской войне, они вспоминали не столько сам момент вторжения российских войск на территорию Украины, сколько то, что ему предшествовало — например, переброску этих войск к границе, которую они наблюдали из собственных окон. При этом они продолжали сохранять ощущение «нормальности». Все эти годы они как бы «сожительствовали» с войной — подкармливали солдат, наблюдали танки в огородах, привыкали к грохоту близких обстрелов.

И эта же война началась для многих наших собеседников на два с половиной года позже ее фактического начала, 6 августа 2024-го — то есть в момент, когда боевые действия действительно изменили их жизнь. В отличие от большинства россиян, многие из которых даже спустя несколько лет вспоминали свой шок от новостей о начале «СВО», беженцы из курского приграничья — по крайней мере на момент осени 2024 года — не говорили о 24 февраля 2022-го как о важной дате, в которую произошло что-то экстраординарное. Таковым, однако, стало

для жителей приграничья вторжение и последующее закрепление ВСУ на территории Курской области. Именно его наши собеседники описывали как радикальное нарушение ожиданий и именно тогда, по выражению молодой жительницы приграничья, «отсчет жизни с другой даты начался» (ж, около 30, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Впрочем, даже когда «мирное» сосуществование с войной сделалось невозможным, далеко не все были готовы сразу распрощаться с ощущением нормального хода вещей и принять радикальные жизненные перемены.

3. ВОПРЕКИ КАТАСТРОФЕ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ночь с 5 на 6 августа 2024 года украинские войска начали наступление на Курскую область, перейдя границу в районе Суджи: **в сторону России двинулись колонны бронетехники** при поддержке артиллерии и беспилотников. Удар наносился сразу в нескольких местах, но **главным направлением стала дорога на Суджу**. К вечеру 6 августа Министерство обороны России опубликовало **пост в Telegram** о том, что атака была отражена и украинские силы понесли потери. Однако фото- и видеоматериалы, а также спутниковые снимки, на которые **ссылались западные СМИ**, показывали, что украинские подразделения закрепились на российской территории. Позже, как утверждают **российские источники**, пост Минобороны был отредактирован — из него убрали слова об отступлении сил противника.

7 августа ВСУ уже частично контролировали Суджу, а также **полностью заняли** около 14 населенных пунктов. В тот же день **местные жители сообщили**, что эвакуацию официально не объявили. Многие пытались выехать самостоятельно, а кто-то принял решение остаться. На территории Курской области был введен **режим чрезвычайной ситуации (ЧС)**, а через несколько дней — **режим контртеррористической операции (КТО)**.

К 11 августа Суджа находилась, по сути, под контролем украинских военных; они продвинулись примерно на 25 километров вглубь Беловского района, который граничит с Украиной и соседствует с Суджанским. Активное продвижение и захват населенных пунктов ВСУ продолжались до 15 августа. Одновременно президент Путин **назвал** происходящее «масштабной провокацией» и заявил, что противник ведет «неизбирательную стрельбу». Другие представители власти так

же пренебрежительно **отзывались** об украинских силах: «это не более чем попытка сказать “мы все еще крутые”, что, разумеется, ничуть не соответствует действительности».

Как гром среди ясного неба

Итак, несмотря на длительное «сожительство» с войной, многие жители курского приграничья оказались совершенно не готовы к вторжению украинских сил. Вот лишь некоторые высказывания наших собеседников на эту тему:

«А куда деваться? Некуда ж. Некуда ж ни ехать, ни идти. **Сидели, думали, что до нас не дойдет, а они дошли**» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024)

«**Уже над нашей головой стреляли**. Мы думали, что вон там стреляют и стреляют. Ну, **что они к нам зайдут на нашу территорию, никто не думал**» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024)

«Там **в 500 метрах уже палят**. А мы там землянику рвали летом. Ну, **думали, что, ну, это же нормально. Ну, не допустят же**» (ж, около 30, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Все эти высказывания демонстрируют одну и ту же логику, которая наблюдателю со стороны может показаться парадоксальной. Обстрелы вблизи сами по себе — в том числе и «уже над головой» — не просто не удивляли и не возмущали жителей приграничья, а служили для них свидетельством того, что ситуация находилась под контролем («ну, это же нормально»). И действительно — «мирное» сосуществование с войной, как мы помним, тянулось для них уже как минимум два с половиной года. Кто или что именно вселяло в жителей приграничья надежду на то, что война так никогда и не затронет их лично, до конца не понятно. Как выразилась одна из наших собеседниц-беженок, «все думали, что авось пронесет» (м, около 60 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Так или иначе, шоком для них стало то, что эти обстрелы вдруг переросли в масштабную наземную операцию. «Просто не верится. Никто не думал», — говорила другая беженка, вспоминая о начале вторжения ВСУ (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, беженка, волонтерка, Курск, декабрь 2024).

6 августа, вопреки ожиданиям, вторжение внезапно «допустили» — и именно этот момент стал для жителей приграничья новой точкой отсчета. Многие говорили о нем как о начале войны: «Война началась 6 августа». По воспоминаниям жителей приграничья, в период полномасштабного конфликта они все еще планировали мирное будущее у себя в городках и деревнях, например, строили новые дома: «Старый дом я убрал, — поделился с исследовательницей пожилой беженец, имея в виду события последних нескольких лет, — а на его месте коттедж строил. Уже крышу поставил, внутрь теплый пол положил, окно уже заказал. **Неожиданно была война**» (м, 60 лет, профессия неизвестна, беженец, Игловка, Курск, сентябрь 2024).

События первых дней вторжения ВСУ также описывались беженцами как внезапные. Например: «Моя дочка выскочила, а ей навстречу танк идет... И она говорит — руки трясутся, ноги трясутся, я разворачиваюсь, он стреляет» (ж, около 60 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). По рассказам наших собеседников было хорошо заметно, что они в принципе не могли вообразить, что нечто подобное возможно — вплоть до того момента, когда им пришлось это пережить. Неожиданно для самих себя жители приграничья, фигурально, а порой и буквально выражаясь, столкнулись с украинскими военными лицом к лицу. Выбираться из этой ситуации приходилось им самим — в меру ресурсов и возможностей.

Интересно, что сам прорыв границы — равно как и регулярные обстрелы примыкающих к ней российских территорий — не был для жителей прифронтовой зоны чем-то экстраординарным: наши собеседники вспоминали о том, что и раньше украинские диверсионные группы попадали на территорию России со стороны Белгородской, Брянской и даже Курской областей. «Да, думали, что может заскочить какая-то диверсионная группа», — продолжала жаловаться уже процитированная нами выше беженка, но, мол, не более того (ж, около 60, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Экстраординарным, вызвавшим непонимание событием стало то, что украинская армия смогла захватить российские территории, вытеснить оттуда россиян — как военных, так и гражданских — и задержаться там надолго. Вера, уроженка Курской области, которая и сейчас регулярно приезжает в родные места, объяснила нам в интервью:

«Поэтому для нас было это не удивительно, что напали. Для меня было удивительно, что не смогли отбить. То есть, я думала, это, ну, дело там двух-трех дней они покуролесят, ну, как эти кочевые набеги и уйдут. И, да, для нас, конечно, стало

неожиданностью, что это уже сент... Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, пять месяцев, это полгода не могут выбить. Это очень удивительно» (интервью, ж, 47 лет, домохозяйка, родом из Курской области, онлайн, декабрь 2024).

Жители приграничья до последнего надеялись, что их государство не допустит «настоящей» войны на территории России. Вероятно, именно с разрушением этой надежды могло быть связано удивление, о котором говорит Вера. Даже после прорыва украинских войск многие из них полагали, что враг далеко не пройдет и что его продвижение будет вскоре остановлено. Отчасти поэтому некоторые из них не покинули свои дома в тот же день. Но как именно они старались продлить ощущение нормальности в момент неотвратимого перелома?

Мирная картина

Некоторые беженцы покинули свои дома только после того, как боевые действия дошли до их населенных пунктов — это случилось и позже 6 августа. Однако среди наших собеседников было немало людей, для которых период между обострением военных действий рядом с домом и отъездом растянулся на несколько дней, недель или даже месяцев. Так, мужчина, с которым наша исследовательница разговорила на автобусной остановке, рассказал ей, что покинул родное село лишь в сентябре. Он объяснил, что когда к нему зашел участковый с предложением эвакуироваться, он «был маленько под градусом и сказал ему: “Не, я лучше тут полежу, отдохну”». Он остался в селе «под бомбежками», по ночам набирая воду из колодца и пользуясь электричеством от бензогенератора. На вопрос исследовательницы о том, что же в конце концов сподвигло его уехать, мужчина ответил, что это были «нытики» — то есть «жена, мать и сестра» (м, около 45 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, октябрь 2024).

Почему люди не уезжали сразу, даже когда их жизни угрожала опасность? Как они проживали это промежуточное, переломное время после вторжения и до отъезда? Во-первых, жители приграничья с 2014 года воочию наблюдали военный конфликт, и все это время у них сохранялась возможность жить по-прежнему. В результате во многих укоренилась уверенность в том, что так будет и дальше. Вторжение ВСУ в начале августа 2024 года казалось многим локальным эпизодом, с которым российская армия быстро справится — тем более, что именно эту версию продвигали российские СМИ и официальные лица.

Во-вторых, из рассказов наших собеседников складывалось ощущение, что ничто не пугало их так сильно, как мысль, что жизнь придется начинать заново. Как воскликнул пожилой мужчина, который незадолго до вторжения сделал в своем доме ремонт: «**Заново?! Мне уже 60 годов. Как я могу все заново начинать?**» (м, 60 лет, профессия неизвестна, беженец, Игловка, Курск, сентябрь 2024). Беженка, в чьем поселке купили дома люди из пострадавшего ранее приграничного села, особенно эмоционально сокрушалась, что им приходится опять все бросать: «И когда совсем уже начали бомбить — а там пять километров граница — люди стали сертификаты брать. И они купили дома у нас в поселке. **И заново опять все!**» (ж, 71 год, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024).

Перспектива бросить хозяйство, признать бесповоротность происходящего и решиться на резкие перемены, судя по всему, была для многих жителей приграничья настолько пугающей, что в первые дни после вторжения они верили, что «нормальная» жизнь продолжается. Тем более, что вокруг сохранялись элементы этой привычной, «нормальной» жизни: например, работающие магазины. По рассказам наших собеседников, в оценке ситуации они ориентировались в первую очередь именно на такие, «мирные» явления. Так, бывший житель одного из приграничных сел, который уехал 15 августа, рассказывал, что, хотя больница на тот момент уже дней десять как не работала, люди оставались в селах, потому что были открыты, например, продуктовые и аптеки: «**“Пятерочка” открылась, “Перекресток”, “Светофор”, понимаете?** — перечислял он названия магазинов. — Аптеки начали открываться. **Я думаю — ешкин кот, жизнь продолжается!**». По словам собеседника, он и его односельчане уже принялись копать огороды, и солдатам, которые приехали их эвакуировать, пришлось «чуть не силой выгонять» их с участков (м, около 60 лет, профессия неизвестна, беженец, Игловка, октябрь 2024).

Жители приграничья верили, что вторжение вскоре будет остановлено и все пойдет своим чередом. «Некоторые хотели дома остаться, думали все пройдет — дня три, и все», — рассказывала нашей исследовательнице молодая беженка Полина во время их совместной прогулки по городу (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024). Эта же мысль помогала людям смириться с вынужденным отъездом. Уезжая, многие наши собеседники, по их словам, были уверены, что эвакуация — это временная краткосрочная мера, и вскоре можно будет вернуться домой: «Просто выехали, как все — **думали, на день-два**, а в итоге получилось уже вот какой месяц мы тут. Пятый месяц» (ж, около 65, медсестра, беженка, Курск, декабрь 2024). Даже находясь в

Курске на протяжении длительного времени, многие наши собеседники из приграничья продолжали ориентироваться на привычные циклы жизни и практики, с которыми им так не хотелось расставаться. Например, они регулярно вспоминали о разных не законченных делах в огороде: «“Ой, у меня там картошка не пахана!” — это у нее любимое», — процитировал молодой бармен свою бабушку (м, около 25 лет, бармен, житель Курска, Курск, декабрь 2024). А некоторые беженцы признавались, что остались бы дома, в родном селе, знай они заранее, что эвакуация затянется дольше чем на несколько дней. Так, в разговоре со своими знакомыми, при котором присутствовала исследовательница, один из беженцев произнес: «Знал бы, что это на полтора месяца, скрывался бы где-нибудь дома — меня бы мои стены спасали!» (м, около 50, специалист по отделочным работам, Курск, октябрь 2024).

Неужели — может спросить читатель — эти люди были настолько привязаны к имуществу и настолько легкомысленны, что боялись начать жизнь заново сильнее, чем погибнуть под обстрелами? На самом деле с перспективы самих жителей приграничья, а не нашей, сторонней, их предпочтения были вполне рациональны.

Во-первых, большая часть наших собеседников-беженцев — это сельские жители. Огороды, земля, сельскохозяйственная техника, картошка и скот являлись для них не просто прихотью или увлечением, но системой жизнеобеспечения. Хозяйство и имущество привязаны к месту — их невозможно быстро упаковать и взять с собой или перевести на банковский счет, поэтому решение бросить все «нажитое» было по-своему не менее иррациональным, чем решение остаться — ведь это буквально означало потерю всего, что поддерживало их жизнь.

Мобильность сельского населения — при всем ее внутреннем разнообразии — как правило, устроена иначе, чем мобильность жителей городов. Перемещения сельчан в большей степени подчинены ритмам сезонных работ и завязаны на хозяйство, которое нельзя оставить надолго. Мы легко можем представить себе горожанина, съезжающего со съемной квартиры, кладущего карту со всеми накоплениями в кошелек и вызывающего такси до вокзала или аэропорта. Нам гораздо сложнее представить деревенского жителя, особенно фермера, делающего то же самое. Неслучайно многие наши собеседники сильнее всего сожалели об оставленных огородах и «родной земле».

Во-вторых, можно предположить, что большинство жителей приграничья не рассчитывали на получение достаточной поддержки со стороны государства и сограждан на новом месте, понимая при этом, что она

им будет необходима. И они были правы — помощи от государства не хватало, распределялась она неравномерно и не могла компенсировать оставленные дом и хозяйство. Вдобавок за эту помощь нужно было конкурировать. Для многих членов принимающего сообщества беженцы оказались чужаками. Не возникло солидарности и между жителями разных приграничных сел.

Наконец, нельзя списывать со счетов возраст большинства наших собеседников и многих других жителей приграничья, которые приняли решение не покидать свои дома. В основном это были люди пенсионного возраста. В представлении их самих и их родственников, резкая смена обстановки и сопряженные с ней переживания могли быть сами по себе опасны для жизни. Как сообщил нашей исследовательнице, например, ее молодой собеседник родом из приграничья, после того как он вывез из прифронтовой деревни своего деда, «у него просто нервы сдали, и он умер здесь» (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Неудивительно поэтому, что многие люди сопротивлялись отъезду, несмотря на угрозу жизни. Отъезд в их глазах представлял точно такую же угрозу жизни в результате потери системы жизнеобеспечения, рисков социальной маргинализации и угрозы здоровью.

Несмотря на то, что военные действия уже не первый год разворачивались почти на глазах у жителей курского приграничья, «настоящая» война — участвовавшие обстрелы и затянувшееся надолго вторжение ВСУ — застала их врасплох. Но даже когда мирное «сожительство» с войной завершилось, многие жители приграничья не спешили уезжать. С одной стороны, их социальный бэкграунд — сельский уклад жизни и сопряженные с ним ритмы, ценности и возможности, отсутствие веры в поддержку государства и страх потенциального недружелюбия со стороны членов принимающего сообщества, а также преклонный возраст, с другой стороны, вера в быстрое разрешение ситуации и наличие подкрепляющих эту веру признаков мирной жизни вроде работающих магазинов — объясняют настойчивое нежелание наших собеседников покидать родной дом.

4. СПОНТАННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ИЛИ ОТЪЕЗД НАЛЕГКЕ

Некоторые жители курского приграничья так и не успели эвакуироваться — о судьбе этих людей мы узнали только весной 2025 года, когда украинская армия была вытеснена за пределы российской территории. Другие, как герои предыдущего раздела, покинули свои дома спустя какое-то время, после того как украинские войска подошли к их населенным пунктам и закрепились на захваченных территориях. Некоторые же уехали сразу, в первые дни вторжения ВСУ. Этим людям приходилось принимать быстрые решения в условиях нехватки информации и отсутствия поддержки. Но для всех беженцев, с которыми нам удалось поговорить, эвакуация ожидаемо стала переломным моментом, после которого привычная жизнь так и не вернулась.

В коридоре центра гуманитарной помощи хорошо знакомая нам Софья Викторовна разговаривала с женщиной ее же лет — они явно были знакомы: «Возьмите кофточку себе, себя порадуите, игрушечку возьмите мягкую внуку». Ее собеседница, как и сама Софья Викторовна, — беженка из Суджи. На вопрос нашей исследовательницы о том, почему Софья Викторовна решила стать волонтеркой, последняя ответила, что ей необходимо чем-то себя занять: «Дома сижу — плачу, днем и ночью». Она, как и ряд других наших собеседников, не просто потеряла все. Она «осталась ни с чем» в пенсионном возрасте, после того, как зарабатывала и откладывала деньги всю жизнь. «До 70 лет прожить и остаться ни с чем», — так она описывала свою ситуацию. В центре гуманитарной помощи, по ее словам, она могла встретить своих односельчан и других товарищей по несчастью (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, беженка, волонтерка, Курск, декабрь 2024). Трагедия произошедшего для наших собеседников заключалась не только в том, что в их населенные пункты зашла украинская армия, и даже не только в том, что они были вынуждены покинуть дома. Самым трагичным и травматичным для них оказалась внезапность их вынужденного отъезда и, позднее — осознание того, что обратной дороги к старой жизни просто не существует. Но что именно представлял собой этот внезапный отъезд?

В первые дни вторжения информационное пространство жителей курского приграничья заполнило множество противоречивых сообщений. Одна из наших собеседниц, выехавшая из Суджи, описала это так: «Люди ничего не знают, люди ничего не понимают, никто никому ничего не рассказал, не позвонил, ничего» (ж, около 60 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). По некоторым свидетельствам, военные и гражданские официальные лица сообщали людям в частных беседах, что

через пару дней все закончится и покидать свои дома не обязательно. Например, по словам беженца, которого наша исследовательница встретила, прогуливаясь в одном из курских парков, знакомые госслужащие — то ли это были солдаты, то ли местные полицейские — уверенно сказали ему и его односельчанам: «Можете вообще не уезжать, сюда они не пойдут» (м, около 55 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024).

Из-за отсутствия централизованного оповещения населения большинство наших собеседников получали информацию от соседей. С соседями же многие кооперировались и выезжали. Некоторые — как, например, родители Марии, волонтерки–преподавательницы колледжа, с которой наша исследовательница познакомилась в центре гуманитарной помощи — вообще не знали о происходящем и спокойно спали, когда украинские военные уже продвигались по Курской области. Мария рассказывала, что новости о прорыве дошли до нее «через знакомых» и из Telegram. Когда она не смогла дозвониться до родителей, стало ясно, что нужно ехать. «Муж сел в двенадцать ночи и поехал», — вспоминала Мария. Добравшись до деревни, он застал родителей спящими. Постучал в окно: «Собирайте вещи, у вас полчаса». У родителей уже не было ни света, ни интернета. В темноте они схватили то, что попало под руку, и сразу же уехали (ж, около 35 лет, преподавательница ПТУ, жительница Курска).

Большинство наших собеседников выезжали своими силами. Кого-то, как родителей Марии, которые спали во время вторжения ВСУ, вывезли родственники. Многим помогли соседи: соседская солидарность оказалась важнейшим ресурсом в процессе самоэвакуации. Меньшая часть наших собеседников выехали благодаря обычной, организованной эвакуации.

Например, Мира, с которой исследовательница познакомилась в центре гуманитарной помощи, рассказала, что их вывезила Лина, которая теперь живет с ней в одном ПВР. Тем злополучным вечером Мира с мужем пришли в гости к Лине — попить кофе и пообщаться. Когда все уже собирались расходиться, Лине позвонил директор местной школы: «Уже все эвакуируются, все выезжают. Звони, если чьи есть телефоны, кого знаешь, говори соседям — собирайтесь и давайте быстрее». Автомобиля у Миры с мужем не было, поэтому они быстро собрались и вернулись домой к Лине, и той же ночью погрузились в ее машину: «Мы все — Линыны дети, я с мужем, все мы в одну машину сели, поехали» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Так или иначе, в большинстве случаев эвакуация происходила спонтанно и беспорядочно. Даже когда отъезд был организован местной властью — как в истории одного из беженцев, который рассказал, как городская

администрация буквально заставляла людей садиться в автобусы — она не была ни спланированной, ни подготовленной. Люди не понимали, что происходит и что их ждет дальше. Большинство из них полагали, что они уезжают на несколько дней и вернуться, как только опасность минует. Вот как, например, исследовательница описывает разговор с одной из беженок:

«Она рассказала, что председатель сельсовета вывез их в Белую, а из Белой автобусом их привезли прямо в ПВР. Я спросила, как она отреагировала, когда началась эвакуация. Она ответила: “Не успели отреагировать”. Я спросила, как это. “Ну, как? Вот мы сидели дома, готовили обед. Приехал глава поселения, сказал: Собирайтесь, поехали. Мы, недолго думая, собрались и поехали. Потом сюда привезли сразу”» (ж, около 65 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Многие наши собеседники вспоминали, что оставили в своих домах животных, хозяйство и дорогую технику, а с собой брали только самое необходимое для короткой поездки — иногда лишь то, что успели схватить. «Мы думали, на пару часов выезжаем», — будто оправдываясь, говорили они (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Именно из-за этого обманутого ожидания они остались ни с чем. «Ой, господи, сколько у меня дома — драповое пальто, о как я по нему скучать буду, холодильник “Атлант”, четырехкамерный», — причитала беженка, перебирая одежду на выдаче в центре гуманитарной помощи (ж, около 45 лет, в прошлом сторож в колхозе, беженка, Игловка, октябрь 2024). А постоялица ПВР, лишившаяся дома, вспоминала: «Все осталось там. Куры-утки — подошли. Нас же забрали, а хозяйство осталось» (ж, около 70 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024). По словам еще одной жительницы ПВР, «мы собрали так, чисто трусы, носки, документы, ну, вот такое» (ж, около 30, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Этот опыт утраты стал важной частью их дальнейших переживаний и рассказов о себе.

Многие наши собеседники были уверены, что происходящее не продлится долго и не сильно выбьет их из привычной колеи — в том числе поэтому **некоторые из них не уехали сразу**. Уезжая в спешке, многие беженцы не взяли с собой ни одежды, ни всех документов — и теперь не могли вернуться обратно. Внезапность и вынужденность их отъезда, а также непонимание того, что стало с их домами и хозяйством, задавали рамки их восприятия самих себя — как людей, потерявших опору.

В историях беженцев снова и снова звучала еще одна тема — состояние покинутых домов и деревень. Для многих именно вопрос о том, сохранились ли их жилища, становился главным в оценке случившегося. Неопределенность — есть ли куда возвращаться, уцелели ли хозяйство и имущество — и без того ставшая **частью жизни всех беженцев**, усиливала чувство утраты и делала их будущее еще более туманным.

В рассказах наших собеседников опыт катастрофы и эвакуации представлялся как череда внезапных и травматичных событий. Люди, еще недавно надеявшиеся, что «авось пронесет», и считавшие, что украинские войска задержатся ненадолго, столкнулись с ними буквально лицом к лицу. Попытки спастись в большинстве случаев были спонтанными и плохо организованными: информацию о происходящем передавали соседи, решения принимались в спешке, вещи собирались за считанные минуты. Многие покидали дома на «два-три дня», которые в результате растягивались на неопределенный срок. Этот опыт утраты — домов, хозяйства, привычного уклада, а для многих и всей жизни — определил новую идентичность беженцев. В итоге катастрофа обернулась не только потерей имущества, но и сломом всей жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши исследовательницы попали в Курскую область только осенью 2024 года и обнаружили там тысячи потерянных беженцев, десятки центров гуманитарной помощи, сотни волонтеров и постепенно привыкающих к военной повседневности местных жителей. Эту ситуацию мы и описываем в последующих главах отчета. Глава же, которую вы только что прочитали, знакомила с предысторией этих событий: какой была жизнь курского приграничья до военного обострения в нем?

По иронии судьбы именно жители «приграничья» почти не замечали границу между Россией и Украиной. Граждане обеих стран, не задумываясь, ездили туда-сюда: друг к другу в гости, за покупками, на прогулки. И, самое интересное, несмотря на идущую войну и антиукраинскую пропаганду с телеэкранов, в разговорах с нами они вспоминали об этом периоде с теплотой и ностальгией.

Дело в том, что жители приграничья знали войну не только из новостей, но и на основе собственного опыта — именно этот опыт диктовал им совсем иной взгляд соседей-украинцев. Благодаря этому же опыту

они жили в особом времени — война началась для них одновременно раньше (в 2014 году) и позже (в августе 2024 года), чем для большинства россиян. «Сожительствуя» с войной, они постепенно привыкали к ней. Парадоксальным образом, именно поэтому катастрофа, следовавшая за вторжением ВСУ, застала их врасплох: у них не было причин полагать, что после стольких лет мирного сосуществования с войной, рядом с российскими военными, и несмотря на заверения власти в безопасности, им придется бежать из-под обстрелов и «потерять все». Этот побег к тому же осуществлялся почти без помощи государства, представители которого до последнего заверяли, что все обойдется. Люди узнавали об опасности по сарафанному радио, собирали самые необходимые вещи впопыхах и уезжали «на два-три дня». Многие из них не вернулись домой до сих пор. Именно поэтому в актуальных воспоминаниях таких людей «настоящая» война началась 6 августа 2024 года.

ГЛАВА 2.

БОЛЬШОЙ ГОРОД – НОВОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ

ВВЕДЕНИЕ



Курск — административный центр одноименной области на западе России, расположенный в 100 км от границы с Украиной. По данным на январь 2025 года население города составляет около 435 тысяч человек. По российским меркам Курск — крупный город с развитой экономикой, промышленностью и инфраструктурой.

Как изменился город после вторжения ВСУ в Курскую область? Как война проявлялась в его общественных пространствах и повседневной жизни? Как реагировали на ее присутствие обычные горожане? И чем все это отличалось или походило на то, что мы наблюдали во время нашего этнографического исследования в отдаленных от фронта регионах в 2023 году? Вот вопросы, на которые мы ответим в этой главе.

Любой большой город — это сложный социальный организм, работу и ритмы которого одновременно определяют разнонаправленные силы, связи и переменные: например, специфика социального состава его жителей, особенности его ландшафта, климата, застройки, распределения власти и отношений собственности. Опыт взаимодействия с городом каждого его жителя также складывается из разнообразных факторов — из того, как человек перемещается по городу, что и где потребляет и какие эмоции при этом испытывает. Именно поэтому «схватить» сложную и меняющуюся повседневность целого города — слишком амбициозная задача для небольшой группы антропологов и социологов. Конкретный опыт наших исследовательниц сложился определенным образом под влиянием того, где они оказывались, каких людей и в какой период они встречали и какие события с ними произошли. По этой причине материалы, на основе которых написана эта глава, затрагивают лишь небольшую часть сложной мозаики городской жизни. Однако анализируя этнографические дневники исследовательниц, мы старались обращать внимание на повторяющиеся паттерны, высвечивающие более общие, характерные для города процессы.

Эта глава поделена на две части. В первой из них мы описываем разные уровни присутствия войны в городе — *материальную среду, социальный ландшафт и разговоры в общественных пространствах* — показывая то, что увидели и услышали наши исследовательницы. Во второй части мы объясняем, как описанные выше объекты, меры и явления работали на практике и воспринимались жителями города.

1. МИЛИТАРИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА

Когда наша исследовательница впервые приехала в Курск в конце сентября 2024 года, она описала свой первый контакт с городом следующим образом:

«Еще на перроне увидела новый баннер “Своих не бросаем.” <...> Сразу на выходе из вокзала заметила большой военный грузовик, рядом с которым стояло несколько человек в военной форме. <...> Пока переписывалась в телефоне, стоя на привокзальной парковке, врубилась воздушная тревога. “Курск встречает, поздравляю себя с началом поля”, — подумала я. <...> На автобусной остановке слева от входа на вокзал увидела укрытие» (вокзал и привокзальная площадь, Курск, сентябрь 2024).

Иначе говоря, в течение первых минут пребывания исследовательницы в городе сразу несколько проявлений войны попали в поле ее зрения и слуха. Спустя некоторое время стало понятно, что их концентрация в общественном пространстве — пропагандистские баннеры, военные грузовики, солдаты, сигналы воздушной тревоги и бетонные укрытия — не была случайностью.

Читатели нашего [предыдущего аналитического отчета](#) могут помнить, что в некоторых частях России — вроде города Черемушкина — сложно догадаться об идущей войне, просто прогуливаясь по улицам. В других местах — например, в Краснодаре или Улан-Удэ — война, в основном, напоминает о себе Z-пропагандой и рекламой военной службы. В Курске же война не давала нашей исследовательнице о себе забыть — ее присутствие ощущалось повсюду. Но помимо насыщенности городского пространства проявлениями войны, Курск отличался от более отдаленных от фронта населенных пунктов России самой спецификой этих проявлений.

В поездках в далекие от фронта регионы мы преимущественно сталкивались с *отсылками* к войне: с ее знаками, изображениями или социальными последствиями. Плакаты с рекламой службы по контракту, тематические мероприятия в Доме культуры, новости по телевизору, официальная визуальная пропаганда, рассказы наших собеседников о соседях и одноклассниках на фронте, о зарплатах, смертях и разрушенных семьях знакомых — все это прямо или косвенно отсылает к пространственно удаленной войне, к военным действиям, которые идут *где-то*. Изучать войну,

наблюдая за российским городским пространством, можно было почти исключительно через такие отсылки.

В городской среде Курска осенью 2024 года присутствовали все те же самые знаки войны — реклама контрактной службы, пропагандистские плакаты, рассказы о знакомых «СВОшниках» и официальные мероприятия с военно-патриотическими номерами. Но помимо знаков были там и более прямые, материальные и социальные проявления войны. Солдаты в форме не только красовались на плакатах, но гуляли по городу; сирены и убежища не просто символизировали войну, но призваны были защищать жителей города от реальной военной опасности; горожане, рассказывающие о дронах, видели их не только по телевизору, но и собственными глазами. И хотя в самом Курске не велись регулярные военные действия, а обстрелы города случались редко, война здесь стала не только образом или новостью, но частью осязаемой материальной реальности — ее можно было увидеть, услышать и потрогать, от нее можно было физически пострадать.

Защитная инфраструктура

Заметную часть нового военного ландшафта города Курска составляли элементы защитной инфраструктуры, предписывающие определенные сценарии поведения в случае воздушной атаки. Сигналы воздушной тревоги звучали практически ежедневно, иногда по несколько раз за сутки. Небольшие свежестроенные бетонные укрытия располагались на видных местах — в основном возле остановок общественного транспорта. Помимо специально возведенных укрытий обоем исследовательницам попадались оборудованные под убежища подвалы жилых зданий и таблички, указывающие направление к ним.



Мешки с песком в одной из курских школ (фото взято [отсюда](#)) и бетонное укрытие на городской улице (фото взято [отсюда](#))

Вот как наша исследовательница описывает одно из укрытий в своем дневнике:

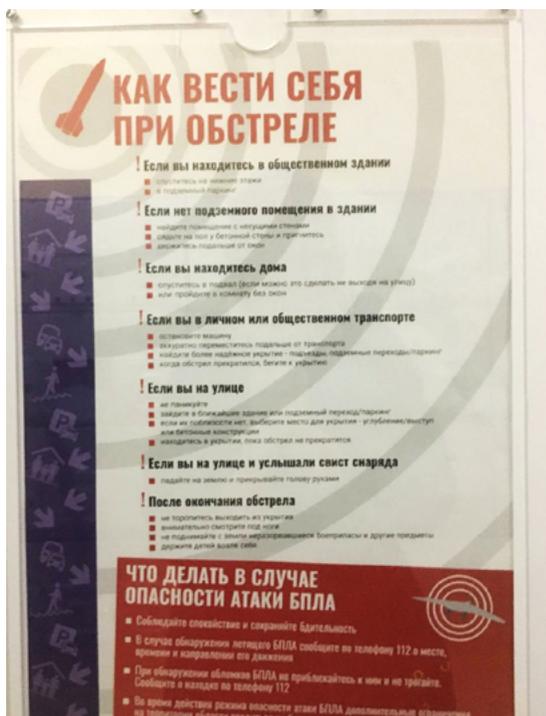
«Укрытие выглядело как белая бетонная коробка, а вход в него представлял собой просто проем в бетоне, без двери. Снаружи на этом же укрытии была наклеена реклама службы по контракту, а внутри — табличка про то, как оказывать первую помощь. Убежище было явно новым — оно даже пахло свежей краской» (Курск, сентябрь 2024).

Еще одним элементом защиты от обстрелов были пленки на окнах общественных и образовательных учреждений и мешки с песком, которыми иногда были заложены окна или дверные проемы. Как объяснила Марина, приютившая в Игловке одну из наших исследовательниц, окна школ и садики «проклеивали» пленкой и загораживали мешками, «на случай, если лупанет, чтобы не было осколков», и чтобы использовать песок для тушения огня в случае пожара (ж, 42 года, сотрудница пенсионного фонда, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). Хотя такие защитные элементы не сильно влияли на наружный облик города (все же, чтобы заметить мешки с песком, надо специально присматриваться к окнам), тысячи курян — учеников и учителей школ и колледжей, детей и воспитателей в детских садах, работников административных учреждений — видели их каждый день.

Защитные меры проникали и в частные пространства: например, некоторые жители Курска, по рассказам наших собеседников, заклеивали окна квартир и лобовые стекла машин специальной «бронепленкой». Одно время предупредительные сообщения об опасностях обстрела в качестве дополнения к сигналам тревоги приходили горожанам и на личные телефоны. Также о защитных мерах военного времени напоминали регулярные проблемы с онлайн-картами и навигаторами: вероятно, силовые структуры использовали оборудование для подавления или искажения сигналов GPS — например, чтобы затруднять перемещение беспилотников. Эти нововведения меняли то, как люди ориентировались в городе и перемещались по нему: например, нашим исследовательницам приходилось спрашивать дорогу у прохожих или переписываться с таксистами в поисках машины, которая приезжала не туда. У самих таксистов навигаторы тоже работали со сбоями, что приводило к ошибкам в отображаемой цене за поездку.

Кроме того, нашим исследовательницам несколько раз встречались затянутые маскировочной сеткой машины скорой помощи с заклеенными опознавательными знаками — со слов коллег Марины по работе, в первые дни вторжения ВСУ часто обстреливали именно скорые.

Исследовательницы замечали и текстовые инструкции о том, как себя вести при объявлении воздушной тревоги или при обстреле — они встречались им в парадных жилых домов, магазинах и убежищах. В гостинице в центре Курска — которая была практически полностью переоборудована под пункт временного размещения для беженцев с оккупированных приграничных территорий — у стойки регистрации лежали распечатанные на обычной офисной бумаге информационные листки, в том числе «Инструкции, как вести себя при обстреле или если начнется стрельба на улице»; «Памятки о действиях при атаках ДРГ» (диверсионно-разведывательных групп); «Памятки о порядке действий при “желтом” уровне террористической опасности».



Инструкция в парадной одного из жилых домов.
Фото исследовательницы PS Lab.

На телеэкранах, установленных в общественном городском транспорте, одновременно с рекламными роликами показывали видеoinструкции на случай обстрела и карты укрытий в Курске. Также среди рекламы в автобусе одна из исследовательниц видела анимационный ролик, предупреждающий об опасности мин для детей: в нем дети обнаруживают мину и норовят до нее дотронуться, после чего на экране возникает номер 101.

В городском ландшафте Курска на идущую войну намекали также отдельные *отсутствующие* компоненты мирной жизни. Прогуливаясь по городу, наша исследовательница сделала следующую запись у себя в дневнике:

«Пошла дальше гулять от торгового центра, без какого-либо плана — просто шла вперед. В какой-то момент заметила красивое кирпичное здание — с виду дореволюционное. Подошла поближе и увидела на нем большую табличку: “Дом молодого зрителя”. Я подошла к афише и сразу обратила внимание, что она не обновлялась с августа: не было ни одного мероприятия, запланированного на сентябрь или октябрь. Я также посмотрела на сам репертуар на афише: джаз, фьюжн, современная академическая музыка — ничего явно патриотического или милитаристского, скорее наоборот, модная прогрессивная музыка. Людей вокруг театра не было, сначала мне показалось это странным — субботний вечер, центр города, все казалось подозрительно пустым. Но когда я прошла чуть дальше, заметила, что один из входов в здание был обтянут лентой. Я вспомнила, что в Курской области до сих пор действует режим КТО — и все встало на свои места: любые площадки, на которых могли бы массово собираться люди, просто закрыты» (Курск, октябрь 2024).

Единственные культурные мероприятия, которые удалось застать нашим исследовательницам, проходили в некоторых центрах гуманитарной помощи — то есть о них было известно только тем, кто туда приходил или там работал.

Локализованная пропаганда

Между тем материальный городской ландшафт Курска был насыщен и уже знакомыми нам по поездкам в удаленные от фронта регионы России знаками и образами войны. Во-первых, в Курске, по наблюдениям наших исследовательниц, было много видеорекламы военной службы.

Например, в том самом автобусе, где показывали ролики про мины и защиту от обстрелов, исследовательница насчитала еще и три рекламы разных видов службы:

«1) Реклама от Министерства обороны. На экране сменяются слайды с текстом: “Здесь все честно. Служи по контракту”, “Контракт на год и более”, “Федеральные льготы”, “Льготы и гарантии”, “Региональные льготы и меры соцподдержки”. Далее отдельно слайд: “Отпуск два раза в год” и “Санаторное лечение”. Последний слайд: номер телефона и логотип Министерства обороны. 2) Добровольческий отряд “Барс Курск”: реклама приглашает вступить в отряд для защиты Курской области. “Может вступить любой желающий”. 3) “Патриот” — добровольная дружина Курска. “Заявку может подать любой желающий” (автобус, Курск, сентябрь 2024).

Если рекламу Министерства обороны можно считать универсальной — такую легко представить себе в любом другом регионе, — то реклама добровольческих отрядов была привязана к ситуации в Курской области: зрителя приглашали не на абстрактную вакансию — сулящую соблазнительные дивиденды (которые как будто намеренно скрывали характер самого занятия и перетягивали внимание на внерабочие категории: *льготы, отпуск, санаторий*) — но, собственно, на помощь в защите той самой территории, где в момент просмотра рекламы находился ее адресат.

Во-вторых, в Курске было много наружной печатной рекламы контрактной службы. Эта реклама, по наблюдению наших исследовательниц, отличалась от рекламы в знакомой им Москве:

«В Москве плакаты выглядят более стилизованными: там много нарисованных образов и 3D-графики, и в целом меньше элементов, связанных с реальной боевой техникой. Курские же плакаты выглядели более брутально: на них чаще изображались реальные военные, техника, сцены, вызывающие ассоциации с настоящей войной, в них было гораздо меньше “приглаженности” и глянца» (Курск, октябрь 2024).

Конечно, мы не знаем, являлся ли реализм курских дизайнеров осознанным решением, и объясняется ли оно в таком случае осязаемым присутствием войны в городе. Это отличие, однако, кажется как минимум

символичным: даже война, опосредованная рекламой, оказывается в Курске более «настоящей», чем в Москве, где у большинства жителей есть ресурсы, чтобы не замечать ее в принципе.

Помимо объявлений о службе исследовательницам попалось на глаза и немало официальной визуальной пропаганды «СВО» — с ее типичными узнаваемыми брендами вроде буквы Z. Среди них были, например, крупный плакат с изображением известного мемориального комплекса «Курская дуга», открытого к одной из годовщин Курской битвы, с надписью в цветах георгиевской ленты: «За мир — победа будет За нами!»; плакат с изображением военного в полной боевой экипировке с ребенком на руках и подписью: «Любим и защитим»; баннер «Курск За вас». Все эти надписи — в отличие от рекламы военной службы — не предлагали никакой конкретики, но популяризировали войну, как бы по умолчанию наделяя ее положительными смыслами. Они связывали «СВО» и «ВОВ», увековеченную в мемориалах (в первом примере); ассоциировали войну с образами «заботы» и «защиты» семьи и детей (во втором примере); пробуждали чувство локального патриотизма (в третьем примере).

Перечисленные приемы составляют классический репертуар государственной пропаганды, характерный и для других регионов. В Курске, однако, эти устойчивые пропагандистские клише получали развитие. Если обычно провоенные лозунги направлены в (гипотетическое) светлое будущее — где «победа будет за нами», где «любят и защитят» и «своих не бросают» — то официальная символика в визуальном пространстве Курска (и близлежащих населенных пунктов) одновременно фиксировала уже свершившийся трагический исход войны — гибель ее участников — и обращалась в прошлое. Так, в Игловке одна из улиц была полностью увешана мемориальными табличками: на каждом фонарном столбе — баннер с фотографией, флагом России, георгиевской лентой и подписью «Своих помним». Это были портреты игловцев, погибших на «СВО». И снова символическое пространство пропаганды становилось в Курске более конкретным: вместо абстрактных «своих», за которыми «будет победа», — конкретные люди, жители тех самых мест, где развешены их портреты. А однажды, прогуливаясь по кладбищу в центре Курска, исследовательница набрела на гранитные мемориальные доски с выгравированными на них именами курян, погибших в разных войнах: в Афганской, Чеченской и на «СВО». Доска, посвященная «СВО», включала значительно больше имен, чем две другие. Рядом стояла еще одна, пока пустая гранитная дощечка, возле которой лежали свежие комья земли. Осмотрев мемориал, исследовательница с ужасом поняла: эта доска уже подготовлена для но-

вых имен. Хотя в данном случае трагическая история еще не была написана, она уже была предусмотрена — и вписана в повседневный ландшафт города.

Исследовательницы замечали и другие проявления пропаганды войны в публичном пространстве. Например, на вокзале исследовательница обратила внимание на то, что почти все междугородние автобусы были украшены Z-символикой: под стеклом одних буква была выложена георгиевской ленточкой, на других виднелись небольшие наклейки рядом с фарой. За время, проведенное в регионе, исследовательницы видели подобные наклейки и на некоторых полицейских и военных машинах. Отдельные примеры низовой поддержки войны встречались в рекреационных местах. Так, в одном из популярных среди горожан баров, поверх настенного ковра красовалась нашивка «Работайте, братья! Мы с вами! Вклад V победу», и рядом — не отсылающая непосредственно к войне, но воспроизводящая националистическую риторику «БУДЬ РУССКИМ. МИР ПРИВЫКНЕТ».



Слева провонные нашивки в одном из городских баров. Справа антивоенное граффити.

Оба фото исследовательницы PS Lab.

За все время пребывания в Курской области нашим исследовательницам попался лишь один пример прямого антивоенного высказывания в публичном городском пространстве: граффити с перечеркнутой Z в одном

из спальных районов Курска. Еще одно высказывание можно осторожно трактовать как не столько антивоенное, сколько выражающее недовольство происходящим. Возле входа в убежище, расположенное в здании жилого дома, чьей-то рукой было нацарапано «Чикист» (вероятно, его автор имел в виду «чекиста»). Аккуратно выведенная рядом стрелка указывала на вход, как бы говоря, что в убежище прячется «чекист». С другой стороны от входа сделанная той же рукой надпись гласила: «Власть ахаха».

Новые горожане — жертвы и участники войны

Пространственная близость фронта и оккупация части Курской области изменили не только материальную среду, но и социальный состав Курска. Например, от наших собеседников мы знаем, что некоторые горожане покинули захваченный войной Курск и уехали в другие города. Таким образом, «переехать из Курска» стало для части его жителей реалистичной перспективой на будущее — некоторые из молодых собеседников наших исследовательниц, например, всерьез рассматривали ее в связи с рисками, которые несет с собой приближающаяся война.

Кроме того, война привела к появлению в городе новых людей: в первую очередь, военных и беженцев из приграничных районов. Именно эти две новые группы были наиболее заметны в городском пространстве.

Исследовательница, приехавшая в город в конце сентября и начале октября 2024 года, встречала людей в камуфляже ежедневно: разных возрастов, в полном и частичном обмундировании, с оружием и без, группами и поодиночке, на улицах, площадях, в кафе, в парках, магазинах и других общественных городских пространствах. Исследовательница, посетившая регион чуть позже, в конце ноября – начале декабря, наблюдала людей в военной форме не так часто, но чаще, чем в знакомых ей и удаленных от фронта городах. Обеим регулярно встречался специальный транспорт: военные грузовики и машины, затянутые защитной сеткой, военные вертолеты и даже БТР. Вот несколько примеров из этнографических дневников:

«Возле гостиницы “Центральная” я заметила черную машину с “бляшками” на крыше, похожими на антенны. Наверное, спецсвязь. <...> Зашла в магазин “Подружка”, чтобы купить резинку для волос. Увидела там военного в камуфляже (с шевронами и камуфляжной кепкой, но без оружия), который выбирал женские духи. “Они даже в “Подружке””, — подумала я» (Курск, октябрь 2024).

«В автобусе рядом со мной были две девочки примерно лет десяти со школьными рюкзаками. Они все время перешептывались и хихикали. В какой-то момент одна из них заметила на улице мужчин в камуфляже и дернула вторую: “О, военные! Смотри!” (автобус, Курск, декабрь 2024).

«Пока я шла обратно к главному входу в вокзал, заметила поразительно молодо выглядящего военного: мне показалось, что ему не больше восемнадцати. Он был без каких-либо травм, с вещмешком и в неполном бежевом камуфляже без шевронов» (привокзальная площадь, Курск, октябрь 2024).

Идентифицируя людей как «военных», исследовательницы ориентировались только на визуальные признаки — бронезилеты, каски, камуфляж, оружие, транспорт и другую атрибутику. При этом важно понимать, что не все люди в спецодежде были именно военными — это могли быть члены «околовоенных» и волонтерских объединений, например, добровольческих дружин. Одновременно многие военные с недавним опытом участия в боевых действиях могли носить гражданскую одежду. Для горожан, с которыми исследовательницы обсуждали военных, их присутствие в Курске было чем-то самоочевидным. Например, Вика, барменка в одном из популярных баров в центре города, рассказала исследовательнице, что военные «частенько тут закупаются». С ее слов они, как правило, приходят в обычной одежде, но она легко распознает их по «взгляду», «выправке» и «разговорам» (ж, около 25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Между тем именно присутствие в городе людей в форме и на специальной технике являлось отличительной особенностью Курска по сравнению с более удаленными от фронта городами. Вероятно, солдаты, в том числе те, кто успел поучаствовать в войне с Украиной, найдутся на сегодняшний день уже в любом российском городе. Однако без спецодежды меняется и их социальная роль: вернувшись с войны и переодевшись в гражданское, они тем самым как бы оставляют военную жизнь (сейчас мы «уже не на работе», война осталась «там»). Люди в форме, которые находятся «при исполнении», напротив, делают войну видимой.

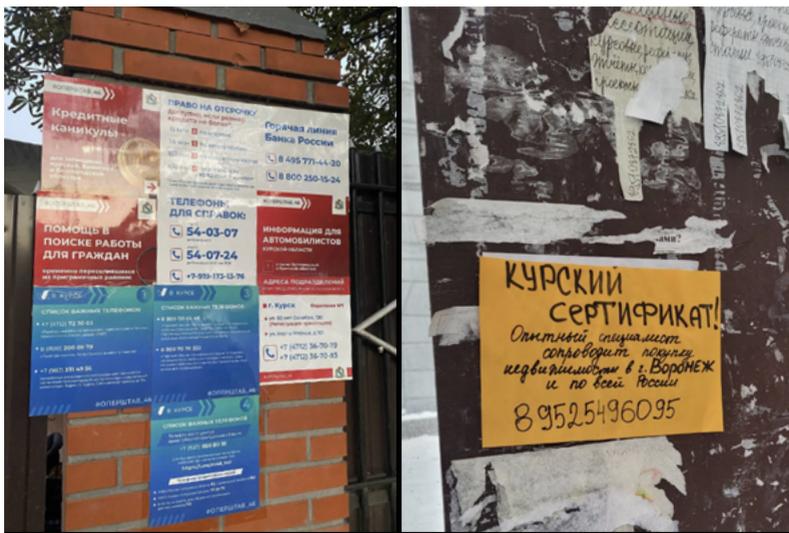
Беженцев, эвакуированных из приграничных сел, в отличие от бросающихся в глаза людей в спецодежде, можно было выделить среди остальных горожан лишь по косвенным признакам, которые исследовательницы, поработав в центрах гуманитарной помощи, научились распознавать интуитивно. Часто это были не только видимые атрибуты беженства (например,

большие пакеты с вещами), а едва уловимые черты. Вот как описывает исследовательница характерную сцену такого узнавания — мы уже коротко упоминали ее в методологической части отчета:

«Прогуливаясь вокруг, я заметила на одной из лавочек неподалеку от палаток женщину лет семидесяти, которая оживленно жаловалась двум другим пожилым женщинам. Я не слышала начала их разговора, но почти интуитивно поняла, что она — беженка. Забегая вперед, скажу, что так оно и оказалось. При этом у нее не было никаких “очевидных” признаков беженки — ни пакетов с гуманитарной помощью, ни неопрятного вида: наоборот, она выглядела очень аккуратно. Я отметила про себя, что, видимо, уже интуитивно научилась считать беженцев — возможно, по особой манере держаться или по тому эмоциональному фону, который они транслировали: сплаву одиночества, потерянности, усталости, глухого недовольства и потребности, чтобы на них обратили внимание» (парк, Курск, октябрь 2024).

Здесь важны не сами «признаки беженства» (в конце концов, каждый горожанин может пользоваться своим набором признаков для того, чтобы идентифицировать беженцев), а то, что присутствие новой социальной группы меняло индивидуальное ощущение города и заставляло определенным образом интерпретировать и оценивать пространство и людей вокруг.

О том, что Курск наполнился беженцами из приграничных районов, свидетельствовали также обращенные к ним объявления, которые регулярно встречались исследовательницам в общественных местах: о выдаче гуманитарной помощи, содействии с трудоустройством, жильем и документами.



«Я пошла бродить по городу. Мне продолжали попадаться объявления на столбах, предлагавшие бесплатную помощь» (Курск, сентябрь 2024) Оба фото исследовательниц PS Lab.

Присутствие беженцев — как и военных — оказывало прямое влияние на повседневный опыт жителей Курска после 6 августа 2024 года. Абсолютное большинство наших собеседников из их числа слышали истории бывших жителей приграничья из первых уст — от родственников, друзей и знакомых, а многие участвовали в сборе гуманитарной помощи и других видах волонтерства. Более того, у горожан успел сложиться целый репертуар обобщенных представлений о беженцах как о группе.

Из-за притока беженцев в Курске появились новые пространства: пункты временного размещения и центры гуманитарной помощи. Значительная часть этнографической работы наших исследовательниц проходила в таких центрах. Эти новые пространства были более «насыщенными» войной. В ПВР и центрах гуманитарной помощи не увидишь «случайной» публики — они привлекали прежде всего тех, чьи жизненные обстоятельства, интересы, потребности или обязанности были в той или иной форме связаны с войной.



Слева пакет с логотипом «Справедливой России» в руках беженки в одном из них. Справа стенд с адресами центров гуманитарной помощи. Оба фото исследовательниц PS Lab.

Помимо беженцев и волонтеров в них появлялись военные и члены «околовоенных» патриотических организаций, объединений и движений, представители политических партий, коммерческих компаний и других спонсоров.

Война в повседневных разговорах

Публичное пространство Курска отличалось от других знакомых нам мест тем, что войну в нем было не только видно, но и слышно. Когда мы проводили наблюдения в удаленных от фронта регионах, и до того, как военные действия перекинулись на территорию России, нашим исследовательницам приходилось провоцировать разговоры на тему войны, не всегда рассчитывая на успех. В Курске эти разговоры были повсюду: достаточно было много гулять и внимательно слушать. Вот несколько примеров из этнографических дневников обеих исследовательниц:

«Проходя мимо одной припаркованной машины, я услышала разговор двух мужчин. До меня донеслись отдельные фразы: “срочники умирают”, “Курская область”, “чтобы танк мог проехать”, “ужас какой-то творится”» (Игловка, октябрь 2024).

«В грузинском кафе сидели, в основном, семьи. <...> Я села неподалеку от трех женщин средних лет — погреть уши. Они обсуждали своих детей и мужей. Одна рассказывала про сына подростка, который <...> сказал ей, что не хочет в армию потому, что увидел в Youtube рассказ военного, который вернулся с фронта, а его девочка не дождалась. В ответ женщина скинула ему другое видео, где, наоборот, девочка дождалась своего парня, а он типа “не нагулялся” и не навоевался — обратно поехал служить. Сын удивился: “И такое бывает?” — “И такое бывает!”» (кафе, Курск, декабрь 2024).

«До отправления маршрутки до Игловки оставалось около двадцати минут, и я села на лавочку на остановке у вокзала. Вдруг я услышала, как рядом один мужчина — судя по всему, пьяный (это было заметно по его движениям и тембру голоса) — эмоционально рассказывал какой-то женщине о войне. Он был в камуфляжном костюме, накинутом поверх обычной футболки. <...> “Они там детей убивают нахуй. Я там две недели пробыл, это дурдом, это настоящий дурдом — вот я и забухал”. “Я смог бы воевать, и умею это делать, а меня не пускают”» (привокзальная площадь, Курск, сентябрь 2024).

Подслушать связанные с реалиями войны разговоры, не вступая в них, можно было в парках, на улицах, в тату-салонах, торговых центрах, барах и кафе. Десятки раз — и с почти стопроцентным успехом — обе исследовательницы заводили разговоры на военные темы с людьми, которых встречали впервые в жизни. Достаточно было, например, поинтересоваться самочувствием людей в связи с ситуацией в Курске («Как вам тут вообще с сиренами каждый день? Не представляю») или, отвечая на вопрос собеседника о причине визита в Курск, рассказать про волонтерство в центрах гуманитарной помощи. Можно было и просто задать вопрос про жизнь и изменения в городе новым знакомым — люди буквально с пол-оборота заговаривали о войне. Вот пример одного из таких диалогов, который исследовательница завела в баре сразу после заказа напитка — и записала в дневник по памяти сразу после:

Исследовательница: Чем вы тут занимаетесь? В Курске.

Барменка: Чем? Тем же, чем и все, в принципе. Ну, от бомб уклоняемся иногда.

Исследовательница: Чего?

Барменка: От бомб уклоняемся, ракеты ловим, обратно их типа кидаем. (смеется) (бар, Курск, октябрь 2024).

Часто, как и в этом примере, исследовательницам даже не нужно было подыскивать специальных слов («сирена», «военные», «страшно», «вот эта вся ситуация») для того, чтобы разговор вышел на связанные с войной темы. В этом и состояло принципиальное отличие Курска от более удаленных от фронта населенных пунктов России: темы, связанные с войной, не были в нем табуированы и спокойно обсуждались в общественных пространствах при посторонних людях.

Кроме того, в Курске разговоры о войне велись с позиции личного, пережитого опыта или прямого свидетельства. Для жителей Курской области война была не только информационной реальностью, увиденной на экранах телевизоров или услышанной в рассказах знакомых, а событиями, происходящими «здесь и сейчас». Именно эта свидетельская позиция отличала разговоры местных жителей области и переселенцев из курского приграничья. Когда барменка в полушутливом тоне говорила, что они, горожане, «от бомб уклоняются иногда», она имела в виду коллективный городской опыт. Этот опыт становился коллективным именно потому, что у большинства горожан были личные, связанные с войной, истории, которыми они охотно делились друг с другом. Исследовательницы не раз слышали рассказы от первого лица о том, как люди видели дроны, пугались взрывов и убегали от беспилотников. Так, например, в одном из центров гуманитарной помощи во время рабочего перерыва исследовательница наблюдала следующий разговор двух молодых «добровольно-принудительных» волонтеров, откомандированных в центр местным колледжем:

«Первый мальчик стал рассказывать, как они с приятелем попали под обстрел по дороге с работы: “Голову назад поворачиваем — там вспышки-хуишки, дроны летают. Мы нахуй через переезд перелетели — там уже поезд ехал”. В ответ на это второй поделился собственной историей. По его словам, они с приятелем выпивали где-то в городе и тот заметил летящий в их сторону беспилотник. “Я говорю: ‘Ты ебнулся, нахуй’. В натуре летит, пидор, ебать. Уебшил куда-то на Жукова!”» (центр гуманитарной помощи, Курск, октябрь 2024).

Или еще один пример: в одном из курских баров с исследовательницей познакомился молодой парень, который представился Саней. За сигаретами они разговорились и уже через пару минут Саня в красках рассказывал о том, как он ездил разгружать гуманитарную помощь в приграничный район Курской области — и едва не погиб, хотя он вообще «не военный, слава богу». Он решил поучаствовать в доставке гуманитарной помощи, когда узнал про тяжелую ситуацию в регионе,

поскольку, по его словам, остался «на небольшом патриотизме» и захотел помочь кому-то из семьи, кто ушел на «СВО». В результате Саня попал, по его выражению, «в самый замес»: «Просто приехал, блять, выгрузил, а тут — в рот ебись, ВСУ!» По его словам, по газели, в которой они ехали, объезжая мины, прошли автоматные очереди. Саня рассказал, как под выстрелы писал матери: «Мама, прости, я, возможно, больше тебе никогда не отвечу», и как через час в полном шоке уже оказался в Курске, после чего больше гуманитарку не возил (м, около 22 лет, агент по недвижимости, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Истории про то, как люди «видели дроны» и «слышали прилеты», находясь на улице, дома или на работе, превратились в устойчивый жанр рассказов о военных действиях от первого лица. Другим устойчивым жанром были истории беженцев про то, [как они эвакуировались из своих домов](#): как и с кем уезжали, через какие трудности проходили с поиском жилья и работы, и как связывались с оставшимися в селах родственниками. В этих рассказах тоже периодически фигурировали военные действия — взрывы, танки, дроны, военные и сгоревшие дома.

ВСУ и вообще украинцы значительно чаще появлялись в рассказах наших собеседников из Курской области — в более отдаленных от фронта регионах России, как мы можем помнить, о них почти не говорили. Украинцы упоминались в самых разных контекстах: от пропагандистских штампов про «нацистов» или полшуточных рассуждений про «проделки сатаны и хохлов» (в данной ситуации человек предполагал, что его обманули на полторы тысячи рублей) до историй про угрозы «ЦИПСО», которые собеседники воспринимали всерьез, опасаясь, например, за судьбу своих близких, ушедших на «СВО»; от рассказов про испорченные отношения с родственниками, которые «желают смерти», до историй о добрых украинских солдатах, которые подкармливают людей на оккупированных ВСУ территориях. В целом, украинцы в различных ипостасях фигурировали в таких разговорах как действующие лица, как актеры, чье близкое присутствие и интересы тоже учитываются и влияют на положение вещей. Это, впрочем, ожидаемо, в условиях близости войны и территориальной близости самой Украины, с гражданами которой у многих жителей Курска и области были родственные, профессиональные и дружеские связи.

В разговорах курян также циркулировали различные образы «ужасов» войны: например, расстрелы детей и беременных женщин; трупы, которые «валяются как грибы», пропитывая землю трупным ядом (с последним были связаны страхи того, что почва в оккупированных селах будет непригодной для урожая в будущем); люди, которые «висят на фонарных столбах четыре месяца» различные увечья — «ребята, которые

там без глаз, без ног, без всего». Эти образы отличались привязкой к конкретным местам и людям: беременная женщина была «из Суджи», на столбе висел «мой кум, Шуры родственник», трупный яд разливался по конкретному селу, а на «ребят без глаз, без ног, без всего» собеседник «насмотрелся» сам. Обилие подробностей и потребность людей делиться ими в разговорах друг с другом усиливали ощущение непосредственной близости войны. Эти ощущения — через регулярную коммуникацию в общественных местах — из суммы индивидуальных впечатлений превращались в коллективный опыт, носителями которого были жители Курска и области.

Разговоры о войне в третьем лице тоже звучали чаще и не были табуированы в Курске, в отличие от более отдаленных от фронта городов. Более того, в Курске они часто касались близких людей, а не просто знакомых вроде «мужа соседки». Куряне рассказывали про службу своих собственных мужей и других родственников. А представить себе жителя Курска, в окружении которого не было побывавших на войне друзей, одноклассников или знакомых, почти невозможно. Война в Курске ощущалась *социально* близкой за счет прямой включенности в нее родственников и знакомых жителей города.

Городской ландшафт Курска отличался от ландшафтов более отдаленных от фронта российских городов тем, что был «насыщен» войной — не только в форме ее знаков, но и напрямую: убежищами, сигналами тревоги, специальными пространствами и объявлениями для беженцев, которым пришлось покинуть свои дома в результате оккупации приграничных территорий. Все это создавало новые правила, новые социальные практики и новые роли, связанные с боевыми действиями, опасностью и нуждой. Война проявлялась в пространстве Курска одновременно на нескольких уровнях: в его материальной городской среде, в возникновении новых социальных групп и в разговорах в общественных местах. Городская среда Курска была милитаризована, социальный состав города поменялся за счет прямых участников и жертв войны, солдат и беженцев из приграничных территорий, а упоминания войны в разговорах встречались повсюду — эти разговоры не были табуированы, велись от первого лица с позиции очевидцев или же касались ближайших родственников говорящих.

2. КАК КУРЯНЕ «ОБЖИВАЮТ» ВОЙНУ

Читатель может представить, что в городе, в котором он или она живет, каждый день звучит сирена воздушной тревоги, а по улицам гуляют солдаты в форме или проезжают БТР. Рассказы о войне в этом городе регулярно звучат в разговорах случайных людей в общественных пространствах. Первый встречный может поведать о своем побеге из-под обстрелов, а случайный собеседник в баре вдруг оказывается поэтом, который пишет «цикл стихов про СВО». Именно таким наши исследовательницы застали город Курск, ландшафт которого был радикально изменен войной. Но каким образом ее присутствие сказывалось на повседневности горожан? Создавало ли оно новые практики и привычки? Об этом — вторая часть главы.

Танцы под сирену

Мы хотим вернуться к сентябрю 2024 года, когда Курск встретил нашу исследовательницу сигналом воздушной тревоги, группой военных и укрытиями от бомбежек. Описав первые минуты пребывания в городе, исследовательница продолжила:

«На остановке было несколько человек, но никто не спешил в убежище. Пара редких прохожих на улице тоже не стремились как-то изменить свою траекторию, шли, как и шли. Все вокруг были расслаблены и как будто вообще не замечали сирену» (привокзальная площадь, Курск, сентябрь 2024).

Игнорирование сигналов тревоги оказалось повсеместной общественной нормой. «Вдруг завопила сирена, — записала исследовательница в дневнике. — Никто (как обычно) не обратил внимания» (Курск, декабрь 2024). «Неожиданно включилась воздушная тревога, — это цитата из дневника другой исследовательницы. — Карина [волонтерка] только на секунду остановилась, прислушалась, что-то фыркнула, а потом продолжила перекладывать вещи как ни в чем ни бывало» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Судя по рассказам курян, поначалу — то есть в августе 2024 года — когда сигналы тревоги были новым явлением и звучали гораздо чаще, люди реагировали на них, однако вскоре перестали их замечать. Горожане отчетливо помнили, что «раньше» сигналы тревоги было слышно — вероятно уже к середине сентября люди привыкли к этим звукам настолько, что *действительно* перестали их слышать.

Показательный в этом отношении диалог произошел между исследовательницей и водителем такси, который заверил ее, что в городе «в последнее время уже все тихо, спокойно». В ответ на упоминание исследовательницей работы сирены, он объяснил, что «раньше она звучала чуть ли не каждые полчаса, а сейчас, может, пару раз в день бывает». А затем признался, что не слышал ее сегодня – хотя исследовательница точно помнила, что сигнал тревоги уже звучал в этот день (м, около 40 лет, водитель такси, житель Курска, Курск, декабрь 2024).

В другом похожем разговоре участвовали живущие в ПВР беженки. Одна из них поделилась с остальными наблюдением о том, что в Игловке сейчас «тишина, и даже сирена не работает какой день». Когда находящаяся рядом исследовательница возразила, что сирена была буквально вчера, другая беженка, не вступая в спор с исследовательницей, попыталась поддержать наблюдение своей соседки: «Но уже не так, как раньше сирена, да? Это ужас был» (обе: ж, около 40 лет, профессии неизвестны, беженки, Игловка, октябрь 2024).

Похожим образом жители Курска игнорировали укрытия (или не знали о них вовсе). Так, в разговоре с исследовательницей волонтеры Костя и Андрей, у которых она поинтересовалась, «бегают ли они в укрытия» во время работы сирены, попросту отрицали их наличие: «Нет. **Нет укрытий. Какие укрытия?** В те бетонные коробки я заходить не буду». Андрей согласился с Костей: «Их нет, **в домах нет укрытий**» (оба: м, около 22 лет, волонтеры, жители Курска, Курск, ноябрь 2024). Обе наши исследовательницы не раз видели убежища в жилых домах, а согласно [карте](#), укрытий этого типа в Курске было значительно больше, чем свежестроенных «бетонных коробок».

Исследовательницы сами довольно быстро перестали обращать внимание на сигналы тревоги. Так, например, одна из них сделала в дневнике следующую запись:

«Что может быть гнетущего в этих звуках, когда все люди вокруг ведут себя так будто их и нет? <...> Воздушные тревоги плохо доходят до моих ушей, иногда я их вообще не замечаю и пропускаю. А когда еще и люди за окном прогуливаются, не обращая внимание на сирены, так вообще начинает казаться, что нет смысла отслеживать эти угрозы» (Курск, декабрь 2024).

Упомянутая исследовательница приехала в Курск в ноябре 2024 года, когда коллективная поведенческая норма уже сформировалась и закрепились. И именно эта норма, а не формальные рекомендации, предписывающие «чувствовать опасность» и «искать укрытие», моментально стала регулировать ее поведение и восприятие.

Исследовательнице же, которая посетила город в сентябре 2024, удалось увидеть — пусть всего пару раз — иные реакции на сирену тревоги в общественных местах:

«В какой-то момент включилась воздушная тревога — я как раз была рядом с укрытием и сразу зашла внутрь. Вместе со мной туда забежали две девочки, смеясь. Я спросила одну из них: “Вы обычно прячетесь, девчонки?” Девочка помотала головой — мол, нет, а потом показала на подругу: “Вот она боится”. (Курск, октябрь 2024).

Показательно, однако, что даже в этом случае девочка описала игнорирование сирены тревоги в качестве нормы, а реакцию подруги представила как исключение: «вот она боится» (а значит, остальные по умолчанию нет).

Кроме того, важно, что обе девочки реагировали на ситуацию со смехом. Шутливое — часто демонстративно шутливое — отношение к ситуации опасности встречалось исследовательницам многократно. Юмор — наряду с игнорированием, незамечанием и забыванием — можно считать одной из стратегий опривычивания войны в повседневности горожан Курска. Наши собеседники рассказывали истории про сирены и взрывы чаще всего в юмористическом регистре, со смехом, экспрессивными выражениями или шутками.

Вот характерный пример того, как ситуация тревоги была «улажена» группой из учительницы и двух юных волонтерок, студенток колледжа. Дело происходило во дворе центра гуманитарной помощи:

«Посреди разговора снова включилась воздушная тревога. Учительница сказала спокойным тоном: “О, господи... Орет она, конечно, страсть!” Богдана, одна из девочек-волонтерок, добавила: “Главное, чтобы сюда не прилетали”. Другая проговорила ей в ответ: “Богдана, сплюнь, у тебя какой-то поганый язык. Что ты не скажешь, постоянно происходит”. Обе засмеялись. Богдана: “Да

не правда!» Вторая волонтерка: «Да правда!». Затем вторая волонтерка начала танцевать под звуки сирены» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Рассказывая об испуге в шутливой, преувеличенно-театральной манере, смеясь в ситуации потенциальной опасности, люди могли переводить восприятие происходящего из необычайного в обыденное и тем самым нивелировать ощущение тревоги. Другими словами, они как бы «упаковывали» проявления войны в знакомые, безопасные культурные формы. В речи это иногда происходило через называние явлений военного времени словами из реальности мирного, подобранными по формальному сходству. Например, обе исследовательницы слышали, как взрывы от работы ПВО называют «салютами».

Характерно, что такого рода приемы юмористического переописания проявлений войны со временем начинали жить своей жизнью. Исследовательница, приехавшая в Курск в ноябре-декабре 2024 года, не раз наблюдала их использование в отсутствие непосредственной военной опасности:

«Мое внимание привлекли двое парней-подростков лет 14-15. Они весело дурачились, несмотря на большое количество людей на остановке: играли в драку, смеялись и *имитировали звуки воздушной тревоги*» (автобусная остановка, Курск, декабрь 2024).

«Я попросила у барменки налить мне сидра. Открытый сидр у них закончился, поэтому нужно было открыть новую тару. Барменка долго с ней возилась, но в итоге открыла. Тара начала издавать смешные громкие звуки при открытии. Бар-менеджер прокомментировал: “Ракетная опасность!” Кто-то посмеялся. Марго дополнительно *сымитировала звуки воздушной тревоги*: “Пиу-пиу-пиу!”» (бар, Курск, декабрь 2024).

Проявления войны превратились в материалы для имитации, игры и шуток — и вместе с этим из них уходила тревога. Подобные процессы «переработки» необычайного в повседневное можно было наблюдать в период пандемии, например, когда *дети играли в ковид*. Жители Курска в каком-то смысле изобрели эффективные защитные меры против защитных мер. К слову, городская защитная инфраструктура тоже подвергалась действию этих мер: бетонные укрытия, судя по запаху мочи в них, использовались частью горожан как общественные туалеты.

Однако в некоторых ситуациях проявления войны было невозможно игнорировать — они создавали *помехи* в повседневной рутине горожан. Так, собеседник нашей исследовательницы, житель окраины Курска, жаловался на ежедневные пробки из-за установленных блокпостов и наплыва беженцев, которые, с его точки зрения, создавали дополнительную нагрузку на дороги, соединяющие Курск с селами. Именно этот «*низдец на дорогах*», а не сигналы тревоги, звуки ПВО и другие непосредственные проявления войны, не давали ему возможность забыть о режиме КТО (м, около 25 лет, профессия неизвестна, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Зачастую официальные защитные меры попросту вызывали у людей раздражение. Куряне не только старались не замечать сигналы тревоги и осознанно бездействовать («в бетонные коробки я заходить не буду»), но и предпринимали *активные* действия для того, чтобы дистанцироваться от назойливой войны — переворачивали телефоны, выключали уведомления, отписывались от новостных каналов. Вот как рассказывал об этом один из собеседников нашей исследовательницы в курском баре: «Раньше у нас оповещения и смс-ки приходили. Но только через час после сирены. ***И эти смс-ки ночью забывают. Я просто телефон уже начал класть дисплеем вниз, чтобы оно хотя бы не сверкало***» (м, около 25 лет, профессия неизвестна, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Более того, горожане ожидали подобного поведения и от других — например, от соседей. Следование мерам предосторожности не только не считалось нормой (как в примере с девочками в укрытии — «*вот она боится*»), но иногда и вызывало негодование. Хороший пример тому — жалобы мастерицы по маникюру нашей исследовательнице на своего соседа:

«В какой-то момент она стала рассказывать про своего соседа сверху. По ее словам, во время ракетной опасности, “в час ночи у него там орет ‘Внимание, ракетная опасность! Последуйте в укрытие’”. И я такая: “***Выключи, пожалуйста, тарантайку эту! Я не могу уснуть***”» (ж, 25 лет, мастер по маникюру, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Иногда наши собеседники принимали решение отказаться от защитных мер, исходя из бытовых, прагматических соображений. Так, например, та же мастерица по маникюру, когда исследовательница спросила ее про пленку на окнах, замеченную ей в Курске, рассуждала о ней в категориях, в которых люди говорят о ремонте квартиры или покупке бытовой техники. «Хорошая бронепленка дорого стоит. А я на съемном жилье!» — объяснила она, а затем пустилась в подробности: «Там выходило на

все окна тысяч 28. Я такая: *“Пффф! Неее, я такое удовольствие не хочу оплачивать!”*». Она привела еще несколько аргументов вроде дороговизны специалиста, которого нужно нанять, чтобы приклеить пленку надлежащим образом, и резюмировала: *«Видимо, не судьба. Ну, и нахер»* (ж, 25 лет, мастер по маникюру, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Горожане и сами подмечали опривычивание войны. Показательный диалог, например, состоялся у нашей исследовательницы в одном из курских баров. Как всегда, она познакомилась и болтала с кем-то из его посетителей, и в какой-то момент поинтересовалась у своих собеседников, как же им живется в Курске во время войны. Один из них тут же ответил: *«А что война? Ты ощущаешь здесь какую-то войну?»* Исследовательница вспомнила, что услышала сигнал воздушной тревоги, едва сойдя с поезда. *«Ну, сирены на постоянной основе, и все. Для нас уже как обыденная часть»*, — ответил молодой человек (м, около 25 лет, профессия неизвестна, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

При этом важно избежать впечатления, которое может возникнуть у читателя, находящегося далеко от Курска и от войны: *«Должно быть, с людьми в Курске что-то не в порядке — они не испытывают страха и не следуют элементарным мерам безопасности»*. Это не так. Напротив, защитные стратегии курян — часто осознанный, отрефлексированный выбор, помогающий сохранить психологическую стабильность.

Например, Настя, с которой наша исследовательница познакомилась в баре, призналась ей в том, что *«относиться к жизни с юмором»* — единственно возможный для нее выбор, потому что в противном случае она *«ляжет в дурку»*, учитывая, что у нее уже был опыт ментальных заболеваний. В частности, начало войны пришлось на период, когда она еще проходила лечение, и *«эти сирены»* ей *«мерещились»*. Поэтому, как резюмировала Настя, *«либо я к этому отношусь легко, шуточно, либо мне становится хуево — с депрессией, с галлюцинациями и так далее. А мне это не надо»* (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, жительница Курска родом из приграничья, Курск, октябрь 2024).

В тот же вечер исследовательница познакомилась с еще одной посетительницей бара, Соней. Соня переехала в Курск из Белгорода после того, как там начались активные обстрелы. Она рассказала, как было страшно *«просыпаться от громких взрывов»*, а также про *«панички»*, которые у нее начались, когда снаряды начали попадать по городу. Девушке снилось, как взрывается ее квартира, в результате она *«отписалась от пабликов, и просто вообще перестала читать»*,

где что происходит. И стало легче». Сейчас же, по словам Сони, она привыкла, и легче воспринимает происходящее: «Ну, бахает, я просто знаю, что делать и все» (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, жительница Курска родом из Белгорода, Курск, октябрь 2024).

Поддерживая привычный ход вещей, куряне защищали себя от страха. Если к сирене и «баханьям» на фоне можно было привыкнуть, то непосредственные столкновения с угрозой, локализованной в конкретном, близком и знакомом месте, все-таки вызывали у горожан неподдельный испуг. Именно такой опыт врезался в память и оформлялся в рассказы, которыми люди активно делились друг с другом. Так, например, Дима, с которым наша исследовательница познакомилась в одном из курских баров, при описании того, как ПВО «сбивали дрон», неоднократно делал акцент на близости произошедшего к *собственному дому*. Он подчеркивал пережитые им эмоции и ощущения: громкие звуки полета дрона или яркий «алый цвет от взрыва на стене дома», на которую он смотрел из собственного окна. **«И вот сидишь на это смотришь — нереально страшно становится. Прямо возле нашего дома.** Это был очень стремный день» (м, около 22 лет, студент, житель Курска, Курск, октябрь 2024). Горожане рассказывали друг другу о конкретных объектах, пострадавших от обстрелов (нефтебаза, знакомая улица, дом приятелей) и делились видео с мест событий.

С одной стороны, через циркуляцию таких свидетельств разные районы города маркировались как более или менее опасные: «Сестра у меня живет в ж/д районе — там, где эти «бахи» основные происходят, в частном секторе. Там прямо жутковатенько» (ж, 25 лет, мастерица по маникюру, жительница Курска, ноябрь 2024); «У них там на окраинах где-нибудь пиздец происходит постоянно. И видно, как что-то летит и хлопает чаще» (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). С другой стороны, подобные сравнения давали говорящему возможность представить свое положение как менее проблемное («у них там пиздец», «вот там страшно» — а значит, «здесь» нормально). Многие бы подписались под комментарием волонтерки Богданы, которым она поделилась в момент сигнала воздушной тревоги: «Главное, чтобы сюда не прилетали» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, волонтерка, жительница Курска родом из приграничья, Курск, сентябрь 2024). Истории из личного опыта преподносились прежде всего как исключения из правила, которые остались в прошлом («это *был* очень стремный день»). Иными словами, с помощью таких рассказов ситуации пережитой паники отодвигались во времени и в пространстве — это было еще одной защитной стратегией курян.

Именно личная безопасность в конечном итоге становилась индикатором общей «нормальности», поэтому люди объясняли себе и другим, что *лично им* ничего не грозит. Так, уже упоминавшийся выше Дима на вопрос о том, не бывает ли ему страшно в городе, где звучат звуки сирен и взрывов, дал, на первый взгляд, парадоксальный ответ. Он объяснил, что звуки взрывов, наоборот, свидетельствуют о *безопасности*, поскольку «свой снаряд не слышно», а значит, «переживать не о чем». Под «своим снарядом» Дима имел в виду тот, который попал в человека: «Если ты слышишь снаряд, значит он прилетел не по тебе. Вот я стараюсь с этой точки зрения действовать. **Я услышал, значит, по мне не прилетело, я цел, все нормально**» (м, около 22 лет, студент, житель Курска, Курск, октябрь 2024). Показательно также, что эту «концепцию», согласно которой звук взрыва означает не «опасность», а «безопасность», Дима изобрел не сам, а услышал от других — то есть люди делились этой точкой зрения друг с другом.

При этом, разумеется, наши собеседники прекрасно понимали, зачем нужны правила безопасности. Иногда они даже слегка оправдывались перед удивленными исследовательницами за свою беспечность. Так, Дима, поделившись своей точкой зрения, оговорился: «Конечно, это такая позиция не очень, потому что **прятаться надо**, когда тревогу объявляют. **Это по-хорошему**». На вопрос исследовательницы о том, почему же не прячется он сам, Дима ответил: «Работать надо, надо зарабатывать» (м, около 22 лет, студент, житель Курска, Курск, октябрь 2024). Кажется, что смысл этой внезапной ссылки на работу (до этого речи о работе и заработке не заходило) состоял в том, чтобы дать какое-то социально приемлемое объяснение избеганию правил. Прятаться *надо*, но ведь и работать тоже *надо* — кто будет спорить с этим утверждением? Приходится выбирать что-то одно.

Впрочем, и сама защитная инфраструктура «помогала» людям жить так, как будто никакой войны нет. Иногда она попросту не отвечала повышенным требованиям безопасности, предписанным режимами КТО и ЧС. Например, на курских вокзалах исследовательницы не заметили никакого специального контроля, кроме рамки металлоискателя. Убежища в жилых домах — те самые, существование которых отрицали волонтеры Костя и Андрей — иногда, действительно, было трудно обнаружить, к тому же некоторые из них были попросту закрыты на замок, а информация о местоположении ключа отсутствовала.

Кроме того, в текстах инструкций по безопасности и рекламы военной службы, которые попадались нашим исследовательницам, не было упоминаний «СВО» или «войны», как и объяснений того, почему опасность

вообще угрожает горожанам. Даже в видеороликах, содержащих милитаристские образы солдат и призывающих защищать территорию, не говорилось, от кого и по какой причине ее нужно защищать. Более того, эти ролики показывались вперемешку с другими, самыми обычными видео из мирной жизни. Например, за рекламой службы по контракту следовал ролик о необходимости накоплений «для себя», изображающий женщину, которая принимает ванну при свечах. Инструкции безопасности на случай обстрела сменялись рекламой банковской карты «Сбер-Тройка», а после рекламы добровольческой дружины «Патриот» транслировались социальный ролик о взаимной вежливости и реклама мобильного приложения «Курский транспорт». В такой последовательности сообщения о минах, обстрелах, защите территории лишались статуса информации повышенной общественной значимости, и низводились до статуса фоновой рекламы, на которую обычно не обращают внимания.

Средства гражданской обороны и инструкции по безопасности предполагают саму возможность того, что боевые действия могут начаться на улицах города в любой момент. Однако, несмотря на милитаризацию городского ландшафта, которую мы подробно описали в первой части главы, ее причины оказываются фигурой умолчания — в обращениях к гражданам текстах инструкций и реклам, связанных с войной, они ни разу не упоминались. Почему горожанам вообще нужно было прятаться от беспилотников и ракетных обстрелов? Кто и зачем обстреливал город? И что, собственно, случилось? Война между двумя государствами как основная причина всех этих мер и явлений оказывалась за кадром — и тем самым горожанам было проще о ней забыть.

Военные без войны

Еще одной характеристикой городского ландшафта Курска было постоянное присутствие в нем военных. Как оно отражалось на социальной жизни города? Мы встречали три типа отношения горожан к военным: пиетет и симпатия; презрение и страх; и, наконец, безразличие.

У части горожан военные вызвали подчеркнуто положительное отношение: уважение, симпатию и желание понравиться. Например, барменка Вика, которая регулярно встречала военных в качестве посетителей, сообщила, что в основном они ей «очень нравятся», что все они «максимально эрудированные, воспитанные», и, не считая редких исключений, «адекватные, осознанные ребята» (ж, около 25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Исследовательницы замечали и примеры знаков внимания со стороны женщин к военным. Так, однажды одна из них записала: «На одной из остановок из окна маршрутки я увидела двух девочек, которые болтали и улыбались какому-то парню в военной форме. Они явно флиртовали с ним. “Глазки строят”, — подумала я» (Курск, сентябрь 2024).

Военные иногда получали символические привилегии — например, скидки в магазинах или неформальный доступ к услугам. Один раз исследовательница увидела, как военный подошел к уже закрытому киоску с табаком. Через опущенные жалюзи проглядывал свет — и мужчина постучал в дверь. Дверь приоткрылась, наружу выглянула продавщица, которая объяснила, что магазин закрыт. Почти сразу, однако, она уточнила: «А что вам надо?». Услышав ответ, она проговорила: «Ладно. Давайте я вас обслужу», — и впустила его внутрь (Курск, октябрь 2024). Иными словами, пиетет и уважение по отношению к военным являются одними из распространенных, *нормальных* реакций на их появление в городе.

Одновременно исследовательницы с такой же регулярностью сталкивались с представлениями о военных как о неадекватных, опасных, нечистоплотных, агрессивных, травмированных и делинквентных людях, с чьим присутствием город становится опаснее.

Так, один из собеседников нашей исследовательницы в разговоре с ней возмущался тем, что некоторые военные, «которые как будто пьяные или обдолбанные», иногда заезжают в ремонтный сервис, где он работает, и просят обслужить их без очереди (м, около 25, сотрудник сервисного центра, житель Курска, Курск, декабрь 2024). Жуткую историю с участием военного рассказал исследовательнице один из волонтеров центра гуманитарной помощи, Костя (м, около 22 лет, студент, волонтер, житель Курска, Курск, декабрь 2024). Костя стал свидетелем следующей сцены во дворе прямо под окнами офиса: двое пьяных мужчин подрались, в результате чего один из них упал землю. Лежа на асфальте, он кричал: «Я воевал! Верни 200 тысяч! Я сожгу твой дом!» Позже первый вернулся с другим мужчиной, и они вдвоем начали избивать лежачего отбойным молотком. Когда, спустя час, приехали скорая, полиция и Росгвардия, выяснилось, что избитый — действительно участник «СВО». При этом военный отказывался писать заявление на обидчиков, и росгвардейцу пришлось ударить его лбом о карету скорой помощи, чтобы заставить это сделать. Военного увезли на скорой, а нападавших задержали. Хотя военный фигурирует здесь в первую очередь как жертва, эта история демонстрирует связь между наплывом военных и увеличением насилия, и агрессии в городе в представлении части его жителей.

Подобные истории обладали своего рода «медийным потенциалом» — ими делились с другими. Циркулируя среди горожан, эти сюжеты закрепляли еще один вариант нормы в отношении к новой социальной группе и меняли восприятие городского пространства, которое по крайней мере частью жителей начинало считаться опасным и сопряженным с рисками насилия.

Наконец, можно осторожно предположить, что многие горожане привыкли к военным в городе примерно так же, как они привыкли к сигналам тревоги. В качестве небольшой иллюстрации приведем сцену, которую наблюдала одна из исследовательниц, стоя в очереди за шавермой. Перед ней шаверму заказывал военный:

«Когда шаверма была готова, военный протянул продавцу банковскую карту. На ней был изображен персонаж “L” из аниме “Тетрадь смерти”. Кассир с интересом спросил: “О, а кто это у тебя на карте?” Военный чуть улыбнулся и ответил: “Да, это... аниме. Раньше увлекался”. “Прикольно”, — сказал кассир и продолжил работу» (м, около 20, профессия неизвестна, военный; м, около 25, продавец шавермы, житель Курска; Курск, сентябрь 2024).

Минутой ранее этот же продавец равнодушно объяснил военному, что никаких скидок как они, заведение не предоставляет. Стоило же продавцу увидеть карточку с аниме, он тут же проявил простое человеческое любопытство. Иными словами, ему не было дела до военных как таковых.

Таким образом, появление военных, меняя социальную жизнь города, не приводило к формированию принципиально новых *моделей* отношений и не становилось поводом для осмысления войны в политических терминах — с ее причинами и последствиями. Как видно из приведенных выше примеров, ни пиетет, ни резко негативное отношение к военным не были напрямую связаны с их участием в текущей войне и их ролью в защите страны от «вражеской» армии.

Престиж и привилегированное положение военнослужащих — явление, характерное для российского общества еще до начала полномасштабной войны с Украиной. В условиях социального и экономического неравенства в небольших и менее обеспеченных населенных пунктах военная карьера **воспринимается как привлекательная перспектива**. Участники «СВО» получают высокую по российским меркам зарплату, что усиливает социальный престиж этого занятия в глазах многих россиян. Именно этот престиж может отчасти объяснять симпатию к военным со стороны

ряда горожан. Кроме того, положительное отношение к военным могло складываться из опыта личного общения с ними: в бары, магазины или другие общественные пространства приходили новые люди — военные, и они воспринимались как «интересные», «приятные» и так далее. У многих горожан также были близкие — родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы, которые участвовали в «СВО». А некоторые волонтеры и беженцы просто жалели военных, которые в их глазах были самыми страдающими от войны и вторжения ВСУ в регионе людьми. Следовательно, образ военных как группы формировался скорее через личные связи и повседневные взаимодействия, а не через осмысление их политической роли.

Критическое отношение к военным, в свою очередь, хоть и было в большей степени свойственно людям с негативным отношением к войне, не становилось при этом частью критики войны. Вне зависимости от взгляда на действия России в конфликте с Украиной наши собеседники критиковали военных как маргинальную группу, не рассуждая при этом о причинах их появления в городе. Сам язык критики военных был языком критики маргинальных групп как таковых: «алкоголиках», «цыганах», «мигрантах» и так далее — то есть сообществах, которые воспринимаются как чужие.

Наконец, показательно, что за все время пребывания в Курской области наши исследовательницы не слышали разговоры о военных или с ними самими, в которых последние фигурировали бы как «защитники Родины» или носители патриотической миссии (хотя, вероятно, для отдельных сообществ — например, волонтеров, помогающих армии — подобная риторика может быть актуальна). Стоит отметить, что похожим образом куряне воспринимали и беженцев: как «чужих», которым можно сочувствовать и которых можно проклинать, но которые как будто бы не имеют прямого отношения к идущей уже три года российско-украинской войне. Но об этом — [отдельный раздел нашего отчета](#).

Дроны-ноготочки-катышки

Напомним, что разговоры о войне в общественных пространствах Курска, в отличие от подобных пространств других знакомых нам российских регионов, были нормой — люди открыто обсуждали разные проявления войны между собой. Прогуливаясь по улице или парку, сидя в кафе или баре, стоя в очереди в магазине, можно было регулярно слышать слова из лексикона военного времени — «дрон», «танк», «украинцы», «срочники». Произносили эти слова самые обычные горожане.

Однако разговоры о войне почти всегда были частью других, не связанных с войной дискуссий — тема войны возникала в них как будто бы между делом, война казалась не стоящей отдельного внимания. Более того, говорящие обычно обсуждали бытовые, затрагивающие их лично аспекты войны и не выходили на более общий уровень рассуждения о ней как о политическом или историческом событии. Говоря о войне, большинство собеседников наших исследовательниц на самом деле говорили о своей жизни, частью которой являлась и война. «Военное» не превалировало и не выделялось, но наоборот — через язык — интегрировалось в «мирное».

Одним из способов такой интеграции был полуироничный, неформальный регистр высказываний: шутки, экспрессивные матерные и другие разговорные выражения, игра слов или сравнения, которые позволяли курянам рассказывать о ситуации опасности так, будто они просто травят байки или говорят о чем-то будничном.

Например, молодые люди, фрагмент разговора которых мы приводили в предыдущей части, обменивались историями про дроны, используя словечки типа «вспышки-хуишки», выражения вроде «ебать, мы охуели!», реакции наподобие «нормальная тема» и подтрунивания друг над другом: «Дрон так вот прямо на меня хуярит! Я за ‘Пятнаху’ спрятался. Он пролетел”. “Бля, ну, ты красавчик, за ‘Пятнаху’ спрятался. А че не под машину сразу?» (оба: м, около 20 лет, студенты ПТУ, жители Курска; Курск, сентябрь 2024). Выше мы также писали про ироничные «упаковки» военных событий в слова из мирной жизни, подобранные по сходству явлений — когда вместо «взрыва» говорят «салют» (или описывают его с помощью глагола «бахать»), вместо дрона — «птичка» и так далее. Вот еще один пример ироничного комментария о войне — беженка из Суджи рассказывала нашей исследовательнице о регулярных взрывах следующим образом: «А как у нас в Судже — каждые пять секунд. Спишь и бабахает. Нормально так — четко» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Другим способом интеграции войны в мирную повседневность, превращения ее в обыденность, было чередование военных и бытовых тем в разговорах курян без смены интонации. В дневниках наших исследовательниц есть десятки примеров того, как люди на полуслове переключались с описания войны на другие сюжеты и темы, а потом снова возвращались к войне — и снова «забывали» про нее, как будто она не вызывала у них особых эмоций.

Нечто подобное происходило во время общения нашей исследовательницы с девушкой Идой, в компании которой, а также ее молодого человека, исследовательница проводила вечер в одном из курских баров. В какой-то момент речь зашла о Белгороде, где Ида успела пожить до начала полномасштабной войны и откуда она уехала совсем недавно. Сначала Ида нахваливала городскую среду и транспортную систему Белгорода. Вопрос исследовательницы о наличии в Белгороде убежищ заставил Иду заговорить о взрывах, которые она, что характерно, назвала «землетрясением». Не меняя веселого тона, Ида рассказала про то, как на местный каток упала бомба, и как она не могла попасть домой, возвращаясь с работы, из-за сотен горящих машин на мосту, соединяющем две части города. Затем Ида отвлекалась на бургер, который ей принесли — тот оказался сгоревшим, из-за чего она рассердилась, вернула его официантке и попросила передать женщине на кухне, что «так не пойдет». Чуть позже она повторила то же самое подошедшему к столу менеджеру.

После этого Ида непринужденно продолжила свой рассказ о Белгороде, вернувшись к теме городской среды: «Ну так вот, да... Тогда было страшно — я переехала в Курск. Но до этого было охуенно, потому что очень безопасный город. Там везде освещенные дороги и магазины — и все дома сделаны в одном стиле, поэтому это выглядит классно». Исследовательница снова привлекла ее внимание к войне, задав вопрос о беженцах. В ответ Ида рассказала о своей работе в отеле: «Только я туда устроилась, там начался пиздец, “Вампирами” стреляли — это когда крыши домов начинают гореть, и весь город в огне». По словам Иды, в городе в этот период появилось много беженцев, которые искали в отеле помощи с ночлегом. При этом среди них были и «очень забавные люди», которые, если мест не находилось, отвечали: «Ну ладно. А можете мне помочь записаться на маникюр пожалуйста?».

И Ида заговорила о маникюре: «В Курске, кстати, с этим проблема — я что только не делала: ресницы, ногти, волосы — я всегда недовольная либо ценой, либо качеством... А в Белгороде очень хорошо это развито, потому что очень большая конкуренция». Она продолжила, сравнивая «барную культуру» Курска и Белгорода (Белгород снова безоговорочно победил), а потом вернулась к теме плохого ногтевого сервиса в Курске. После этого Иде принесли новый бургер, который ей опять не понравился. Исследовательница воспользовалась паузой и спросила, не боится ли Ида того, что украинская армия зайдет в Курск. Ида вспомнила, с каким опозданием вообще узнала о вторжении: «Блять, ну шестого августа они сюда зашли, я как раз была в Белгороде, и у меня был накануне день рождения, я лежала и типа... Я узнала о том, что вообще Курск бомбят через месяц. А мне нормальный бургер уже когда-нибудь принесут?»

После этого исследовательница отметила в дневнике: «Мы еще какое-то время обсуждали с Идой всякие реснички и ноготочки, ей наконец принесли нормальный бургер» (ж, около 22 лет, студентка, жительница Курска, декабрь 2024).

Этот отрывок показывает, с одной стороны, насколько непринужденно люди делились личным пережитым опытом войны — пусть и в ответ на навязываемые вопросы исследовательниц — даже в общественном пространстве и даже с малознакомыми собеседниками. С другой стороны, он демонстрирует, насколько быстро горожане возвращались к обсуждению бытовых тем вроде маникюра, еды или городской среды, причем не меняя интонации. Война, таким образом, встраивалась в поток повседневных разговоров в Курске и практически растворялась в рядовой болтовне.

Обе исследовательницы регулярно отмечали переходы в речи своих собеседников с «военного» на «невоенное». То, как спокойно, не меняя тона, говорящие вперемешку упоминали «бомбы» и «ноготочки», казалось исследовательницам *удивительным*. Однако для курян, очевидно, это было нормой. Исследовательницам, которые в своей повседневной жизни вне полевой работы сталкивались с войной преимущественно в новостной ленте, разделение на «мирное» и «военное» казалось само собой разумеющимся, а их смешение чем-то противоестественным. Для их собеседников же это были явления одного порядка. Так, например, когда в разговоре с Ритой, одной из волонтерок центра гуманитарной помощи, исследовательница обсуждала незавидное положение одной из беженок, Рита с жалостью отметила, что ее дети выглядят как «волчата». На это исследовательница, как всегда, поинтересовалась: «А как же так получилось? Что, проморгали вторжение?» Рита предположила, что все дело в страхе местных чиновников докладывать вышестоящему руководству, а затем стала вспоминать первые дни вторжения. С ее точки зрения, всем местным жителям давно было понятно, что вторжение готовится, тогда как «наверху» никак не реагировали. «Уже ВСУшники фотографии выставляли с наших территорий, а первый Совет безопасности был создан только, когда дроны на Москву *полетели* — вот тут они уже запели немножко... Ой, у нас машина еще *полетела* стиральная. Вроде муж нашел запчасти». Удивленная такой резкой сменой темы, исследовательница уточнила: «У вас или здесь, в центре?». «Да дома у нас...», — ответила Рита и подытожила: «У нас как начнется, *вот эти неприятности какие-нибудь, так они идут по всем...*» (ж, около 40 лет, педагог, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Используемый Ритой глагол «полететь» в отношении дронов тут же напомнил ей, по принципу созвучия, что у нее «полетела», то есть, сломалась, стиральная машина. Это позволило Рите соскользнуть с темы воздушной опасности на проблему с домашней бытовой техникой и уравнивать два явления, объединив их в абстрактное «вот эти неприятности». Для Риты это не был каламбур или игра слов: и дроны, и стиральная машина были ее бытовыми проблемами.

Жизнь беженцев война затронула сильнее, чем жизнь среднестатистических курян. В их разговорах реальность войны проскальзывала особенно часто, более того — им хотелось поделиться своим опытом, рассказав другим о пережитом несчастье. Однако и беженцы чаще всего говорили о войне как бы между делом. Например, однажды, когда исследовательница помогала двум беженкам подобрать одежду в центре гуманитарной помощи, между ними завязался разговор: беженки рассказывали о своей эвакуации и о том, что происходит в их селах сейчас. Они говорили о горящих домах, танках и других реалиях войны, свидетельницами которых они стали. Одновременно они перебирали одежду, обмениваясь комментариями по поводу цвета или качества ткани или интересуясь у волонтеров о наличии тех или иных вещей. Исследовательница описала происходящее следующим образом:

«Пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвели не сами рассказы об ужасах войны, а то, как в одном и том же разговоре соседствовали два абсолютно несовместимых пласта — война и выбор одежды. Женщины говорили про то, как у них “все разбомбило”, как “дома снесло” — и тут же, без всякого перехода, начинали перебирать кофточки, обсуждать, какие швы удобнее, или спрашивать, нет ли у меня “мыла Dugu”, потому что обычное их не устраивало. “Хочу Dugu”, — с обидой в голосе сказала одна из них. Все это происходило на фоне постоянного копошения в одежде: катышки, молнии, фасоны. Я слушала их — и чувствовала себя как будто внутри романа Кафки. Война, эвакуация, гибель домов — и тут же: “А вот эта куртка, глян, хороша?”. И при этом никто даже близко не подходил к разговору о причинах происходящего. Никто не задавал вопросов: Почему все это случилось? Почему они вообще оказались в этой ситуации? Все оставалось в границах конкретного, личного, бытового опыта» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

И снова — исследовательнице, приехавшей в приграничье из «мирной жизни», война и быт казались «абсолютно несовместимыми». Однако для самих беженков подобное совмещение было естественным. Они говорили не столько «о войне» (как о сложном политическом событии), сколько о своей жизни, частью которой являлись и танки, и катышки, и сломанная стиральная машина, и пролетающие над головой дроны.

Очень часто такие разговоры строились вокруг личного опыта войны, особенно вокруг его семейно-экономического измерения: потерянное имущество, дом, участок, хозяйство, сертификаты, социальные выплаты, цены на квартиры и так далее. Трагедия войны проговаривалась беженцами не как коллективная трагедия для страны и общества, а как личное экономическое потрясение и вытекающая из него потеря социального статуса — так, например, в ироническом ключе беженцы периодически сравнивали себя с «бомжами». Разговор между двумя беженками, Линой и Татьяной, подслушанный исследовательницей в курилке центра гуманитарной помощи, хорошо иллюстрирует эту тенденцию:

«Лина сказала, обращаясь к Татьяне: “Ты представь, сколько труда туда вложено, и все в жопу пошло. Вот ты представь просто”. Татьяна подхватила: “А ты теперь ходишь, побираешься, вот эту гречку берешь, рис”. Лина согласилась и продолжила: “Да, побираешься ходишь, попрошайничаешь. То же самое, что ты под церковкой станешь и скажешь: ‘Дайте мне на пропитание’. Люди остались без ничего. Всю жизнь работали, всю жизнь наживали и остались с хуем в кармане» (ж, около 35 лет, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Обе беженки переживали войну прежде всего как личную драму потери нажитого имущества, а не как общенародную трагедию. Шокирующим для них было не столько то, что многие погибли, сколько то, что они «остались без ничего». В таких же выражениях говорят, например, о жертвах ограблений или о людях, которые проигрались в казино.

Пробки на дорогах и другие неприятности

Помимо переживания войны как элемента *личного опыта*, она осмыслялась многими нашими собеседниками и как опыт общественный — но при этом именно как событие *городской*, а точнее *внутригородской* жизни. Как мы писали выше, куряне испытывали потребность делиться личным опытом войны в разговорах с другими, в частности, в общественных местах. Со временем сложились устойчивые жанры таких

разговоров — истории про «дроны и прилеты», жалобы на шум от воздушной тревоги, обсуждения беженцев и так далее. Пересказы этих историй друг другу превращали личный опыт в коллективный: каждый из говорящих знал, что не только он или она пережили нечто подобное, но и его/ее сосед, друг или знакомый. Однако этот коллективный опыт *оставался в пределах города* — он не переживался как общий даже жителями всей Курской области, не говоря уже о стране в целом.

Другими словами, если проявления войны — будь то звуки воздушной тревоги или беженцы — проникали в Курск, они как будто теряли свою связь с макрополитическим контекстом и своей основной причиной — российско-украинской войной. В тех редких случаях, когда вызванные войной проблемы обсуждались нашими собеседниками вне связи с их личным опытом, они имели для них статус внутренней городской повестки. Например, жители Курска почти никогда не задавались вопросом о том, *откуда* в городе появились беженцы или военные и *куда* они направлялись. Обстрелы, которые привлекали их внимание, касались их собственного города (а особенно, собственного района), а не, например, всего приграничья. Горожане также не были склонны рассматривать ситуацию в Курске как часть общего хода войны — например, соотносить обстрелы Курска с новостями об обстрелах в других частях России.

Создавалось впечатление, что война и ее последствия становились реальными для жителей Курска только если и когда они вторгались в границы городского пространства. В этом смысле наиболее показательным кажется высказывание уже упоминавшегося выше собеседника нашей исследовательницы, встреченного ею в одном из курских баров, который жаловался, что беженцы создают «коллапс на дорогах». Он говорил: «Короче, я живу на окраине и у нас там блокпост стоит. Я каждый день въезжаю и выезжаю из города — так там вояки, плюс эвакуация из приграничных населенных пунктов. Очень сильно чувствуется коллапс на дорогах» (м, около 25 лет, сотрудник сервисного центра, Курск, октябрь 2024). Иными словами, он рассуждал о «вояках» и беженцах как о городской проблеме — их присутствие создавало пробки в городе. «Более деревенский контингент» или «пьяные или обдолбанные» военные, повышенные цены на жилье, назойливо громкие сигналы тревоги, беженцы, которым требуется помощь с одеждой — все это осмыслялось курянами как локальные проблемы, проблемы городской жизни. Неслучайно, обсуждая взрывы и обстрелы, люди фокусировались не на том, почему они происходят, но на том, в какой степени они затрагивают разные части города:

«Там в центре беспилотник прямо в дом влетел» (ж, около 30 лет, барменка, Курск, октябрь 2024).

«На окраинах где-нибудь там пиздец происходит постоянно. И видно, как что-то летит и хлопает чаще» (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, Курск, жительница Курска, октябрь 2024).

«Сестра у меня живет в ж/д районе — там, где эти “бахи” основные происходят, в частном секторе» (ж, 25 лет, мастерица по маникюру, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Такое смещение акцентов сближает разговоры о войне с обсуждением проблем городской инфраструктуры — например, частых отключений горячей воды в разных районах города.

Показательно, что в Telegram-канале «Типичный Курск» мы обнаружили [новость](#) о том, что в результате жалоб и просьб горожан курские власти распорядились сделать сигналы тревоги тише. Эти назойливые звуки воспринимались жителями как досадное, приносящее неудобство несовершенство городской среды — вроде мусора на улицах, отсутствия парковок или проблем с водоснабжением. За решением — резонно — куряне обратились в городскую администрацию.

Схожим образом, когда Ида рассказывала о своей жизни в Белгороде, боевые действия волновали ее прежде всего из-за ущерба, наносимого ими качеству городской среды — что дает нам основания предположить, что жители Курска в этом отношении не уникальны. «Тогда было страшно — я переехала в Курск, — говорила она. — Но до этого было охуенно, потому что очень безопасный город. Там везде освещенные дороги и магазины» (ж, около 22 лет, студентка, жительница Курска, декабрь 2024).

Жители Курска идентифицировали себя прежде всего с сообществом своего города и в гораздо в меньшей степени с регионом или страной в целом. Именно поэтому водитель одного из курских автобусов, чьи слова подслушала наша исследовательница, возмущался в разговоре с пассажиркой тем, что мужчины из приграничных территорий не защищают «свою» землю: «Это *ваша земля, не моя*. Придут ко мне — я буду защищать» (м, около 35 лет, водитель автобуса, житель Курска, Курск, сентябрь 2024).

Это вовсе не значит, что людям было безразлично, что происходит за пределами города. Дело лишь в том, что жители Курска не всегда проводили связь между беженцами, которые оказались в их городе, и людьми, которые пережили вторжение в приграничных районах — хотя, казалось бы, это были *одни и те же люди*. Попадая в Курск, беженцы или военные как будто теряли свои истории.

Итак, несмотря на милитаризацию городского пространства, отсутствие табу на разговоры о войне в общественных местах, а также изменения в социальном составе города за счет участников и пострадавших от боевых действий, война не сильно изменила повседневный ритм, нормы и практики городской жизни. Куряне не стали смотреть на свой опыт через призму политического конфликта. Если война и порождала новые привычки и навыки, то это были привычка игнорировать военные угрозы и навык умалять ее значимость. Горожане концентрировали свое внимание не на причинах происходящего, а на его локальных последствиях, не пытаясь вписать эти последствия в более широкий контекст. Вместо чрезвычайного события национального масштаба война в восприятии жителей Курска была чередой бытовых неудобств и проявлений общей неустроенности городской среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек, по каким-то причинам заснувший в середине февраля 2022 года в Курске и проснувшийся там же осенью 2024, не узнает город — в отличие, скажем, от своего товарища, [проспавшего эти же пару лет в Черемушкине](#). Город Курск окажется в эпицентре войны — вокруг будут раздаваться звуки воздушной тревоги, улицы будут заставлены бетонными укрытиями, мимо будет проезжать военная техника, проходить солдаты и беженцы, а из-за угла будут доноситься разговоры о войне.

Война в Курске присутствовала не только в виде символов вроде рекламы, пропаганды и наклеек с буквой Z, но и физически, в форме прямых своих материальных воплощений. Она видоизменила материальный, визуальный и акустический ландшафт города, его социальный состав и разговоры в общественных пространствах. Казалось, теперь, спустя три года, жизнь людей в Курске должна быть устроена *принципиально иначе*. Другими словами, война как будто должна была тем или иным образом подчинить себе мирную жизнь. Однако мы обнаружили, что большинство курян — так же как и наши собеседники на Урале, в Краснодарском

крае и в Бурятии — стремились к тому, чтобы «развидеть» войну, дистанцироваться от нее или переосмыслить ее таким образом, чтобы она как можно меньше нарушала нормальный порядок вещей, характерный для мирной жизни.

В отличие от наших собеседников из других регионов, перед курянами стояла задача со звездочкой. Знаки войны — например, пропагандистскую рекламу или мероприятия на военно-патриотическую тематику — не так уж и сложно не замечать. Гораздо труднее не впускать войну в свою жизнь, когда вокруг звучат сигналы тревоги, над головой летают дроны, а от родного дома в приграничном селе ничего не осталось — иными словами, когда война становится непосредственной частью переживаемого людьми опыта.

И все же в большинстве случаев куряне успешно справлялись с этой задачей. Во-первых, они игнорировали связанные с войной угрозы или дистанцировались от них — не обращали внимания на предписанные защитные меры и придумывали им новые «мирные» функции (например, использовали убежища как общественные туалеты или танцевали под звуки сирены). Рассказывая о прямом столкновении с угрозой, наши собеседники стремились представить этот опыт как разовые эпизоды, оставшиеся в прошлом. Все эти приемы позволяли людям жить обычной жизнью, избегать тревоги, стресса и резких перемен.

Во-вторых, говоря о войне, куряне лишали ее статуса чрезвычайного события и переводили в бытовой регистр. В этом им помогали другие приемы, речевые — юмор, сленг, неформальный разговорный стиль. Кроме того, поскольку тема войны не была табуирована и регулярно обсуждалась, она не казалась чем-то особенным. О ней не говорили как об историческом событии — напротив, ее последствия зачастую низводились до бытовых неурядиц: *полетел дрон*, и тут же — вот ведь неудача — *полетела и стиральная машинка*.

В-третьих, если куряне и обсуждали негативные последствия войны, то концентрировались в основном на понятных и близких им бытовых и семейно-экономических аспектах этих последствий: деньгах, льготах, имуществе, работе. Войдя в их жизнь, война очищалась от политического, исторического, идеологического контекста и не провоцировала патриотических или антипатриотических рассуждений. В целом, можно сказать, что война воспринималась и проживалась скорее как личное, чем как общественное событие. Когда же люди сталкивались с последствиями войны, которые невозможно было осмыслить как личные — например,

притоком беженцев — то эти последствия переживались как локальные городские, а не общие для страны проблемы, а их политические причины не обсуждались.

Похожую тенденцию — осмысление войны исключительно через ее влияние на близкие, знакомые вещи и частную жизнь — мы наблюдали в Черемушкине, который радикально отличался от Курска лишь на первый взгляд. В Курске эта тенденция только усилилась — за счет масштаба и количества изменений, которые война принесла в город и в личные жизни его обитателей. Изменив городской ландшафт Курска, война не подчинила себе повседневность его жителей, но наоборот — стараниями самих горожан — была поглощена повседневностью.

ГЛАВА 3.

БЕЖЕНЦЫ

ВВЕДЕНИЕ



Почти девятимесячная оккупация украинскими войсками части Курской области стала беспрецедентным событием во многих отношениях. Среди прочего она создала новую социальную группу в российском обществе. Эта группа — беженцы из курского приграничья. Речь о людях, которые срочно покидали свои дома, думая, что вернуться через несколько дней. **По разным оценкам**, так называемыми внутренними переселенцами из курского приграничья стали от 120 до 180 тысяч человек. Сегодня, спустя год, осенью 2025-го, большинство из них все еще **не могут попасть домой**.

Военные действия в Украине и российско-украинский кризис не впервые заставляют тысячи людей в спешке покидать свои дома. Россия приняла несколько волн беженцев на своей территории: в 2014 году это были беженцы из Донбасса, в 2022 — беженцы с востока Украины и аннексированных украинских территорий. Все это, однако, были выходцы из соседней страны, нашедшие временный дом на территории России — что соответствует классическому определению термина «беженцы». Уникальность же курских беженцев заключается в том, что они стали таковыми, находясь в своей собственной стране. Как эти люди воспринимали свое положение и объясняли произошедшее с ними? Готовы ли они были объединяться и коллективно отстаивать свои интересы? Как складывались отношения между ними и принявшим их сообществом, то есть, курянами, живущими на безопасном расстоянии от фронта и не пострадавшими от войны напрямую? Глава отвечает на эти вопросы.

Поскольку большинство беженцев, с которыми общались наши исследовательницы, были посетителями центров гуманитарной помощи — то есть нуждались в помощи государства и волонтеров — большая часть нашего анализа сосредоточена именно на таких людях. Среди курских беженцев, вероятно, были и те, кто не посещал такие центры или не обращался за помощью в принципе. Такие люди почти не попали в нашу выборку. Это нужно иметь в виду при чтении главы.

1. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЛИ БЕЖЕНЦЫ?

Мы уже отмечали в методологической части этого отчета: как называть людей, покинувших приграничные районы Курской области после начала боевых действий — вопрос непростой. «Беженцы», «переселенцы», «эвакуанты» — вот термины, которыми наши собеседники описывали

эту группу (или самих себя) в разных ситуациях. Даже нашим исследовательницам не всегда было понятно, какое слово — скажем, «беженцы» или «переселенцы» — будет звучать уместнее и корректнее. Ниже мы попытаемся понять, почему в тех или иных ситуациях наши собеседники прибегали к тому или иному обозначению пострадавших жителей приграничья. Мы будем опираться на те эпизоды, в которых интересующие нас обозначения появлялись в речи наших собеседников естественным образом, то есть, без «подсказок» со стороны исследовательниц.

«Нейтрализовать» войну

В повседневной речи многих курян, не затронутых войной напрямую, и в городском визуальном пространстве слово «переселенец» встречалось чаще, чем слово «беженец». Одна из наших исследовательниц после продолжительного пребывания в Курске стала перенимать местные языковые привычки. В своем дневнике она записала: «Я заметила, что в разговоре с барменом, спрашивая про беженцев, поправила себя — “куча беженцев – в смысле переселенцев вот этих, из приграничных регионов”» (бар, Курск, декабрь 2024).

Это, впрочем, не удивительно. Именно «переселенцами» официальные источники Курской области — от сайта регионального министерства экономического развития до сайта губернатора — в первые же дни после начала вторжения стали именовать людей, покинувших приграничные территории. Этот терминологический выбор нельзя назвать случайным. В российском законодательстве с 1993 года существует статус «вынужденный переселенец», который присваивается гражданам РФ, покинувшим место жительства «вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия» или в результате политического преследования. За этим статусом закреплены социальные гарантии: компенсация утраченного жилья, денежные пособия, бесплатная медицинская помощь. При этом закон не упоминает войну как одну из возможных причин переселения. Подобное определение позволило чиновникам пользоваться отлаженными схемами помощи пострадавшим, не акцентируя внимание на том факте, что сама необходимость в ней была вызвана военными действиями. Государство могло сохранять видимость мирной жизни в стране на фоне войны.

Подобная нормализация положения жителей приграничья проявлялась не только в официальных документах, выступлениях чиновников и повседневных разговорах, но и в многочисленных объявлениях в городском пространстве. «Помощь в поиске работы гражданам, временно переселенным из приграничных районов», — гласило, например, одно

из них (Курск, сентябрь 2024). Помимо использования нейтрального выражения «переселенные граждане», слово «временно» в этом объявлении создает иллюзию обратимости негативных последствий войны для пострадавших и принижает масштаб пережитого ими насилия.

Именно термин «переселенец» прочно закрепился в процедурах получения гуманитарной помощи и постепенно вошел в повседневный язык жителей региона.

Говорить с государством на его языке

Официальный термин «вынужденный переселенец» активно использовался в работе центров гуманитарной помощи. Так, волонтерка одного из центров, выдавая пожилому мужчине продуктовый набор, попросила его записать благодарственное видео для спонсоров и подробно объяснила, что *именно* он должен сказать и как представиться, дабы соответствовать ожиданиям доноров и местных властей:

«Регина, держа айпад наготове, объяснила, что именно беженец должен говорить на камеру — “Я житель приграничного района такого-то, село Казачья Локня, благодарю спонсора...”. Беженец уточнил, называть ли ему свое имя. Регина ответила, что не обязательно, **нужно, мол, просто сказать, что он вынужденный переселенец** и уточнить свои данные. Беженец проговорил на камеру следующее: “Я с Суджанского района, **переселенец**, благодарю спонсора за помощь. Спасибо всем добрым людям. Спасибо”» (ж, около 35 лет, профессия неизвестна, волонтерка, жительница Курска; м, около 50 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024).

Когда речь шла о получении помощи, пострадавшие жители приграничных территорий перенимали официальный язык государства (или, в данном случае, спонсоров). Статус «переселенцев» давал им определенные преимущества — используя его, они пытались отстаивать свои права перед властями, говоря с ними на одном языке. Когда, например, женщина, недовольная качеством полученных в центре гуманитарной помощи продуктов и поведением его волонтеров, стала звонить «наверх», она делала акцент в своих требованиях именно на своем статусе «переселенки»: ¹¹SEP:

«“Скандалная” (как я ее окрестила) беженка позвонила кому-то и сказала что-то вроде: “Здравствуйте. А к кому мне можно будет обратиться? Я, значит, *переселенка из приграничного района*, получаю гуманитарку. Здесь очень хамское отношение волонтеров — это раз. Второе, получается, мне дают тут пачку риса, пачку макарон. Ни чая, ничего нет! Я поднимаю этот вопрос”» (ж, около 55 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, сентябрь 2024).

Другая женщина, с которой наша исследовательница беседовала в еще одном центре гуманитарной помощи, использовала слово «переселенка» похожим образом. Она заимствовала наименование, присвоенное таким, как она, государством для того, чтобы защитить от нападок местных жителей свое право на льготы:

«Женщина повысила голос и проговорила: “А мы бомжи-переселенцы. И этим гордимся! Мало того, что нас кинули как собак...”. Затем пародийным голосом она изобразила комментарии в свой адрес со стороны жителей Курска: “Им ипотека под два процента, а нам как выживать?” И тут же ответила на него: “Ага. Давай поменяемся! Они трындят-трындят, трындят-трындят! Я как-то не выдержала, ответила им. Они сразу заткнулись!”» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Жалуясь на свою судьбу, эта женщина говорила, что она и ей подобные — не просто переселенцы, а «бомжи-переселенцы». Из-за того, что слово «переселенцы» само по себе звучит слишком нейтрально, ей пришлось добавить к нему негативно окрашенный эпитет, чтобы подчеркнуть драматичность своего положения. В других ситуациях нейтральность этого слова, наоборот, позволяла беженцам вернуть себе чувство собственного достоинства. Например, в одной из онлайн групп для ищущих временное жилье наша исследовательница заметила объявление, в котором мужчина написал, что готов «подселить» к себе «беженцев». Один из комментариев под ним, оставленный пользовательницей с женским именем, звучал так: «Переселенцы, мы не беженцы» (Курск, ноябрь 2024).

Таким образом, термин «переселенцы» помогал государству «нейтрализовать» войну и ее последствия в создаваемой им реальности. Для самих «переселенцев» этот термин быстро стал категорией самоописания: он позволял говорить с государством на одном языке, в том числе, тогда,

когда нужно было получить социальную помощь, а еще — избегать стигматизации, которую несло с собой слово «беженцы». Однако иногда этот язык оборачивался против них.

Отказать в сочувствии

Итак, созданный государством статус «переселенцев» позволял замалчивать последствия войны, одновременно возвращая людям часть их достоинства и смягчая драматичность их положения. Однако семантически слово «переселенец» также подразумевает добровольность переезда, превращая жителей захваченных ВСУ территорий из жертв обстоятельств в мигрантов по собственному желанию. Именно поэтому термин «переселенцы» давал местным жителям возможность выражать раздражение по поводу «нашествия» приезжих, не испытывая при этом необходимости сочувствовать им.

Например, в разговоре с подругой студентка колледжа по кличке Энджи, которую направили волонтерить в гуманитарный центр, где одна из наших исследовательниц вела наблюдение, пересказывала ходящие по городу «страшилки» о «людях из приграничья»: якобы они крадут продукты, мусорят, распивают спиртные напитки, «портят школу» и требуют к себе особого отношения. Все обвинения она последовательно адресовала именно «переселенцам», ни разу не употребив слово «беженцы»:

«Это переселенцы. Они из Коренево у нас. Они понабрали продуктов, выходят из “Пятерочки”. Моя подруга-кассира говорит: “А вы куда?” — “Мы пошли”. — “А оплачивать?” — “Вы мне обязаны это дать!”» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, волонтерка, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

Другой пример — спор, случайно подслушанный исследовательницей в городском автобусе. Водитель, обращаясь к пассажирке, раскритиковал жителей приграничья мужского пола, обвиняя их в том, что они приехали в Курск, желая уклониться от службы в армии: *«Переселились женщины и дети, это я понимаю, но чего, блять, мужики-ребята тут шкерятся?»* (м, около 35 лет, водитель автобуса, житель Курска, Курск, сентябрь 2024).

Таким образом, использование слова «переселенцы» курянами, не пострадавшими от войны, сглаживало исключительность пережитого беженцами опыта, по сути, закрывая дорогу к сочувствию. Не признавая

за ними статуса жертв войны, местные жители легче обесценивали их страдания, а нередко и завидовали их «привилегиям», воспринимая их как «иждивенцев», живущих за счет города и региона.

Признать чрезвычайность

Термин «переселенцы» позволял осмыслять опыт жителей приграничных территорий с помощью выработанного еще в начале 1990-х административного языка, оставляя за скобками факт вторжения и военной угрозы. Напротив, слово «беженцы» акцентировало внимание на чрезвычайности и уязвимости их положения.

Согласно российскому законодательству и определению ООН, термин «беженец» применим только к иностранным гражданам, покинувшим свою страну и вынужденным искать убежище за рубежом из-за угрозы жизни. В этом смысле использование термина «беженцы» в отношении людей, бежавших от вторжения ВСУ в столицу своей же области, некорректно. Однако с точки зрения здравого смысла этот термин куда точнее отражает ситуацию, в которой оказались эти люди: они не просто переехали — они спасались от боевых действий. Это был не осознанный выбор, а попытка выжить. Именно поэтому слово «беженцы» активно использовали оппозиционные СМИ, подчеркивая трагичность вторжения и исключительность происходящего.

Интересно, что само обращение к слову «беженцы» могло быть формой социальной критики в устах наших собеседников. Например, таксист, подвизивший исследовательницу, отметил, что «люди стали беженцами в собственной стране» (м, около 25 лет, водитель такси, житель Курска, Курск, сентябрь 2024). Эта фраза стала отправной точкой для разговора, в ходе которого он резко раскритиковал происходящее, в том числе — бездействие местных властей. Слово «беженцы» в этом случае подчеркивало ненормальность происходящего с людьми, бегущими от военного вторжения и оккупации.

Ассоциация слова «беженцы» с критической ситуацией отчетливо прослеживалась и в речи Киры, с которой нам удалось записать формальное интервью. Кира рассуждала: «Если они уехали из мест, где прям ведутся боевые действия, то, конечно, это беженцы. Переселенцы — это, скорее, добровольное какое-то переселение» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024). А в другом разговоре с исследовательницей женщина, покинувшая приграничье, указала на то, что за отказом называть людей

беженцами стоит нежелание власти платить им компенсации, объявлять военное положение и в конечном итоге брать на себя ответственность за последствия войны:

«Почему вот это вот “КТО”, контртеррористическая опасность? Это к тому, чтобы нам денег не платить. Нам каждый день надо как беженцам платить деньги. Если вводить военное положение, то получается так. А так мы не беженцы, мы переселенцы, вот нам захотелось прямо переселиться в другое место!» (ж, около 50)

Таким образом, использование слова «беженцы» могло подразумевать признание того, что в регионе сложилась чрезвычайная ситуация, и, как следствие, военных действий на территории страны. Возможно, именно поэтому оно почти не употреблялось представителями местной власти или подконтрольными государству помогающими организациями.

Подчеркнуть уязвимость

Сами жители, покинувшие свои дома в приграничье, нередко использовали слово «беженцы» для того, чтобы подчеркнуть собственную уязвимость, неустроенность и ненормальность ситуации, в которой они оказались. Для них это слово фиксировало разрыв между прошлой жизнью и настоящим. В отличие от слова «переселенцы», позволявшего нашим собеседникам сохранить ощущение достоинства, слово «беженцы» чаще звучало в те моменты, когда в их речи проявлялись чувства одиночества, беспомощности и утраты смысла существования. Так, одна из женщин, вынужденно оставившая дом и работу в приграничном поселке и теперь ставшая волонтеркой, помогающей другим беженцам в Курске, произнесла как-то с горькой иронией, словно оправдываясь перед исследовательницей за переработки в центре гуманитарной помощи: «Мы так, мы беженцы. Нам делать нечего» (ж, около 65, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, декабрь 2024). Используя слово «беженцы», она как бы подчеркивала потерю привычных занятий и пустоту своей повседневности после переезда в Курск. В волонтерском центре в Игловке другая женщина, которая раньше владела собственным бизнесом, а теперь была вынуждена подбирать себе теплые вещи на зиму на складе центра, тоже назвала себя «беженкой», описывая свои скитания, отсутствие помощи и ощущение глубокой грусти:

«Женщина грустно сказала, что они с Рыльского района и их то туда, то сюда выселяли. А сейчас признали беженцами. Когда я спросила, помогает ли им кто-то, она с возмущением

воскликнула: “Кто?!” И затем добавила: “Никто нам не помогает, сами карабкаемся”» (ж, около 55 лет, в прошлом владелица бизнеса, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Во всех этих случаях слово «беженцы» несло в себе эмоциональный оттенок утраты и ощущения собственной уязвимости — того, что более стерильный термин «переселенцы» стремился скрыть.

Таким образом, постоянное переключение между терминами «беженцы» и «переселенцы» было симптомом неопределенности статуса людей, покинувших приграничные районы в результате вторжения в них украинской армии. Оно отражало всю сложность восприятия военного обострения в Курской области и положения той группы людей, которое оно породило, заставив их в считанные часы покинуть свои дома. Переселенец — это еще не жертва войны, а «временно переместившийся» человек, которому следует помогать, но чье страдание не требует публичного признания. Беженец — это уже тот, кто вынужден был бежать, спасаясь от опасности, угрожающей его или ее жизни. Наличие «беженцев» в регионе неудобно для властей и многих местных жителей: оно требует разъяснений о чрезвычайной ситуации, об идущей войне и о собственной ответственности за нее. Таким образом, слово «переселенец» — это часть государственного языка бюрократии; а слово «беженец» — языка кризиса. И именно потому, что людям навязывают первый и не дают пространства для использования второго, они балансируют между ними, подбирая слова в зависимости от того, что им нужно в конкретный момент — помощь или признание.

2. БЫТЬ БЕЖЕНЦЕМ В СВОЕЙ СТРАНЕ

Что переживали люди, в одночасье лишившиеся основных составляющих привычной жизни? Что они делали, покинув свой дом? Переосмыслили ли они взгляд на самих себя и свою жизнь, сформировали ли они новые социальные связи? В этом разделе мы покажем, как опыт поспешной эвакуации и неопределенности, с которой пришлось столкнуться курским беженцам на новом месте, повлиял на их идентичность, действия и отношения с другими и к другим — товарищам по несчастью, членам принимающего сообщества и даже военнотружущим.

Вся жизнь осталась там

Основой идентичности беженцев и их размышлений о том, что с ними произошло, стал опыт утраты. Хотя очень часто беженцы сетовали по поводу потери самых простых вещей — огородов, домашних животных, только что законченном ремонте или даже холодильнике или драповом пальто — они скорбели по утрате всей прошлой жизни. Вещи из прошлого символизировали для них что-то очень важное: труд, вложенный людьми в то, чтобы эту жизнь обустроить; их прошлое и повседневные занятия, которые давали им понимание того, кто они; их будущее, которое было обеспечено прошлым трудом. Беженка, с которой разговорилась наша исследовательница, помогая ей подбирать вещи, как-то воскликнула: «Там реально все оставлено, реально все, вся жизнь!» (ж, около 45 лет, сторож в колхозе, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Беженцы, которые пусть и не могли вернуться в свои дома осенью 2024 года, но не лишились их, пытались в первую очередь оценить риски для своего имущества, причем далеко не только «военные»: «Вода не слита с отопления. Сейчас, не дай бог, морозы, это же все лопнет!» (м, около 55 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024). В их рассказах сохранялась устойчивая связь со «старой жизнью»: они рассуждали о том, например, что хорошо было бы приехать и вскопать огороды или «слить воду из отопления». Иногда они действительно ездили или по крайней мере совершали попытки доехать до своих домов. Их утрата, по крайней мере поначалу, казалась временной: они надеялись, что «скоро» они смогут вернуться домой. Те, кто «потерял все», завидовал таким людям: им некуда было возвращаться.

Что напоминало беженцам о жизни, которую они потеряли? Прошлое для них было воплощено в вещах: тех, которые они купили, построили, вырастили, создали своими усилиями. Прошлое также сохранялось в памяти — вещи пробуждали привязанные к ним воспоминания. Например, одна из беженок посетовала в разговоре с волонтерами, что, уезжая, они не взяли даже фотографии. И продолжила: «Вот, получается, что **как без роду, без племени остались**. Ни детские фотографии, ничего нету». Она жалела не просто вещи, а воплощенную в вещах память, которую без них нельзя было восстановить. «Как помню, первый фотоаппарат появился. Там пленка, ходили в этот фотосалон, ставили ее на свет, выбирали удачные кадры. Этого уже не вернуть. **Вот за это вот жалко, что памяти нету. Раз — и нету. Отсчет жизни с другой даты начался**» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Фотографии, вещи, огороды и домашние животные, которых пришлось оставить в спешке; родственники, с которыми потеряна связь; поселки, улицы и дома, в которых они жили и по которым ходили; привычный уклад жизни — по утрате всего этого горевали беженцы. Изо дня в день они рассказывали собеседникам и друг другу о том, *что* им пришлось оставить, покидая дом. Они показывали фотографии своих домов и огородов на телефонах, жаловались, что тоскуют по своему хозяйству и привычным занятиям. Вот, например, как наша исследовательница описывает одну из своих бесед с беженцами:

«Одна из беженок сказала, что у нее было три дома и все, кроме одного, разбиты, один сгорел полностью. Она работала всю жизнь. У нее трое детей и она не знает, где старший, он не отвечает на ее звонки. Шура, другая беженка, причитала: “Наши жилища разрушены, сожжены дотла, ничего уже не осталось. Горка пепла и золы, осталось только кладбище”. Пожилой мужчина добавил с грустью: “Лишены всего. Было шесть улиц и ни одной не осталось”. Затем разговор ушел в сторону. Но потом Семен, когда я помогала выбрать одежду, сам обмолвился о том, что скучает по прежнему быту: “Вот ходил бы я на работу — сегодня с работы пришел бы, искупался бы, проснулся бы, постирал, приготовил”» (Игловка, октябрь 2024).

Исследовательница, посетившая Курскую область в сентябре-октябре 2024 года, каждый день слышала сетования беженцев на невозможность выкопать созревшую у них в огородах картошку. Как и холодильник или драповое пальто, созревшая картошка может показаться нам не достойной сожаления на фоне войны и тех страданий, которые она продолжает приносить. Однако именно она была материальным символом драмы, переживаемой беженцами. Трагедия войны выражалась для них в разрушении их налаженной в прошлом жизни. Примечательно, что для акции, которую беженцы планировали провести (но не провели) в годовщину эвакуации, 6 августа 2025 года, они хотели собрать в центре Курска **символический «дом переселенца»** из вещей (игрушек, фотографий, ключей и так далее), которые напоминали об их потерянных домах.

Беженцы чувствовали, что небольшие средства, выделяемые государством на помощь пострадавшим, не могли компенсировать их потерю. Одновременно само предложение компенсации делало их утрату более реальной и болезненной, а надежду вернуться к прошлому — призрачной. Скучность материальной поддержки со стороны государства не позволяла им обзавестись теми вещами, которые они потеряли

(и, самое главное, домом) — чем они не уставали возмущаться. Это хорошо заметно, например, в тираде одного из беженцев, который сам заговорил с исследовательницей и другими волонтерками, вышедшими на перекур возле центра гуманитарной помощи. **«Что у меня было, то мне верните»**, — кричал он, обращаясь к невидимым собеседникам. «Ваши деньги мне не нужны. Дома семья, внуки, невеста, с женой — **все, потеряно все, ничего нету**». После этого неожиданно для слушательниц он переключился на рассказ о получаемой им и его семьей помощи. «Тут в месяц двадцать пять тысяч дают на квартиру. В Армении людям из Карабаха, которые бежали в Ереван, президент каждому дал дом. Каждому! Всех обеспечили всем! Все были довольны. А тут нету такого» (м, около 65 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024).

В начале осени воспоминания об утрате были еще свежи, как и надежды на скорое возвращение к прошлой жизни — и поэтому переживались острее. В тот момент беженцы чувствовали несоизмеримость любой компенсации по отношению к тому что они потеряли. Только позднее они начали всерьез присматриваться к компенсации, которую готово было предоставить им государство.

Утрата превратила беженцев не просто в тех, кто «все потерял» и чья жизнь началась «с другой даты» после отъезда. Она радикально изменила их социальный статус и субъектность. Будучи в прошлом людьми, контролирующими свою жизнь, они стали полностью зависимыми от других — от милости своих родственников, которые могли поселить их в своей квартире в Курске; от государства, которое принимало решения по поводу их судьбы; от центров гуманитарной помощи, обеспечивающих их самым необходимым — теми вещами, которые раньше им бы не пришлось в голову брать у чужих людей. Часто беженцы называли себя бомжами. Уничижительность этого слова хорошо отражала их самоощущение: людей, не имеющих ничего, отброшенных в самый низ социальной иерархии, которых к тому же подозревают в желании нажиться на своем новом статусе.

Так, когда наша исследовательница, болтая в курилке центра гуманитарной помощи с несколькими беженками, рассказала им про сегодняшнюю «клиентку» — ухоженную, хорошо одетую, накрашенную женщину, скорее всего, состоятельную в прошлом — те отреагировали следующим образом:

«Лина сказала, обращаясь к Татьяне: “Ты представь, сколько труда туда вложено, и все в жопу пошло. Вот ты представь просто”. Татьяна подхватила: **“А ты теперь ходишь, подбираешься, вот эту гречку берешь, рис”**. Лина согласилась

и продолжила: «Да, побираешься ходишь, попрошайничаешь. **То же самое, что ты под церковкой станешь и скажешь: дайте мне на пропитание.** Люди остались без ничего. Всю жизнь работали, всю жизнь наживали и остались с хуем в кармане»» (ж, около 35, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Опыт утраты, пренебрежительное отношение со стороны некоторых местных жителей и даже волонтеров, а еще отличие городской жизни от сельской, привычной для многих беженцев, усиливало их отчуждение от новых условий существования. В сентябре-октябре 2024 года они часто говорили о том, что на новом месте им все кажется чужим — город, люди, их занятия. Один из собеседников нашей исследовательницы обобщил это ощущение словами «чужие мы здесь». Когда она спросила, почему ему так кажется, он пояснил: «Ну, все чужое. Одно дело, когда ты сюда приехал на рынок, покутил и уехал обратно домой. А когда здесь живешь — это уже все... не то» (м, около 30 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024). А уже упоминавшаяся выше Лина так описала свои размышления на эту тему: «Когда закончится все, поеду обратно. Тама все мои знакомые. А здесь все чужие. И народ здесь жестокий. Здесь нормальных людей, реально адекватных, на пальцах пересчитать. Которые понимают» (ж, около 35, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Таким образом, опыт утраты включал в себя несколько компонентов. Во-первых, это ощущение потери всей предыдущей жизни. Помимо вещей и накоплений, эта потеря также имела временное измерение: беженцы переживали свой вынужденный отъезд как потерю прошлого (памяти и достижений), настоящего (привычных занятий и образа жизни), а значит, и будущего. Во-вторых, утрата прежнего социального статуса. В одночасье жители приграничья превратились в беженцев, оказавшись, несмотря на все их предыдущие достижения и накопления, в самом низу социальной иерархии: они не имели ничего и не могли сами управлять своей жизнью. Все, что происходило с ними как с беженцами — их жизнь в ПВР или поиск работы, получение гуманитарной помощи или оформление сертификатов — заставляло их снова и снова переживать утрату, напоминая им о том, что они потеряли.

Что, куда и как дальше?

Одна из беженек, отвечая на вопрос нашей исследовательницы о том, как ей живется после переезда, сказала: «Ну, внутри как пустота какая-то, неопределенность, ничего не знаю» (ж, 71 год, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024). Эта фраза — лишь один из многочисленных примеров упоминания неопределенности нашими собеседниками-беженцами. Они не знали, смогут ли вернуться домой или нужно устраивать новую жизнь на новом месте; когда закончатся — и закончатся ли — боевые действия в их населенных пунктах; как долго и в каком объеме их будет поддерживать государство. Все вместе, вкупе с надеждой и страхом, делало переживаемую ими неопределенность всеобъемлющей: если «вся жизнь» потеряна, то как жить дальше?

Те, кто надеялся вернуться, часто не знали, в каком состоянии находились их дома — пригодны ли они для жизни восстановления. Состояние оставленных жилищ определяло, могут ли беженцы претендовать на жилищные сертификаты. В сентябре 2024 года поговаривали, что государство будет выдавать сертификаты только тогда, когда закончатся военные действия — то есть в неопределенном будущем. Вот как соединение этих разных факторов описала одна из беженек: «Домой хочется. Не знаешь, что там с квартирой, неизвестно, они же там сидят, ну, украинцы. Не знаешь, разбита квартира или нет. Сертификаты будут давать по окончании уже войны. А кто знает, что Зеленский выпендрит?» (ж, 72 года, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Неопределенность и утрата, которые переживали беженцы, усиливали друг друга. Например, вот как одна из беженек сетовала на «отсутствие перспективы» в текущей жизни:

«Больше всего напрягает то, что нету определенности,» — призналась она, — нету ясности, куда что и как дальше шагать. Никто же ничего не объясняет». Она рассказала, что иногда просыпается ночью и думает, как же так вышло, что проработав всю жизнь, она «осталась бомжом». «Мои дети бомжи! Мои внуки бомжи! — стала причитать беженка. — То, что оставалось, то место, где у меня похоронены родители, его нет просто. Мне даже на могилу некуда съездить». После этого она заплакала» (ж, около 65 лет, сиделка в доме престарелых, беженка, Курск, декабрь 2024).

В этом монологе жалобы на неясность политики государства в отношении беженцев соседствовали с гореванием по поводу утраченной жизни. Эта беженка, как и многие другие, возлагала надежды на государство: оно должно было «объяснить», что им делать дальше, придать их будущему хоть какую-то определенность. Но государство не спешило этого делать:

«А мне никто ничего не объясняет, — продолжила сетовать она. — Мне ничего никто не говорил, что меня и мою семью ждет завтра и что меня ждет в дальнейшем. Вот это самое страшное, вот эта неизвестность, неопределенность вот эта вот». Она призналась, что иногда ей кажется, что лучше бы она умерла и не переживала ничего подобного. И снова стала повторять: «Вот хотя бы какую-то перспективу нарисовали: что дальше и чего ждать. Но никто ничего не говорит. Или все пустые слова, пустые обещания, ничем не подкрепленные» (ж, около 65 лет, сиделка в доме престарелых, беженка, Курск, декабрь 2024).

Как государство будет помогать своим гражданам, которые вдруг стали «бомжами»? Смогут ли они получить жилищные сертификаты? Когда? В каком размере? Особенно гнетущими эти вопросы выглядели в начале осени 2024 года. Один из собеседников нашей исследовательницы рассказал ей в то время, что сотрудник банка как-то пожелал ему удачи, ведь сертификаты «не всем одобряют» (м, около 55 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024). Исследовательница, оказавшаяся в области в начале зимы 2024, наблюдала более активные обсуждения сертификатов, которые многие к тому времени уже получили. Правда, в декабре у беженцев появилось новое опасение — стали поговаривать, что скоро сертификаты выдавать перестанут. Например, когда исследовательница пригласила на чай своих коллег-волонтеров, которые четыре месяца назад сами убежали из курского приграничья, те заговорили о сертификатах:

«Светлана сказала Софье Викторовне, что лучше брать сейчас сертификат, если есть возможность. Потому что потом они его уже просто не получат. Она иронично спросила: “Вы думаете, будут на следующие годы давать?”, на что Софья Викторовна, опешив, ответила “конечно”. Светлана парировала: “Не-а. Сейчас до Нового года, до января скорее всего освободят и Суджу. Если у вас целые дома, то вам никто не даст”» (Светлана: ж, около 45 лет, профессия неизвестна; Софья Викторовна: ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов; волонтерки, беженки, Курск, декабрь 2024).

Неопределенность и ощущение, что от них больше ничего не зависит, погрузило многих беженцев в состояние паралича. Поскольку вторжение ВСУ и вынужденное переселение были беспрецедентным событием, никто не понимал, как действовать, к кому обращаться, на что опираться и как планировать свою жизнь дальше. Это напрямую влияло на то, какие действия беженцы предпринимали, оказавшись в эвакуации.

Мы просто хотим вернуться

Некоторые беженцы оказались полностью захвачены переживанием утраты: они много рассказывали о том, что потеряли, и непрерывно размышляли, чем бы могли заняться, если бы были дома. Другие стали волонтерами, чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся от потери предыдущей жизни пустоту. Третьи погрязли в повседневных делах и визитах в госучреждения — это позволяло на время забыть о произошедшем с ними. Четвертые пошли работать и начали устраивать новую жизнь, например, покупая жилье.

Созданные по всему региону пункты временного размещения позволяли беженцам на какое-то время «зависнуть» в состоянии ожидания, не предпринимая каких-либо действий или решений. Через ПВР беженцы могли получить справки, необходимые, например, для оформления инвалидности, а также медицинскую помощь. А если они покидали ПВР на какое-то время, то должны были извещать его руководителя о своем отсутствии. В каком-то смысле ПВР институционализировали безвременье: они дали беженцам возможность бездействовать, одновременно возвращая их в детство — ведь о них снова заботились взрослые люди. При этом спонтанные рассказы об отъезде и утрате, которыми изобилует сентябрьский-октябрьский этнографический дневник, уже в ноябре оказывались вытеснены более прагматическими рассуждениями о выплатах, субсидиях и покупке нового жилья.

Обе исследовательницы проводили много времени, волонтера в центрах гуманитарной помощи. Среди беженцев, с которыми им удалось пообщаться, были те, кто жил у родственников или снимал жилье самостоятельно, и те, кто обитал в многочисленных ПВР региона.

Судя по полевым дневникам, жители ПВР часто принадлежали к социально уязвимым группам: это могли быть и люди пожилого возраста или инвалиды, которым требовался дополнительный уход, и те, кто не имел знакомых или родственников, готовых принять к себе,

сбережений, чтобы самостоятельно снять жилье. Одна из волонтерок в беседе с исследовательницей не без пренебрежения описывала мотивации беженцев, живущих в ПВР:

«На вопрос о том, работают ли те, кто живет в ПВР, Рита ответила, что никто не работает. Она объяснила, что жители ПВР (но не те, кто сам снимает жилье) имеют право получать две трети зарплаты с последнего места работы. И многие из них так и делают. Однако никто не знает, как долго они будут иметь возможность получать эти выплаты. Все пенсионеры оформили пенсии и тоже уже начали их получать, как и инвалиды. Чтобы оформить все это, им даже не надо никуда было ходить: работники соцзащиты и МФЦ сами приходили в ПВР и все им оформляли. Приходили медики и оформляли инвалидность. Рита говорит: “В общем, понимаешь — они поняли, что жизнь бывает другой. И вот тоскуют по своей тамошней жизни в основном старики. ‘Как же? Картошка в огородах осталась’. Они даже под гранатами ездили туда копать, вообще чокнутые.” Она говорит, что живущие в ПВР беженцы не хотят ничего менять — не только пожилые, но и те, кто помоложе. “Некоторые уже получили сертификаты. Но из получивших сертификаты только одна ищет жилье. Все остальные продолжают вот такой паразитический образ жизни. Их все устраивает и так. Те, кто на квартирах живет — из них многие приходят, берут вещи, говорят: ‘Я на работу вышел, мне на работу надо то и то’. А эти — нет, эти живут как потребители”» (ж, около 40 лет, педагог, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Рассказ Риты упускает один важный фактор, который удерживал многих беженцев в ПВР: замешательство перед лицом неопределенности. В ситуации, когда все потеряно и ничего непонятно, ПВР предоставляли людям возможность временно не думать не только о будущем, но и о настоящем. Жизнь беженцев в ПВР сводилась к самым простым вещам вроде сидения в курилке, постоянного перебирания одежды в центрах гуманитарной помощи, общения друг с другом. ПВР оказывались островками стабильности на фоне общей неопределенности, поддерживаемой в том числе государством. Вот как описывает исследовательница свой разговор с одной из жительниц ПВР, постоянной посетительницей находящегося по соседству центра гуманитарной помощи. Она рассказывала о планах на будущее и о том, как устроена ее повседневная жизнь:

«Я спросила у Тамары, собирается ли она на речку. Она сказала, что “пойдет шашлычка пожарит”, потому что в ПВР от безделья можно с ума сойти: “Там если ничего не делать, вообще чокнешься. Пойдешь в комнату, полежишь, выйдешь, полежишь, выйдешь”. Я спросила, искала ли она работу. Она ответила, что не искала: “А как? У меня муж сейчас на СВО, в деньгах не нуждаюсь как бы. Поэтому, наверное, если бы нуждалась бы, конечно, уже бы нашла работу. И смысл? — ищи здесь, а, неизвестно, где я завтра буду.” Ее муж воюет уже около двух лет» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Беседа исследовательницы с другой беженкой демонстрирует, что отсутствие попыток получить выплаты и жилищные сертификаты среди жителей ПВР часто были связаны со все еще теплящейся надеждой в скором времени вернуться домой. Беженка, как это часто случалось, сама заговорила с исследовательницей. В какой-то момент, в ответ на ее жалобы, исследовательница спросила, компенсирует ли государство потери ее семьи. Та ответила: «Мы никуда еще не подавали ничего. Дети мои никуда не ходили, ничего не подавали. Мы просто хотим вернуться. А потом действовать по обстановке, потому что даже вперед не хотим загадывать. Ничего не хотим» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024). Этот отказ от действий по организации новой жизни можно рассматривать как своего рода магическую практику: если не заниматься оформлением выплат и жилищных сертификатов, то можно будет вернуться домой.

Когда первый шок от внезапного отъезда спал, и стало понятно, что возвращение домой откладывается, беженцы начали более активно пользоваться субсидиями на жилье. В конце осени-начале зимы 2024 года они обсуждали, в основном, недостаточность выделяемых государством средств для покупки жилья, которое было бы соразмерно утраченному. Кроме того, многие беженцы сетовали, что они не могут позволить себе выбрать жилье по вкусу из-за высоких цен на недвижимость в Курске.

Часть беженцев — в основном те, кто не жили в ПВР — занимались обустройством своей новой жизни более активно. Кто-то из них поселился у родственников, кто-то начал снимать жилье самостоятельно, иногда объединяясь с товарищами по несчастью. Некоторые практически сразу устроились на работу и занялись «жилищным вопросом». Но даже в этих случаях они часто пытались пересобрать свою старую рутину на новом месте. По словам Вероники, одной из собеседниц нашей исследовательницы, те, кто не живет в ПВР, «пытаются восстановить

свои занятия хоть как-нибудь». Например, ее знакомый, в прошлом мясник, взял в аренду холодильник и «какую-то корову, перепродают, пытаются, ковыряются» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Кто-то пытался воссоздать условия своей сельской жизни и купить не квартиру, а дом. И некоторым это удавалось. Одна из посетительниц центра гуманитарной помощи рассказывала о том, как ее родственники использовали жилищный сертификат для постройки дома:

«Лида сказала, что Настя (видимо, ее дочь или невестка), которой она выбирает домашнее платье? и Федька (видимо, муж Насти) купили дом “на Сонины”. “Там вот так по правую сторону спускаешься вниз, как заходишь, — как в Теткино. Даже душа болит”. Она добавила, что “Федька не хотел квартиру”. Лида помолчала. И снова сказала: “Вообще красота. Я как захожу — мне не хочется уезжать оттуда. Душа болит аж”» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Иными словами, не только те, кто «завис» в безвременье в ПВР, но и те, кто стал активно обустраиваться вдали от дома, были ориентированы в своих практиках на прошлую жизнь. Первые все еще надеялись вернуться домой и не пытались искать работу или получать жилищные сертификаты. Вторые, напротив, строили новую жизнь, но по образу и подобию жизни старой. Эта ориентация на прошлое проявлялась и в другом аспекте существования беженцев — в том, как они выстраивали социальные связи на новом месте.

Суджанцы с суджанцами

В Курске и частично в близлежащих населенных пунктах (например, в Игловке) оказались жители самых разных районов приграничья: от наиболее пострадавших в ходе боевых действий Суджанского и Кореневского до лишь частично затронутых боевыми действиями Рыльского, Хомутовского и Льговского. Можно было бы ожидать, что общая беда и утрата старой жизни станут основанием для формирования новой группы с общей идентичностью. Ведь вне зависимости от того, где жили беженцы, их объединял не только опыт бегства, но и практики получения гуманитарной помощи, места, где они встречались и разговаривали друг с другом, делясь своими историями. Однако мы почти не наблюдали появления новых социальных связей и взаимопомощи между беженцами из *разных* районов. За редкими исключениями, как в случае Софьи Викторовны или Светланы, которые, будучи беженками, начали волонтерить в центрах гуманитарной помощи, опыт бегства

чаще укреплял связи и идентичности, сложившиеся еще до войны, нежели приводил к появлению новых. Так, опыт беженства спровоцировал усиление локальной идентичности и солидарности между жителями *внутри* отдельных районов. Вместо единой большой группы наши исследовательницы описывали в своих дневниках формирование отдельных небольших сообществ по принципу: «суджанцы с суджанцами», «кореневцы с кореневцами» и так далее.

Уже в первые дни пребывания в Курске, ведя наблюдение в очередях за гуманитарной помощью, наша исследовательница заметила, как люди естественным образом «группировались» в соответствии с местом, из которого они приехали. Стоило кому-то назвать свою деревню или район, как их земляки сразу откликнулись, начинали разговор, вспоминали знакомых и делились пережитым. Вот как исследовательница описала это в дневнике:

«Когда я заполняла ведомости, произошла интересная ситуация. Пока я переписывала паспортные данные очередного получателя гуманитарного набора, мужчина вслух назвал район своей прописки (кажется, Кореневский). Другой мужчина, стоявший за ним в очереди, тут же отозвался, сказав, что он из соседнего села. Между ними моментально завязался разговор о том, как они эвакуировались. Я пыталась вслушаться, но было сложно — я одновременно заполняла документы. Тем не менее, мне удалось уловить, что второй беженец рассказывал о своем побеге — как их никто не предупредил, как они выезжали даже не на машине, а шли сами по полям, “сидели на гречке”. Он говорил, что не смог вывезти родителей, и теперь у него нет с ними связи. Первый же его внимательно слушал, поддакивал и выражал сочувствие. Этот диалог между двумя беженцами из соседних сел был очень теплым, наполненным пониманием и поддержкой. Мне показалось любопытным, как в очереди за гуманитаркой люди узнают земляков и сразу делятся своей болью, словно между ними возникает моментальное доверие. Они вместе вышли за ворота центра выдачи гуманитарной помощи, продолжая разговаривать. Я подумала: “Ну вот, солидарность”» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Поразившись тому, как легко двое незнакомцев завели теплый, поддерживающий разговор только из-за того, что раньше жили в одном районе, исследовательница решила выяснить, действительно ли общая «малая родина» настолько значима для формирования солидарности.

Заполняя ведомости на получение помощи, она стала зачитывать адреса прописки просителей помощи вслух. Стоило ей громко уточнить деревню или район — «Корневский район, верно?» — как его бывшие жители откликались. Они делились друг с другом свежими новостями, обсуждали, что стало с их домами и огородами, рассказывали, кто и когда уезжал, вспоминали знакомые улицы и неожиданно находили общих друзей; в этом живом обмене переживаниями рождалась тихая эмоциональная опора, которая делала тревожную неопределенность чуть-чуть легче.

Подобные сцены можно было наблюдать не только в центрах гуманитарной помощи. Так, например, с Полиной, беженкой из Суджи, наша исследовательница познакомилась через коллегу. Полина вызвалась показать ей Курск, и девушки отправились на прогулку по городу. В течение нескольких часов прогулки Полина постоянно здоровалась с прохожими. После одной из таких встреч она объяснила происходящее — и исследовательница зафиксировала это в дневнике:

«Полина сказала: “Вот тоже — сейчас ходишь, и суджановские, суджановские, суджановские”. Я спросила, как она понимает, что они из Суджи. Она ответила, что работала в частной клинике, и поэтому знает многих жителей Суджи и соседних районов. “Я их знаю и люди меня тоже знают. Они здороваются”. Я сказала, что, наверное, это здорово, ведь они земляки. Она ответила, что в Судже было не так. В Судже люди, конечно, здоровались друг с другом, но не более того. А здесь, если ты встретишь того же человека, то “ты как родная — он тебя обнимает, целует”. Спрашивает, как дела, и рассказывает, как у него, как они обустроились, где живут» (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024).

Показательно, что Полина использовала слово «родная»: те, кто в Судже едва обменивались приветствиями, вдруг, вынужденно покинув свой дом, стали друг другу «как родные» в чужом городе. Они обнимались, делились новостями, поддерживали друг друга — и тяжесть новой жизни хотя бы ненадолго отступала.

Эти спонтанные разговоры между земляками, регулярно наблюдаемые наши исследовательницами — будь то в очередях за гуманитарной помощью или просто на улице, — почти всегда касались общих мест и общего опыта. Ни выбор собеседника, ни само содержание беседы не были случайными. Многие беженцы словно жили вне времени, постоянно пытаются

мысленно вернуться в прошлое — к своим домам и жизням, которые они потеряли. Но в реальности такое возвращение было невозможным: они могли лишь удерживать в памяти или разговоре этот утраченный мир. Именно поэтому беседа с тем, кто раньше жил рядом, кто был частью той самой жизни до эвакуации, была для них так ценна. Земляки ходили по тем же улицам, делали покупки в тех же магазинах, смотрели на те же дома — а значит, в разговорах с ними потерянная «довоенная» реальность как будто материализовывалась. Вот как, например, наша исследовательница описала в дневнике беседу волонтерки родом из Суджи и мужчины-беженца родом из соседней с Суджей деревни:

«Во время одной из смен в гуманитарном центре я услышала, как волонтерка из Суджи начала разговор с пожилым мужчиной, который оказался из Казачьей Локни — соседней деревни в Суджанском районе. Как только они узнали, что родом из одних краев, между ними сразу завязалась беседа. Волонтерка вспомнила свою крестницу Люду, которая жила в сиротских домах, и с тревогой сказала, что та не выехала и теперь числится пропавшей. Мужчина сразу отозвался, уточнив: “Это туда, ближе к кладбищу?” — и сказал, что знает эти дома. Они еще какое-то время обсуждали, где именно это было, вспоминали улицу, знакомые ориентиры» (ж, около 35 лет, профессия неизвестна, волонтерка, беженка; м, около 55 лет, профессия неизвестна, беженец; Курск, сентябрь 2024).

Общие воспоминания о родных местах — улицах, людях, деталях повседневности — становились для беженцев способом удержать прошлое, соприкоснуться с утраченной жизнью и местами. Но того же самого нельзя было испытать в разговоре с человеком из соседнего района: он не принадлежал к тому миру, который пришлось срочно покинуть из-за войны. В этом одна из причин, по которой беженцы из разных районов почти не общались друг с другом.

Вместе с соседями

Подчеркнем, из-за внезапного вторжения в Курскую область жизненно важными оказались не просто земляческие, а именно соседские связи. Плохо организованная эвакуация и растерянность вынудили людей полагаться лишь на себя и своих близких. Они убедились, что по-настоящему могли рассчитывать только на тех, кого знали лично и кому доверяли. А пережитый вместе с соседями побег стал не просто общим

воспоминанием, а основой для солидарности и взаимопомощи. В Курске эта локальная связь лишь крепла: кризис, вызванный внезапным вторжением ВСУ, не закончился переселением, а переехал вместе с людьми.

Хотя в Курске положение беженцев улучшилось — им больше не угрожала смертельная опасность — помощи, предоставляемой государством и гуманитарными организациями, едва хватало на покрытие самых базовых нужд. Недостаточность этой поддержки была очевидна многим нашим собеседникам. Вот, например, как о нехватке базовых продуктов (еды, средств гигиены) почти плача рассказывала руководительница одного из центров гуманитарной помощи:

«Когда я разгружала мини-фуру от военных — я плакала. Потому что мне нечего было людям дать! Я каждый день пишу письма, чтобы нам прислали помощь — по всем городам, по всем партиям, в администрации... Мы выдаем то, что нам привозят» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, волонтерка, Курск, сентябрь 2024).

Тем более очевидной эта нехватка казалась самим беженцам, чья жизнь осенью 2024 года все еще не была устроена. В ситуации продолжающегося кризиса они привычно кооперировались с теми, кто раньше находился рядом и вызывал доверие: соседями, родственниками и друзьями.

Нередко наши исследовательницы, ведя наблюдения в центрах гуманитарной помощи, замечали, как беженцы приходили получать ее вместе с друзьями, родственниками или бывшими соседями. Например, однажды, во время выдачи макарон, исследовательница обратила внимание на троих бодрых пенсионеров из Суджи, которые общались между собой, шутили, выглядели спокойно и уверенно. Женщина держала паспорта, а мужчины оживленно обсуждали любимые места для рыбалки и последние новости. Когда исследовательница спросила у женщины, как они разместились в Курске, та ответила, что они все вместе снимают квартиру. «Вы друзья?» — уточнила исследовательница. «Ну да, соседи», — пояснила женщина. Выдав всей компании положенные им макароны, наша исследовательница переключилась на другие дела, однако через несколько минут она заметила, как пенсионеры так же бодро и весело загружали коробки с макаронами в одну машину, прежде чем всем вместе на ней уехать (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Наши исследовательницы слышали, как бывшие соседи вместе снимали жилье, видели, как старые друзья помогали друг другу присматривать

за детьми в ПВР, приходили мерить одежду и советовали, что выбрать. Кризис заметно укрепил старые связи, и наблюдать эту взаимопомощь порой было трогательно. Вместе с тем привычка полагаться на «своих» удерживала беженцев в границах уже сложившихся кругов общения. Люди из разных районов не спешили объединяться друг с другом, даже несмотря на то, что все они оказались в одной кризисной ситуации.

Война разъединяет

Курские беженцы не образовали группу с общей идентичностью не только из-за склонности искать поддержку у социально и территориально близких (родственников, соседей и земляков) и «застревания» внутри старых связей, но и из-за того, что жители разных районов пережили разный опыт войны. Разница опыта повлияла на их настоящее и возможное будущее. Поэтому переживание утраты, которое актуализировало локальные идентичности и усилило связи между жителями разных населенных пунктов, относящихся к одному району, одновременно с этим создало условия для дистанции и даже отчуждения друг от друга жителей разных районов Курского приграничья.

Жители Суджанского района, например, пострадали гораздо больше, чем жители других районов, которые, несмотря на массированные обстрелы, не были оккупированы ВСУ. Их обитатели могли возвращаться домой, чтобы выкопать картошку или забрать оставшиеся вещи. Например, исследовательница однажды услышала, как одна из волонтерок, сама беженка из Суджи, возмущалась, что жители менее пострадавших районов претендовали на гуманитарную помощь, хотя, по ее мнению, могли бы обойтись без нее:

«Она воскликнула, что ручается, что полностью разбит только Суджанский район. А части Корневского и Беловского остались почти нетронуты. “Картошку в Гирьях прекрасно выкопали мои сваты”, — в подтверждение этому сказала она. Сама она не поехала копать, потому что “зассала”. Однако ее искренне возмутило то, что сегодня на склад приходили беженцы из Гирьев и из Белой. Хотя “в Белой тишина и спокойствие!”. Она закончила свой монолог с неприкрытым возмущением: “И они получают гуманитарку. Он приехал получить гуманитарку!!! Он просто приехал ее получить!!!» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, волонтерка, беженка, Курск, сентябрь 2024).

С точки зрения этой беженки, право на гуманитарную помощь должны иметь только те, кто, подобно ей, «потерял все». Она не принимала во внимание тот факт, что выехавшие из других районов, как и ее земляки, ютились в ПВР или на съемных квартирах и потеряли прежнюю работу. В ее глазах возможность ненадолго вернуться домой, выкопать картошку (один из важнейших индикаторов сохранения прежней нормальной жизни) или забрать оставшиеся вещи были достаточным поводом отказать человеку в сочувствии и помощи.

Похожей установкой поделилась с исследовательницей и Вероника, несколько лет назад переехавшая из Суджи в Курск. Они познакомились через общих знакомых и несколько часов гуляли по городу и болтали. Вероника рассказала, что в первое время она раздавала гуманитарную помощь всем нуждающимся, но потом стала помогать адресно, в первую очередь «своим», суджанцам, которые «бежали вообще в трусах и шлепках», тогда как «остальные районы, они вернулись, могли вывезти вообще все и это нечестно». Только после того, как помощь будет оказана «своим», Вероника допускала для себя возможность помогать выходцам из других районов (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Таким образом, обе женщины выстраивали своего рода «иерархию страданий» беженцев курского приграничья. Помощь тем, кто не потерял все, казалась им несправедливой, а страдания последних — недостаточно серьезными. Если судьбы выходцев из неоккупированных районов не заслуживали сочувствия в глазах других беженцев и их близких, то тем более эти две группы не были готовы к взаимной поддержке и совместным действиям. Так общая беда становилась разъединяющим, а не объединяющим опытом.

Мародерят все

Еще одна особенность опыта жителей курского приграничья, впоследствии ставших беженцами — это **постоянное столкновение с военными**, причем не только в августе 2024 года. Находясь в километрах от фронта, они видели передвижение войск и техники накануне начала войны. Некоторые из них «подкармливали» голодных срочников из расположенных рядом военных частей. Военные появлялись в деревнях и иногда дарили детям конфеты. Они также помогли многим выехать во время «внезапного» вторжения ВСУ.

При этом беженцы не часто рассказывали нам и друг другу о военных. Некоторые сообщали, что военные помогали им эвакуироваться, но скорее вскользь, отвечая на прямой вопрос наших исследовательниц о том, как люди выезжали. «Ну, с военными», — говорили они, не выражая ни благодарности, ни критики. Кто-то между делом упоминал случаи мародерства. А кто-то, наоборот, даже оказавшись в нужде, рассказывал, что помогает «своим» военным.

Волонтера в центрах гуманитарной помощи, наши исследовательницы нередко становились свидетельницами того, как беженцы сплетничали между собой о судьбе своих домов. Именно в этих разговорах, как будто между делом, звучали истории о мародерстве, причем со стороны как украинских, так и российских военных. «Я продолжила заполнять ведомости, — записала одна из исследовательниц в дневнике, — и потом заметила, как одна из женщин в очереди разговаривает с другой. Они обсуждали мародерство, и вдруг я уловила фразу: “Да наши мародерят хуже ВСУ”» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Такие реплики были обычно короткими и горькими. Так, однажды, помогая молодой женщине с выбором одежды, исследовательница услышала, как та, жалуясь на потерю вещей и неизвестность судьбы своего дома, обронила: «Все вынесли, мебель добились...». Исследовательница уточнила: «Это украинские солдаты?» Женщина горько усмехнулась: «Нет, свои же мародеры». «Свои же?» — переспросила исследовательница с недоумением. «Да», — коротко кивнула женщина. Но уже через секунду она переключила внимание на одежду (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Иными словами, эта женщина, как и многие другие беженцы, упомянув мародерство российских военных, не стала заострять на нем внимания. Беженцы могли долго и подробно рассказывать о собственной утрате, но мародерство военных едва устаивали короткими комментариями.

Эту тенденцию только отчасти можно объяснить страхом критиковать армию вслух. Она также связана с восприятием ужасов войны — в частности, поведения военных — как неизбежных и закономерных событий, на которые нет смысла реагировать возмущением. Так, пожилой мужчина из Глушковского района, с которым исследовательница случайно разговорилась в автобусе, начал было жаловаться на мародеров. «Сначала наши сорвали замки, камеры поотбивали с магазина. А потом “чечня” пришла и начала по домам лазить, машины угонять, колеса сымать», — говорил он. Однако, объясняя такое поведение, он тут же сослался на фантастический рассказ, который он читал ребенком, как бы подчеркивая — когда никто не видит, люди всегда нарушают закон, такова

уж их человеческая природа: «Короче, там пацан проснулся малой. И там никого нет. На улицу вышел — никого нету. Машины, магазины открыты — бери, что хочешь» (м, около 45 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск октябрь 2024). Собеседник исследовательницы как бы говорил: военные — как этот мальчик, оказавшийся в пустом мире, где больше нет правил и все дозволено. Их поведение — естественно.

Когда исследовательница попыталась продолжить разговор и подробнее расспросить мужчину о поведении российских военных, включая «чеченцев», а также о причинах мародерства, он перевел разговор на другие темы — рассказал о том, как на улицах его родного поселка остались лежать трупы, и о том, что видел на линии фронта. Хотя мародерство вызывало у него сожаление и осуждение, он воспринимал его как неизбежное проявление человеческой природы в условиях войны, то, чему и он, и военные вынуждены были покориться.

Своих не бросаем?

Хотя мы почти не наблюдали регулярного взаимодействия между беженцами и военными, во время своего пребывания в Курске и Курской области наши исследовательницы познакомились с двумя беженками, которые, несмотря на собственное затруднительное положение, помогли военным. Обе женщины начали делать это еще до августа 2024 года и продолжили, перебравшись в Курск. Здесь мы расскажем об опыте этих женщин: хотя он не типичен для большинства беженцев, но важен для понимания того, как именно *может* формироваться солидарность между разными социальными группами в условиях войны.

Многие куряне, включая беженцев, считали, что военные являются жертвами войны, выброшенными на обочину жизни и забытыми государством. Далеко не для всех, однако, эти убеждения становились руководством к действию — как для Софьи Викторовны и Полины, героинь этого раздела, которые помогали военным до эвакуации и продолжили это делать после.

Во время чаепития с нашей исследовательницей Софья Викторовна — беженка, ставшая волонтеркой центра гуманитарной помощи — много рассказывала о том, как еще в Судже помогала военным едой и вещами. Когда исследовательница заметила, что, с ее точки зрения, солдат должно обеспечивать государство, а не простые люди, Софья Викторовна лишь ответила: «Они в Министерстве обороны миллиарды какие воруют. Чем они будут военных обеспечивать? А мы их кормили. Мы с осени

заготавливали картошку. И у людей просили — кто картошку, кто морковку, кто лук, кто чеснок принесет» (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, ноябрь 2024).

В другой день та же Софья Викторовна попыталась отложить какие-то вещи, предназначенные беженцам, чтобы позднее отдать их военным. Когда один из координаторов центра, Костя, «застукал» ее и спросил, зачем она это делает, она ответила: «Это солдатам». Он громко воскликнул: «Софья Викторовна, ну я сколько раз вам объяснял? У нас гуманитарная помощь. У нас не помощь военным». Софья Викторовна опустила глаза в пол и тихо проговорила: «Все равно надо дать» (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, ноябрь 2024).

Нечто подобное говорила и Полина, беженка из Суджи. Познакомившись с нашей исследовательницей через общую приятельницу, Полина еще по переписке попросила исследовательницу помочь собрать необходимые вещи для «наших ребят». А уже во время встречи и прогулки по городу она с заметным сочувствием и возмущением рассказывала о тяжелых условиях, в которых служат военные. При этом сама Полина жила в пункте временного размещения и полностью зависела от гуманитарной помощи. Вот как исследовательница пересказала фрагмент их разговора:

«Полина сказала, что хочет помочь четверым военным, которых она знает и которые спят прямо на досках в открытом поле. “У них только машина, на которой они сидят и ракеты отслеживают, если что — сбивают. И все”. Я кивнула и сказала, что там, где я волонтеру, стараются помогать в том числе и военным. Она сразу оживилась: “А если, например, у вас есть возможность, можете четыре раскладушки им отдать? Мы бы сами забрали и отвезли. Ну, чтобы им хоть спать было на чем”. “В смысле?” — переспросила я. “Ну, просто если есть четыре раскладушки, потому что они реально на досках спят...”» (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024).

Однако не только сочувствие заставляло Полину и Софью Викторовну помогать солдатам. Превратившись в беженку и перебравшись в Курск, они продолжали делать то, что и раньше, в том числе чтобы сохранить привычные составляющие прошлой жизни.

Для многих жителей приграничья двухлетнее соседство с военными сделало последних привычной частью повседневности: солдаты пользовались местной инфраструктурой, ходили в те же магазины, общались с местными жителями. Так, например, когда Полина показывала исследовательнице фотографии на телефоне — среди снимков путешествий и домашних закуток вдруг промелькнуло фото застолья с военными:

«Она продолжила рассказывать: “Ой, я столько патиссонов закрыла! А это стол, просто ребята военные у нас, я готовила, нажарила, все такое”. Я спросила, неужели она накрыла стол для незнакомых людей. Она ответила, что там были и знакомые, которые до сих пор приезжают к ним домой, а они их кормят. “Сидим, отдыхаем”, — подытожила она» (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024).

Другие наши собеседники тоже рассказывали, что порой военным не хватало самого необходимого — еды, одежды, бытовых вещей. Видя в военных простых людей, которым тяжело и которым некому помочь, жители Суджи и других приграничных районов зачастую не могли им отказать.

Так, Софья Викторовна, едва наша исследовательница начала расспрашивать ее о жизни до эвакуации, сразу же вспомнила, как однажды кто-то из военного руководства попросил ее приготовить еду для солдат. Она подробно рассказала, как вместе с другими женщинами собирала овощи, чистила картошку и готовила еду абсолютно бесплатно, «потому что надо было помочь». Она кормила солдат, причем регулярно и за свои деньги (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, ноябрь 2024). И сами военные, и помощь им постепенно стали частью ее повседневной рутины, частью той самой нормальной повседневной жизни, по утрате которой так остро тосковали многие беженцы.

Однажды, только закончив мыть пол в центре гуманитарной помощи и присев отдохнуть за чаем, Софья Викторовна взглянула на разложенные на столе бинты, йод и оживилась. Она достала телефон и начала показывать нашей исследовательнице благодарственный пост от военных в Telegram, комментируя его с нотками гордости:

«“Смотри”, — сказала она, протягивая телефон, — “мы на аптечки собирали”. Я кивнула, глядя на экран. Она рассказала, что участвовала в составлении обращения с просьбой пожертвовать деньги “для наших земляков за лентой” на покупку им полевых аптек. “Так вот, огромное спасибо нашему коллективу,

который со скоростью ракеты собрал и уже передал для ребят аптечки” — продолжила Софья Викторовна, пролистывая фотографии. “Вот это аптечки мы собрали. Ух, работали!” — добавила она, показывая фото красиво упакованных наборов» (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Курск, ноябрь 2024).

Затем Софья Викторовна упомянула, что в ее телефоне до сих пор хранится множество номеров солдат, с которыми она общается и которым продолжает помогать. Для беженцев, **чья новая идентичность строилась вокруг утраты**, было особенно важным сохранение связи с прошлой жизнью — через общение со старыми знакомыми и через поддержание старых практик. Помощь военным оказалась, по сути, единственной частью прежней рутины Софьи Викторовны, которую ей удалось сохранить в новой, чужой жизни. Вместе со старыми коллегами из Суджи она снова собирала деньги на необходимые военным вещи — точно так же, как когда-то дома готовила для них еду.

Нечто похожее, казалось, переживала и Полина. Во время прогулки с исследовательницей по торговому центру Полина сказала, что далека от политики, не хочет обсуждать войну и ее причины, призналась, что не работает и живет на гуманитарную помощь, часть которой отдает военным. Как и Софья Викторовна, Полина помогала военным еще до эвакуации, а после переезда в Курск стала помогать еще и новым подразделениям. В дневнике исследовательница записала:

«Я спросила у Полины, для кого она собирает помощь, каким-то знакомым, или кому? В ответ Полина кивнула: “У нас ребята... Ну, **как война началась**, мы начали помогать”. Я уточнила: “Суджанским?” Она ответила коротко: “Ну да, ребятам. Теперь еще и бурятам”» (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024).

Наша исследовательница проговорила с Полиной почти пять часов. Но только когда речь заходила о том, как она помогает и собирается и дальше помогать военным, ее глаза загорались, и она словно возвращалась к жизни.

Таким образом, эвакуация из приграничья не только не прервала старые связи этих женщин с военными, но и усилила их. Софья Викторовна продолжила помогать тем, кого знала еще до отъезда, а Полина даже нашла новых адресатов помощи. Для обеих женщин помощь военным стала единственной практикой из прежней нормальной

жизни, доступной в новой, ненормальной. Хотя они сами нуждались в поддержке, возможность помогать военным возвращала им ощущение самостоятельности и уверенности, которых так не хватало многим беженцам, горюющим по утраченному и **пребывающим в состоянии постоянной неопределенности**. Помощь военным была одновременно помощью самим себе — в том, чтобы сохранить привычные социальные связи и составляющие той жизни, с которой им пришлось расстаться.

Давайте не будем о плохом

Беженцы, горюющие по утраченной жизни, постоянно хотели говорить о том, что у них было и что они потеряли. Они искали собеседников среди товарищей по несчастью, среди волонтеров, в том числе среди жителей городов и поселков, в которых они очутились после эвакуации. В следующем отрывке из дневника нашей исследовательницы, который мы уже частично цитировали во второй главе, хорошо видно это желание беженцев быть услышанными:

«Прогуливаясь вокруг, я заметила на одной из лавочек неподалеку от палаток женщину лет семидесяти, которая оживленно жаловалась двум другим пожилым женщинам. Я не слышала начала их разговора, но почти интуитивно поняла, что она — беженка. Забегая вперед, скажу, что так оно и оказалось. При этом у нее не было никаких “очевидных” признаков беженки — ни пакетов с гуманитарной помощью, ни неопрятного вида: наоборот, она выглядела очень аккуратно. Я отметила про себя, что, видимо, уже интуитивно научилась считывать беженцев — возможно, по особой манере держаться или по тому эмоциональному фону, который они транслировали: сплаву одиночества, потерянности, усталости, глухого недовольства и потребности, чтобы на них обратили внимание. Я подошла ближе и прислушалась. Сначала она рассказывала о мародерстве на оккупированных территориях Курской области. Я стояла рядом, слушала внимательно, с выражением сочувствия на лице. В какой-то момент она заметила меня, перехватила мой взгляд и начала рассказывать уже мне. Я вставила короткую фразу: “Вы такую жуткую историю рассказываете”, — и увидела, как она оживилась, почувствовав, что ее готовы выслушать. Так я стала частью их разговора. Женщина продолжала делиться своей историей, а две другие бабушки довольно быстро начали уводить разговор в сторону. Они вставляли реплики вроде “Давайте не будем о плохом”, “Бог поможет”

— словно им не хотелось ни слушать о войне, ни вовлекаться в тему вынужденных переселенцев. Тогда я поняла, что они, скорее всего, местные, а не беженки из приграничья. А беженка, напротив, упрямо продолжала говорить: ей было жизненно важно, чтоб ее услышали, ей требовалось проговорить накопившуюся боль. В какой-то момент бабушки просто встали и ушли, оставив нас вдвоем. Женщина продолжила рассказывать мне свою историю. Это подтвердило мое предположение: они не были знакомы ранее, так не поступают с подругой. Вероятно, они просто присели отдохнуть, а она сама завела с ними разговор. Меня поразило, насколько отчаянно беженцы цепляются за возможность быть выслушанными — и насколько местные стремятся избегать этих разговоров, чтобы не сталкиваться с темой войны» (парк, Курск, сентябрь 2024).

Эта сцена демонстрирует не только то, как неохотно местные слушали беженцев о войне, но и то, как для самих беженцев пережитый травматичный опыт формировал невидимую границу между ними и окружающими.

Беженцы, с которыми нам удалось поговорить, практически не делали попыток интегрироваться в принимающие сообщества (впрочем, нужно сделать скидку на то, что большинство наших собеседников — «клиенты» центров гуманитарной помощи, то есть, менее обеспеченные люди). Сталкивались с непониманием местных жителей, они, будучи погруженными в свое горе, также редко проявляли интерес к жизни и заботам последних. Например, одна из наших собеседниц, рассказывая исследовательнице о своей жизни в Игловке, подчеркнула, что местные жители, по ее мнению, «все такие, знаешь, какие-то злые, какие-то вот как будто... как тебе сказать... по жизни обиженные. У меня нет просто оправдания к этим людям. Жестокость. Вот эта вот жестокость» (ж, около 35 лет, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024). Ее поддержала сидящая рядом подруга, тоже беженка. Как позже выяснила наша исследовательница, обе женщины почти не покидали территорию ПВР.

Многие беженцы ждали от окружающих помощи и сочувствия — но одновременно они замыкались в своем горе и не проявляли интереса к миру за его пределами. Эта замкнутость, в свою очередь, стала барьером для взаимопонимания с местными, даже когда у тех было желание помочь. Однажды наша исследовательница, прогуливаясь по городу, заглянула в открытые ворота одного из гуманитарных центров и услышала крики пожилой беженки, возмущавшейся отсутствием чая в выданном ей

продуктовом наборе. Ее тут же окружили волонтеры, пытаюсь успокоить. Они стали рассказывать о трудностях своей работы — нехватке ресурсов, усталости, а также о добровольном характере их труда. На это беженка ответила: «Не, ну это просто хамское отношение. Она мне стоит, доказывает: “Нам ничего не поставляют. Мы чуть ли не за свои деньги все покупаем. Мы сами приехали сюда”. Как можно так относиться к людям? Мы что, виноваты, что вы волонтерами работаете?» (ж, около 45 лет, в прошлом медицинская работница, Курск, сентябрь 2024). Собственная утрата была для этой женщины настолько всепоглощающей, что она не готова была видеть или признавать трудности других.

Таким образом, в ситуации вынужденного переселения и неопределенности беженцы замкнулись на своем опыте, своих страданиях и, по крайней мере в первые месяцы, не пытались стать частью принимающего сообщества. Впрочем, представители этого сообщества также с трудом понимали и принимали беженцев, не имея возможности разделить их опыт.

Общая беда и общие трудности не сформировали, по крайней мере осенью и в начале зимы 2024 года, общую идентичность у курских беженцев. Отсутствие общности выразалось в самых разных аспектах их существования — в том, например, как они кооперировались друг с другом (на основании старых связей, родственных и соседских) или в том, как они переживали утрату, концентрируясь на *личных* потерях, ущербе для *их* района, *их* улицы, *их* дома. Их восприятие войны было также определено разрушением *их* конкретной жизни и привычной рутины: война началась для них тогда, когда им пришлось спешно покинуть свои дома, а не в 2022 году. Даже их желание помогать военным, несмотря на свой собственный уязвимый статус, было скорее попыткой сохранить и воспроизвести хотя бы что-то из прошлой жизни, чем выражением активной гражданской или политической позиции.

Почему многие беженцы оказались изолированы и друг от друга, и от принимающего сообщества? Во-первых, опыт вынужденного отъезда — «побега», «выселения», как они сами его называли — оказался для них чрезвычайно травматичным. Многие из них не хотели и не готовы были покидать свои дома, несмотря на постоянные обстрелы и опасность для жизни, а после отъезда рассчитывали вернуться обратно. Их новая идентичность была определена опытом утраты и гореванием по всему, что они потеряли. Осенью 2024 они были «заперты» в этом опыте и хотели постоянно делиться им. Их нежелание смириться со своим новым

статусом препятствовало попыткам как-то обустроить свою жизнь в новых условиях и созданию чего-то нового в целом: поиску нового жилья, новой работы, новых знакомых и друзей.

Во-вторых, опыт утраты, который был общим для беженцев из разных районов, и опыт близкой войны, который объединял беженцев и остальных курян, не стали отправной точкой для формирования новых солидарностей. Неравноценность материального ущерба, нанесенного войной пострадавшим жителям приграничья, а также необходимость конкурировать за ограниченные ресурсы гуманитарной помощи лишь усиливали чувство несправедливости, превращая общую беду в разъединяющий, а не объединяющий опыт. А их неприятие городской жизни и желание вернуться домой — вместе с глубокой погруженностью в личную беду — отчуждало их от местных жителей, которые, хотя и охотно жертвовали для них вещи, не могли до конца разделить их горе и понять их переживания.

Вместе с тем восприятие беженцами своей ситуации, как и их действия, менялись со временем. Если в начале и середине осени 2024 года они были погружены в переживания по поводу своего отъезда и ждали скорого возвращения, то уже через месяц-два многие начали обустриваться на новом месте. Однако и в том, и в другом случае именно государство было институтом, от которого беженцы ожидали ясности по поводу своей судьбы. Государство же вносило вклад в неопределенность их нового существования. Таким образом, опыт курских беженцев демонстрирует важный парадокс: общая беда, территориальная близость и сходство опыта в ситуации зависимости от государства, деполитизации и ограниченных ресурсов могут способствовать не солидарности и социальному сближению, а, напротив, фрагментации и разобщенности.

3. БЕЖЕНЦЫ В ГЛАЗАХ ПРИНИМАЮЩЕГО СООБЩЕСТВА

Итак, беженцы ощущали себя в изоляции от принимающего сообщества. Способствовали ли этому члены последнего? Они, очевидно, не «потеряли все» и в этом смысле, казалось бы, находились в более привилегированном положении, чем беженцы. Они стали массово помогать вновь прибывшим — индивидуально или в качестве волонтеров многочисленных центров гуманитарной помощи. При этом, парадоксальным образом, эти же люди часто ощущали себя пострадавшей стороной, причем пострадавшей не столько от войны, сколько... от наплыва беженцев. Почти у каждого из наших собеседников, не пострадавших от военных действий напрямую,

был опыт личного взаимодействия с беженцами. Как именно сочувствие местных жителей к беженцам, которому посвящена следующая глава этого отчета, сочеталось с раздражением и обидой, и откуда бралось это раздражение? Об этом — раздел ниже.

Не наша беда

Выше в этой главе мы уже рассказывали, как наша исследовательница, прогуливаясь по курскому парку, стала свидетельницей, а потом и участницей любопытной сцены. Пожилая женщина, в которой исследовательница тут же узнала беженку, жаловалась на свои злоключения двум случайным слушательницам, а те советовали ей не «думать о плохом» — а потом и вовсе тихонько ушли, не желая продолжать разговор. Эта история хорошо иллюстрирует основной тренд во взаимодействии беженцев из приграничья и членов принимающего сообщества, который мы наблюдали в Курской области. Куряне, не пострадавшие напрямую от войны, не слишком стремились думать и говорить «о плохом». Даже посвоему сочувствуя и помогая беженцам, они не были готовы разделить их боль целиком — у них хватало своих проблем.

Подобное отстраненное отношение к проблемам беженцев куряне, проживающие на не затронутых боевыми действиями территориях региона, иногда оправдывали тем, что о пострадавших неплохо заботятся и так — а значит, они не нуждаются в дополнительных ресурсах и сочувствии. Так, например, однажды исследовательница случайно подслушала разговор двух жительниц Игловки: одна из них работала в ПВР охранницей, другая проводила там же занятия с детьми. Охранница перечисляла преимущества жизни беженцев в ПВР — бесплатная еда, доступная одежда на любой вкус, в общем, жизнь «на всем готовом». Учительница активно соглашалась со своей собеседницей. Исследовательница же, которая уже успела пообщаться с беженцами из ПВР, отметила: «Я слушала их и думала о том, как сильно это расходится с тем, что я слышу от самих беженцев. Они рассказывают совсем другое» (ж, около 60 лет, охранница центра гумпомощи; ж, около 50 лет, педагог; жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). Охранница с учительницей, как и пожилые женщины в курском парке, не оценивали беженцев, не ругали их и не хвалили. Однако их слова и поведение сигнализировали: жизнь и проблемы беженцев — это не их проблемы.

Еще более показательным в этом смысле является комментарий уже упомянутого нами несколько раз водителя автобуса, возмущавшегося наличием мужчин среди беженцев из курского приграничья, которые «шкерятся» в безопасности, вместо того чтобы защищать свой дом. «Это

ваша земля, не моя. Придут ко мне — я буду защищать», — заявил он (м, около 35 лет, водитель автобуса, житель Курска, Курск, сентябрь 2024). Этот мужчина считал чужой не просто часть территории своей страны, но часть территории своего же региона — находящуюся в сотне километров от его собственного города.

Иными словами, придя на территорию России, война не стала ни общей политической задачей (победить неприятеля), ни по-настоящему общей бедой; она не превратила курян в членов нации, сплоченной перед лицом угрозы или беды, более того, она усиливала фрагментацию самого регионального сообщества Курской области. Проблемы жителей приграничья, потерявших свои дома, имущество и привычный образ жизни, остались для других жителей Курской области чужими проблемами.

Это, разумеется, не означает, что куряне, не пострадавшие напрямую от войны, поголовно относились к беженцам с неприязнью. Скорее, их чувства в адрес последних представляли собой сложную комбинацию из раздражения (постоянными просьбами беженцев и их «нежеланием» вставать на ноги), обиды (например, из-за обилия бесплатных ресурсов, оказывающихся в их руках) и, конечно, сочувствия — в конце концов, как можно не сочувствовать тем, кто «потерял все»?

Бескультурные иждивенцы

Действительно, большинство наших собеседников, не пострадавших напрямую от войны, так или иначе выражали сочувствие беженцам. Чаще всего о своем сочувствии говорили люди с антивоенными взглядами. Марина, жительница Игловки и постоянная собеседница одной из наших исследовательниц, регулярно возмущалась тем, что беженцы потеряли большое хозяйство, которое государство никогда не сможет им компенсировать (ж, 42 года, служащая, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). А студент из Курска Влад рассказывал о том, что каждый день видит, «как люди стоят за сваренной гречкой и за сардельками на морозе», и с болью думает о них (интервью, м, 20 лет, студент, житель Курска, онлайн, ноябрь 2024). Впрочем, и наши аполитичные собеседники, в целом оправдывающие войну, демонстрировали эмпатию к пострадавшим жителям приграничья, причем не только с помощью слов, но и с помощью дел. Например, Рита по собственной инициативе открыла склад одежды для беженцев при уже существующем ПВР в Игловке (ж, около 40 лет, педагог, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). А по наблюдениям барменки Вики, которыми она поделилась с нашей исследовательницей, «тут каждый второй волонтер, половина города» (ж, около

25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, декабрь 2024). Сочувствие местных жителей беженцам было во многом основано на **возможности соотнести себя с последними** — беженцы, особенно в первые недели после военного обострения в регионе, казались им такими же «нормальными» людьми, как и они сами, а значит, они могли бы оказаться на месте любого из беженцев.

Однако и Марина, и Рита, и Влад с Викторией, которые тоже участвовали в помощи беженцам, упоминали в разговорах с нашими исследовательницами и о негативном опыте взаимодействия с последними. Например, Влад рассказал, что, работая с беженцами, понял одну простую вещь: среди них действительно много тех, кто полюбил жизнь «на всем готовом» и «до конца жизни будет ходить на пункты помощи» (м, 20 лет, студент, житель Курска, онлайн, октябрь 2024). Иными словами, даже он, человек с антивоенными взглядами и большой симпатией к беженцам, не мог удержаться от раздраженных высказываний в адрес последних. Многие другие собеседники наших исследовательниц тоже наделяли беженцев самыми разными негативными чертами.

Чаще всего раздражение членов принимающего сообщества — причем прежде всего тех, кто сочувствовал и помогал беженцам — вызывала «пассивная» позиция последних, которую наши собеседники-волонтеры описывали не иначе, как «потребительское отношение» к ресурсам и людям. Например, по словам Риты, беженцы «...живут как потребители, чисто потребители. Они: “Ой, полотенчик порвался”, приходят — “дай полотенчик”. Я говорю: “Нет полотенчиков у нас”. Они идут тогда просить у директора». «У нее есть деньги в кармане, — объяснила свою мысль Рита, вспоминая знакомую ей беженку, — но она ни за что не пойдет в магазин, потому что ей положено. Она живет в ПВР, ей положено, вот и все, дайте» (ж, около 40 лет, педагог, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Мы уже рассказывали о том, как студентка колледжа по прозвищу Энджи делилась историей своей подружки-кассирши о беженцах, которые якобы «понабрали продуктов» и не собирались за них платить. Подруга их окликает, — эмоционально говорила Энджи, мол, «А оплачивать?». А они в ответ: «Вы мне обязаны это дать!» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, жительница пригорода Курска, Курск, сентябрь 2024). Подобным образом описывала поведение беженцев мастерица маникюра. Она жаловалась нашей исследовательнице, что периодически ей звонят беженки и просят сделать маникюр с большой скидкой или вовсе бесплатно. Почему она, разведенная работающая женщина с маленьким ребенком, должна оказывать свои услуги бесплатно? — возмущалась

собеседница. «Приехали и думают, что их должны здесь целовать!» (ж, 25 лет, мастерица маникюра, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024). В отличие от Риты, Влада и Энджи, эта девушка не пыталась помогать беженцам — ни добровольно, ни «добровольно-принудительно». В этом смысле раздражение «потребительским отношением» пострадавших жителей приграничья было свойственно самым разными курынам.

Многие из них (но, конечно, далеко не все) при этом описывали беженцев не просто как потребителей, которые сели на шею государству и курынам, но и как людей алчных, стремящихся извлечь максимальную выгоду из предоставляемой им помощи.

Так, обе исследовательницы за все время пребывания в Курской области не раз слышали жалобы своих собеседников, не пострадавших напрямую от войны, на то, что беженцы перепродают полученные в рамках «гуманитарки» продукты на рынке, на Wildberries или на Ozone. Например, водитель одного из центров гуманитарной помощи давал указания нашей исследовательнице: нельзя выдавать беженцам несколько пачек макарон сразу, «они же сначала приехали сюда, потом в другом пункте взяли, потом в третьем, а потом идут на рынок продавать» (м, около 30 лет, водитель в центре гуманитарной помощи, житель Курска, Курск, сентябрь 2024). А Вероника, которая с первых дней добровольно стала помогать пострадавшим, уверяла, что узнавала в лицо беженков, приходивших за помощью повторно, но скрывавших этот факт. Она же вспомнила случай, как пострадавшие жители пограничья вырвали пакеты с «гуманитаркой» прямо из ее рук (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Иными словами, в глазах этих волонтеров беженцы не только не благодарили людей, оказывающих им помощь, должным образом, но и пытались перехитрить и даже «обокрасть» их — получить лишние товары бесплатно и перепродать их курынам, заработав на этой операции.

Одновременно в рассказах многих курын присутствовали жалобы не только на жадность, но и на «бескультурность» беженцев — и история Вероники про вырванные из ее рук пакеты хорошая тому иллюстрация. Наши собеседники утверждали, что беженцы, например, не способны нормально выстроиться в очередь или взять разумное для небольших городских квартир количество еды — то есть, в принципе освоить правила городской жизни. Надо сказать, что такое отношение к деревенским жителям (коими, в большинстве своем, являлись беженцы) в принципе бывает свойственно жителям города.

Ярче всего это противопоставление культурных городских курян и «диких» беженцев звучало в рассказах студентки Энджи, авторки самых красочных и самых фантастических историй о беженцах. Несмотря на то, что их правдивость находится под большим вопросом, нас интересуют те *представления* о жителях приграничья, которые лежат в основе подобных историй. Энджи, ставшая волонтеркой центра гуманитарной помощи по разнарядке руководства колледжа, была родом из пригорода Курска, в котором после вторжения ВСУ в Курскую область оказалось некоторое количество беженцев. По словам Энджи, их поселили в школу, которую только что отремонтировали, однако теперь «там находится невозможно, все в перегаре, все воняет, все углы», потому что они «все алкаши». Энджи без тени иронии, глядя прямо в глаза потерявшей дар речи исследовательнице, утверждала, что беженцы справляют нужду посреди улицы, мусорят и распивают алкоголь где попало, никогда не моются и распространяют ужасный запах. Она якобы своими глазами наблюдала «как двое переселенцев ебутся на лавке». Более того, чуть позже эти беженцы «перетащили матрас» к вечному огню и «там продолжили». «Представляешь, у вечного огня ебаться?!» — восклицала Энджи. А кое-что, по ее словам, видела ее мама, пришедшая в больницу на обследовании сердца. «И вот одна бабка во время процедуры задирает юбку, — серьезным тоном повествовала Энджи. — Мама спрашивает: “Бабуль, вам что, плохо?” А бабка просто решила поспать. Ну типа, на огороде привыкла, пришла нужда и все. Мама в шоке спрашивает: “А подтираться?” А бабка такая: “Да зачем, в конце недели помоюсь”». Энджи сделала акцент на этих словах, возмущенно повторив: «В конце недели! Они вообще дикие!» (ж, около 20 лет, Курск, студентка ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

Несмотря на то, что истории Энджи были по-своему уникальны, и подобное гротескное описание беженцев больше не встречалось в наших этнографических материалах, их нельзя назвать ее «индивидуальным творчеством». В этих историях, пусть и в утрированном виде, отражались свойственные многим нашим собеседникам представления о беженцах как о «диких», грязных, пьющих — в общем, бескультурных людях. Так, однажды прогуливаясь по спальному району Курска, наша исследовательница присела на скамейку в уютном дворике с красивыми клумбами. На другом конце скамейки уже отдыхала пожилая женщина, с которой у исследовательницы завязалась беседа. В какой-то момент они заговорили о беженцах. Оказалось, что эта женщина уверена: беженцы «относятся безобразно ко всему», «и пьют, и мусорят, и за собой не убирают» (ж, около 65 лет, пенсионерка, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). А молодой человек, с которым исследовательница разговорилась в кафе, жаловался ей, что к нему в район «понаехала

быдлота, которая привыкла возле дома в деревне семечки лузгать», поэтому там теперь «все лавочки засраны, весь мусор стоит около», так как беженцам «лень до мусорки дойти метров 150» (м, около 25 лет, профессия неизвестна, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Таковыми — бескультурными, ленивыми и жадными — выглядели беженцы в глазах многих курян. Эти представления транслировали даже те, кто сочувствовал и помогал беженцам. К этой мысли мы еще вернемся.

Привилегированные

Помимо раздражения многие наши собеседники, не пострадавшие напрямую от войны, испытывали в связи с появлением беженцев в их городах и поселках обиду. Последние в представлении курян осложняли их жизнь и забирали себе и без того ограниченные ресурсы. Многие жители Курска, например, жаловались, что с появлением беженцев в городе выросли цены на жилье. Так, Диана, с которой исследовательница познакомилась через общую приятельницу, во время совместной прогулки по городу рассказывала исследовательнице, что не может уехать от родителей и начать самостоятельную жизнь, потому что из-за потока беженцев цены на аренду стали неподъемными (ж, 21 год, работница аптечного склада, жительница Курска, Курск, декабрь 2024). Другие говорили, что появление беженцев негативно повлияло на самые разные аспекты их повседневной жизни. Так, школьница, по собственной инициативе ставшая волонтеркой в одном из центров гуманитарной помощи, жаловалась нашей исследовательнице во время совместной работы над сортировкой продуктовых наборов: «Из-за того, что у нас беженцев много, в школе теперь две смены, и еще занятия отменили по волейболу» (ж, 13 лет, школьница, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

Многие наши собеседники также считали несправедливым «привилегированное» — по сравнению с рядовыми местными жителями — положение, которое беженцы, по их ощущениям, заняли в городе. Так, упоминавшаяся нами выше пожилая женщина, на лавочку к которой присела уставшая исследовательница во время своей прогулки по окраине Курска, была недовольна «мусорящими» беженцами не только из-за «бескультурности» последних, но из-за того, что более аккуратные местные жители, вынужденные убирать за ними улицы, превращаются в их обслуживающий персонал (ж, около 65 лет, пенсионерка, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Валя, студентка университета, призналась, что ей встречались очень состоятельные беженцы, у которых «одна футболка пять тысяч стоит», поэтому у нее от беженцев какое-то «двойное ощущение». Несмотря на то, что сама Валя боялась возможности стать беженкой в случае прихода

войны в Курск, она продолжала с подозрением относиться к беженцам из курского приграничья (интервью, ж, около 23 лет, студентка и парикмахер, жительница Курска, онлайн, ноябрь 2024).

Мастерица педикюра из Игловки активно жаловалась нашей исследовательнице на местную администрацию, которая не спешит заботиться о жителях. Исследовательница попробовала было подхватить ее мысль и выразить сочувствие беженцам, которым приходится еще больше страдать из-за бездействия местных властей — но не нашла понимания у своей собеседницы. «Да все страдают, не только беженцы, — возразила ей мастерица педикюра. — Беженцам хотя бы выплатят, сертификаты дадут» (ж, около 40 лет, мастер педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). Похожие мысли высказывал и один из подвозивших исследовательницу водителей такси. На ее робкое замечание о том, что сертификаты обычно не покрывают всех жилищных потерь, он уверенно объяснил, что покупка городских квартир вместо «обычных деревенских домов» — никакая не потеря, а приобретение (м, около 40 лет, водитель такси, житель Курска, Курск, декабрь 2024).

Из этих разговоров становилось понятно, что и таксиста, и студентку Валу, и мастерицу педикюра обижало то, с каким вниманием и сочувствием исследовательницы относились к проблемам беженцев — ведь их собственные проблемы — проблемы местных жителей — не просто никуда не исчезли, но только увеличились с прибытием пострадавших от войны в их города и поселки. Мизерные зарплаты и раньше с трудом позволяли арендовать жилье, а теперь о собственной квартире можно было забыть. Городская администрация и раньше не стремилась благоустраивать общественное пространство, а теперь ей стало совсем не до того. И без того едва выносимые пробки увеличились в разы. Беженцы же, отчасти «виновные» в подобных трендах, на их глазах получали помощь — и даже бесплатное жилье — от государства. Все это, несмотря на некоторое человеческое сочувствие к страданию беженцев, только увеличивало социальную дистанцию между ними и остальными курянами.

Чужаки

Неудивительно поэтому, что многие наши собеседники, искренне сочувствуя пострадавшим жителям приграничья, тратя свое время и ресурсы на помощь им, при этом поглядывали на них с подозрением, типичным в отношении к любым *чужакам*.

Однажды исследовательница познакомилась с группой девушек и молодых людей в одном из курских баров. Во время их непринужденной беседы, которая касалась, среди прочего, повседневной жизни города, речь зашла и о беженцах. Один из молодых людей начал жаловаться на наплыв беженцев в Курске, вызвавший «пиздец на дорогах» и сделавший городской контингент «более деревенским». Когда его приятель назвал беженцев «быдлотой», «которая привыкла возле дома в деревне семечки лузгать», он согласился, пусть сам и не использовал настолько резких выражений. Этот же молодой человек, однако, несколькими минутами ранее делился сочувствием в адрес пострадавших жителей пограничья: «Началось вот это все в начале августа, я места себе не находил. Я еду домой мимо заправок, которая на въезде в город. А там люди на заправках просто спят». Он рассказал, как вместе со своими родственниками помог незнакомой семье беженцев, отремонтировал и предоставил в их пользование пустующий дом (м, около 25 лет, профессия неизвестна, житель Курска, Курск, октябрь 2024). Иными словами, этот молодой человек не был черствым, циничным, человеком, равнодушным к бедам своих соседей — скорее, наоборот. Но, как и многие другие, он с настороженностью относился к чужакам, чье неожиданное появление в городе к тому же привело к ряду новых городских проблем.

Именно так — в качестве чужаков, которые, как и военные, создают городские проблемы — воспринимали беженцев многие не пострадавшие напрямую от войны куряне. Причины их появления — российско-украинский конфликт и его обострение в регионе — как бы выносились местными жителями за скобки. Сочувствие и желание помочь беженцам были движимы общегуманистическими, а не идеологическими мотивами. А подозрение в их адрес, многочисленные негативно окрашенные эпитеты и полуфантастические истории о них были, по сути, чертами традиционных фольклорных сюжетов о чужаках. Например, сюжет о том, что беженцы не способны правильно утилизировать отходы и поэтому «мусорят где попало» или сюжет о беженцах как нечистоплотных алкоголиках повторялись из рассказа в рассказ. Подобные представления о «чужих» характерны для многих культур: «чужие», в отличие от «своих», плохо пахнут и ведут себя неподобающим образом. В этом смысле куряне, говорившие о некультурности и деревенских нравах беженцев, как бы подчеркивали, что беженцы им культурно чужды. И чуждость эта — не этническая или религиозная, а социальная. Для усиления этой дистанции некоторые наши собеседники приписывали беженцам покушение на святые. Именно поэтому, например, в рассказах Энджи беженцы занимались сексом не просто публично, но у вечного огня. Иными словами, они буквально оскверняли одну из главных святынь современного российского государства.

Выше мы уже писали, что несмотря на общий опыт утраты, солидарности между всеми пострадавшими от войны жителями приграничья не возникло. Тем более не возникло солидарности между ними и членами принявшего их сообщества — беженцы продолжали оставаться для последних чужими. С одной стороны, местные жители могли искренне сочувствовать и помогать беженцам в тех ситуациях, когда они воспринимали последних как похожих на себя, как обычных людей, живших прежде «нормальной» жизнью, но потерявших ее не по своей вине — этому посвящен [отдельный раздел](#) нашего отчета. С другой стороны, такое сочувствие не превращалось в солидарность, то есть готовность действовать совместно на основе сходства интересов или ценностей. Даже проявляя сочувствие и помогая беженцам, многие куряне старались дистанцироваться от их ежедневного переживания горя. Более того, в ряде ситуаций — особенно замечая, что беженцы увеличили нагрузку на и без того плохо функционирующую социальную систему и претендуют на и без того ограниченные ресурсы — члены принимающего сообщества фокусировались не на сходствах с беженцами, а на различиях с ними. Они приписывали беженцам ряд негативных качеств (некультурные, ленивые, алчные...) и делали их героями полуфантастических фольклорных историй: в них беженцы «ебались» на лавках и у Вечного огня, «срали» в медицинских кабинетах, никогда не мылись и вечно мусорили. Таким образом куряне риторически превращали нежданных гостей в по-настоящему «чужих» — точно так же, впрочем, как в чужаков часто превращаются другие группы, например, трудовые мигранты или беженцы из далеких стран. Факт, что эти люди были жителями того же региона и пострадали от ведущейся их страной войны, не играл большой роли в том, как члены принимающего сообщества судили о беженцах и относились к ним. Появись беженцы в Курске в мирное время — например, в результате природной катастрофы — палитра реакций, вероятно, была бы похожей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Война, пришедшая в Курскую область, не только не сплотила ее жителей, но, напротив, привнесла новые конфликты в их существование. Беда, которая могла бы стать общей, стала разъединяющей. С высоты птичьего полета небольшая относительно всей территории России Курская область может казаться регионом, захваченным войной полностью, — все куряне гораздо больше страдают от войны, чем, скажем, жители Ленинградской области, Урала или Владивостока. Но как только мы опускаемся вниз и

разглядываем область крупным планом, оказывается, что регион состоит из множества социальных групп, конкурирующих друг с другом за ограниченные ресурсы и признание в качестве пострадавших.

Куряне, живущие вдали от фронта, раздражены нагрузкой на свою социальную инфраструктуру, созданной беженцами, и зависимостью последних от чужой (в том числе их, рядовых курян) помощи. Беженцы из наиболее пострадавших от войны районов, в свою очередь, недовольны уравниванием в статусе с беженцами из менее пострадавших районов — им кажется, что они заслуживают большей поддержки, заботы и участия. Жители региона, таким образом, создают своего рода иерархию страдания и борются за «достойное» место в этой иерархии. Какой бы грустной ни была эта ситуация, она не уникальна для Курской области или России в целом: социологам как никому известно, что лишенные ресурсов люди, живущие не самой легкой жизнью, часто склонны обвинять в своих бедах не сильных мира сего, а таких же, как они — претендующих на те же самые ограниченные ресурсы.

Тем не менее, между разными группами курян возникало взаимное сочувствие и даже, в редких случаях, солидарность — просто они не были всеохватывающими и постоянными. Беженцы, рискуя жизнью, вывозили из-под обстрелов не только свои семьи, но и семьи своих соседей. Уже находясь в безопасности, они объединялись с соседями и односельчанами и делились друг с другом ресурсами — это ли не пример солидарности? Чувство близости, социального родства между соседями и земляками усиливалось в новой ситуации беженства — таким образом, само понятие «свои» становилось шире. Не пострадавшие от военных действий напрямую куряне, в свою очередь, несмотря на раздражение, собирали «гуманитарку» и шли волонтерить, пусть и только тогда, когда беженцы напоминали им таких же, как они, «нормальных» людей, пусть и отдавая при этом приоритет более близким им социально или географически (выходцам из когда-то родных деревень) группам беженцев. Любое расширение категории «своих» в деполитизированном и в целом атомизированном обществе — уже ценно.

ГЛАВА 4.

ВОЛОНТЕРЫ

ВВЕДЕНИЕ

 **В**оенное обострение в Курской области привело не только к появлению тысяч беженцев, но и к небывалому по меркам региона развитию волонтерства — несмотря на отношение многих не пострадавших от войны напрямую курян к беженцам как к маргинальной группе. Часть волонтерской инфраструктуры была создана государственными или окологосударственными учреждениями, поскольку государству было так или иначе необходимо решить «проблему беженцев». Другая часть являлась результатом самоорганизации снизу, а третья — разнообразными гибридами инициативы государственных чиновников и рядовых жителей. Кроме того, многие жители не доверяли государству и официальным организациям и пытались помогать беженцам самостоятельно. В этой главе мы попробуем разобраться в том, как возникли и эволюционировали центры и практики помощи беженцам.

О структуре и способах управления и финансирования мы можем судить главным образом по неформальным беседам с их сотрудниками и волонтерами — как коллегами наших исследовательниц, так и теми, кто повстречался им за пределами непосредственной работы в центрах. При этом мы, в первую очередь, анализируем впечатления и интерпретации наших собеседников, а иногда дополняем их данными из открытых источников — официальных сайтов центров, СМИ и социальных сетей. Практики же распределения помощи, взаимоотношения участников процесса и особенности работы волонтеров мы описываем не только со слов собеседников, но и на основании личного опыта участия исследовательниц в этих процессах и их наблюдений. Кроме того, в конце этой главы мы рассказываем про помощь беженцам, организованную рядовыми курянами в частном порядке.

1. ИНФРАСТРУКТУРА ПОМОЩИ

Наряду с неудачами российской армии на фронте в 2022 году, «частичной» мобилизацией или протестом жен мобилизованных, вторжение ВСУ в Курскую область стало серьезным вызовом для российского государства — испытанием на прочность и эффективность как его армии, так и его бюрократии. Эвакуация, расселение беженцев, гуманитарная помощь, компенсации за утраченное и разрушенное имущество — все эти новые задачи нужно было выполнять в авральном режиме. Как именно

складывалась организационная инфраструктура помощи беженцам и как она функционировала? Как государство управляло ею сверху, а волонтеры — поддерживали снизу?

Из многочисленных свидетельств наших собеседников-беженцев мы знаем, что государство не смогло быстро и эффективно организовать эвакуацию людей. Поэтому люди спасались своими силами, нередко объединившись с соседями и беря с собой только самые необходимые вещи. Когда стало понятно, что домой они вернуться не скоро, государство выплатило им **единоразовые суммы в размере 25 000 рублей**. За утраченное жилье полагалась выплата в 150 000 рублей — но получить ее было не так уж и просто. И только в феврале 2025 года, после неоднократных петиций и даже нескольких спонтанных митингов беженцев, президент пообещал последним ежемесячные **выплаты** в размере 60 000 рублей. Также государство пообещало выдать им жилищные сертификаты, которые можно будет обменять на новое жилье в будущем. До получения сертификатов беженцы могли поселиться в пунктах временного размещения (ПВР) или на частных квартирах, обычно оплачиваемых за свой счет. По нашим наблюдениям, в ПВР оказывались наиболее нуждающиеся: старики, болеющие, люди с ограниченными возможностями, многодетные. Остальные предпочитали или были вынуждены снимать квартиры либо селиться у родственников. И те, и другие стали регулярными посетителями центров гуманитарной помощи, где могли бесплатно получить продукты питания, гигиенические наборы и одежду.

Большинство таких центров представляли собой своеобразный гибрид бюрократической организации и самоорганизованной инициативы. При этом «волонтерами» в них называли как бюджетников и студентов, направленных государством для помощи беженцам «добровольно-принудительно», так и волонтеров-активистов.

Какими бывают помогающие организации

Рассказывая о разнообразных типах центров гуманитарной помощи, возникших в Курской области в августе-сентябре 2024 года, мы опираемся как на наблюдения и разговоры наших исследовательниц, так и на открытые данные — страницы центров в соцсетях, их официальные сайты и упоминания в СМИ. Наши исследовательницы работали в нескольких таких центрах, каждый из которых обладал своими уникальными особенностями. Кроме того, исследовательницы встречали волонтеров из других центров и расспрашивали об их работе: эти данные мы также используем для того, чтобы предложить следующую ниже классификацию.

Мы не указываем, в каких именно центрах и в какое время волонтерили наши исследовательницы, чтобы не подвергать риску ни их, ни их собеседников.

«Государственными» мы называем те центры, которые напрямую финансируются и управляются государственными инстанциями. Часто они располагаются в здании того или иного государственного учреждения. **«Благотворительными»** мы называем центры, в которых влияние государства хоть и внушительно, но не является прямым и абсолютным. Такие центры часто финансируются фондами и грантами, связанными, впрочем, именно с государством. Наконец, **«самоорганизованными»** мы называем волонтерские центры в подлинном смысле слова, которые управляются активистами и существуют на частные взносы и пожертвования.

В первые дни вторжения ВСУ в Курскую область в Курске начали стихийно возникать пункты раздачи гуманитарной помощи. По словам многих наших собеседников, самым известным был пункт, открывшийся в здании неформальной организации помощи бездомным. Именно туда стекались первые беженцы, образуя очереди из сотен человек. Там раздавали продукты питания, предметы гигиены, бытовую химию, одежду и так далее. Потом возникли и другие пункты, большинство из них — при ПВР. В открытых источниках нет данных об общем количестве пунктов, в которых пострадавшие жители приграничья могли получить помощь, но по свидетельству наших исследовательниц и рассказам их собеседников, уже спустя несколько недель это была целая сеть, состоящая из десятков организаций.

Некоторые из этих центров возникли на базе локальных НКО, занимающихся благотворительностью и работой с уязвимыми группами населения. Другие — на базе бюджетных учреждений по инициативе их работников или по распоряжению сверху (например, от профильных ведомств и министерств). К концу сентября 2024 года государство в той или иной мере контролировало всю инфраструктуру помощи, пусть и не полностью. Государственные инстанции выделяли средства, вели учет центров и ПВР, распределяли и направляли потоки гуманитарной помощи, идущей от граждан и организаций, отправляли школьников, студентов, бюджетников и активистов «Единой России» работать вместе с волонтерами. Волонтеры центров вели отчетность о выданной гуманитарной помощи.

«Благотворительные» центры, несмотря на их гибридный характер, а то и благодаря ему, могли быть больших размеров и помогать большому количеству беженцев. Так, один из них с первых дней военного обострения

в регионе принимал до тысячи человек в сутки. К началу сентября поток уменьшился до 300–400 человек в день, а еще через полтора месяца ситуация, по словам одного из работников центра, «стала более спокойной». Центр работал в две смены — утреннюю и вечернюю. Волонтеры, среди которых были и отправленные сюда своими руководителями студенты местного ПТУ, фиксировали информацию о посетителях в ведомости: имя, фамилия, паспортные данные, количество членов семьи. На основе этих сведений они определяли количество пакетов с едой и гигиеническими принадлежностями, которые полагались каждому. При необходимости беженцы могли попросить и другие вещи — подушки, детское питание, памперсы. После получения помощи волонтеры фотографировали беженцев с выданными наборами — по словам волонтеров, для отчетности перед теми, кого здесь называли «спонсорами». Помимо обычных продуктовых наборов в центр иногда поступали аккуратно упакованные наборы с продуктами известных брендов, качественными кашами и печеньем — эти наборы работники центра называли «губернаторскими» и считали более ценными. Волонтеры отмечали, что выдаются эти наборы по особым правилам.

Еще один «благотворительный» центр находился в сложных отношениях с государством. С одной стороны, он получал помощь от последнего (например, «волонтерскую» подмогу из бюджетных учреждений или информирование беженцев о существовании центра через официальные каналы). С другой стороны, он работал с большой долей автономии: волонтеры самостоятельно искали поставщиков гуманитарной помощи и спонсоров, а государственные чиновники никак не ограничивали деятельность волонтеров на месте. Через связь с благотворительным фондом центр получал небольшую государственную поддержку, но функционировал не столько за счет последней, сколько за счет активности и личных связей волонтеров, работавших в нем. Волонтеры центра старались выполнять бюрократические требования отчетности, но могли и легко их игнорировать, если это казалось им необходимым.

«Государственные» центры гуманитарной помощи, организованные по распоряжению администрации, почти не попали в фокус нашего внимания, поэтому мы мало что знаем об их работе. Такие центры, как правило, располагались в бюджетных учреждениях и функционировали преимущественно за счет административных ресурсов, а их волонтеры носили «униформу» с логотипами системных партий или других окологосударственных организаций. В одном из них даже была вооруженная охрана и турникеты, ограничивающие вход чужаков.

«Самоорганизованные» центры ожидаемо оказались наименее бюрократизированными организациями. Так, один из них, находящийся в Курске, функционировал за счет пожертвований простых граждан и симпатизантов независимой от государства организации, создавшей его. Государство не контролировало его работу. Волонтеры центра не фотографировали проходящих беженцев и не записывали выданные им вещи поштучно, а лишь просили каждого посетителя сосчитать и сообщить им общее количество взятых вещей. Администрация не содействовала этим центрам даже информационно — узнать про них можно было только с помощью сарафанного радио. При этом сами беженцы, совершая обходы всех известных им центров гуманитарной помощи в городе, не замечали существенных различий между «самоорганизованными» и поддерживаемыми государством центрами. Например, волонтерам одного из «самоорганизованных» центров приходилось регулярно объяснять посетителям, что в дополнительных бюрократических процедурах нет необходимости или что их центр не встроен в «общую базу» гуманитарной помощи.

Еще один «самоорганизованный» центр в числе первых принял на себя основной поток беженцев в августе 2024 года. Из-за того, что он был известен бесплатными обедами для бездомных, рядовые куряне поначалу интуитивно направляли растерянных беженцев именно туда. Более того, именно туда они сами начали приносить одежду, еду и другие вещи первой необходимости для беженцев.

Так или иначе, добровольное участие снизу и государственный контроль сверху сосуществовали во многих центрах гуманитарной помощи. А сами «волонтеры» могли быть как самоорганизованными активистами, так и людьми, «командированными» в центры государством на добровольно-принудительной основе. При этом между государственно-бюрократическим и самоорганизованным принципами раздачи гуманитарной помощи существовало напряжение. Конфликт этих принципов можно было увидеть, например, в истории учительницы Риты, открывшей центр гуманитарной помощи в спортивном зале бывшей младшей школы, в которой она работала, и по соседству с которой уже существовал ПВР. Рита «подняла на уши» своих знакомых и написала пост в группу их города с просьбой приносить еду и одежду в здание младшей школы. Люди принесли неожиданно много вещей, и оказалось, что в одиночку Рита не справляется с сортировкой. Тогда она позвала на помощь своих знакомых. Однако местному начальству не понравилась инициатива Риты. В результате, по ее словам, ей начали вставлять палки в колеса и даже сняли с должности — однако заниматься сбором и раздачей «гуманитарки» она не перестала. Государственные фонды, к

которым, по словам Риты, она и ее помощники обращались письменно, помощи так и не оказали — разве что органы опеки передали небольшую партию детской одежды (ж, около 40 лет, педагог, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Уже в октябре 2024 года часть центров гуманитарной помощи начала закрываться — или же получать меньше ресурсов, как от государственных учреждений, так и от рядовых курян. К зиме, по свидетельствам собеседников наших исследовательниц, закрылись еще несколько. Некоторые центры, тем не менее, продолжают работать и сейчас, осень 2025 года.

Государственное и низовое

Уже упоминавшаяся выше Рита много рассказывала нашей исследовательнице о своем личном взаимодействии с государством. Ее рассказы позволяют увидеть всю драматичность, с которой государственный и активистский подходы к помощи иногда сталкивались друг с другом. Вот так исследовательница описала один из разговоров с Ритой:

«Рита вздохнула и объяснила, что летом власти хотели закрыть этот пункт, а она была против. Она сказала, что в конце августа ей позвонил начальник управления образования и дал указание выгнать волонтеров. “Просто так. Сказал: ‘Выкинуть всех’. И они обиделись, конечно”. По ее словам, раньше тут все выглядело гораздо лучше: одежда была аккуратно разложена, помогали волонтеры, были медики. А теперь — все как есть» (ж, около 40 лет, педагог, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

«Низовое», «самоорганизованное» и «государственное», «бюрократическое» — это не только *наши* аналитические категории. Сами волонтеры в своей речи делили окружающий мир на «государственное» и «негосударственное». По этому принципу они классифицировали не только центры и людей, но и вещи. Например, рассуждая о знакомом ей ПВР в Игловке, жителей которого, по ее словам, «хотят переселить в ПВР в Ромашках», Рита объяснила: «Там помощь из Москвы, палатки, нормальные душевые кабины... А в Игловке — не гос» (ж, около 40 лет, педагог, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Между государством, инициативными волонтерами и частными спонсорами порой существовало эффективное разделение труда. Например, один из центров гуманитарной помощи, который мы классифицировали как «благотворительный», на первый взгляд выглядел

как «государственный». Благотворительный фонд, открывший его, судя по финансовой отчетности, доступной в открытых источниках, участвовал в госзакупках, а в сам центр «добровольно-принудительно» направлялись «волонтеры» из бюджетных учреждений. При этом львиная доля контроля за распределением гуманитарной помощи здесь была отдана на откуп бывшим беженцам, которые еще в августе 2024-го пришли туда помогать.

Государство и (около)государственные фонды порой даже вдохновляли самоорганизацию. Волонтерка Тамара из этого «благотворительного» центра, бывшая беженка, рассказала исследовательнице, что изначально у них в центре не было четкого распределения ролей. Однако после того, как между волонтерами пару раз вспыхнули рабочие конфликты, руководство из Фонда «назначило» эти роли, сделав Тамару главой команды. Так решили проблему конфликтов, что, впрочем, не привело к созданию новых иерархий — по свидетельствам из самых разных источников, в центре царил неформальная, почти семейная атмосфера. Спустя некоторое время Тамара научилась использовать свои социальные связи для того, чтобы привлекать необходимые центру ресурсы — вместо того, чтобы ждать помощи сверху, от государства.

Однако государство и (около)государственные фонды могут как способствовать самоорганизации, так и оказывать на работу центров «бюрократизирующее» воздействие. В целом характер финансирования и сам феномен спонсорства влиял на то, более «бюрократическим» и контролируемым сверху или «самоорганизованным» являлся тот или иной центр. Например, в еще одном «благотворительном» центре, сформированном на базе благотворительной организации, волонтеры вели большое количество отчетности и принимали группы студентов, отправленных в центр трудиться под надзором преподавателей — вот лишь несколько самых очевидных проявлений его связи с государством. Помимо благотворительной организации, существующей на государственные гранты, у центра был и коммерческий спонсор. Именно этот спонсор организовывал съемку рекламных роликов на территории центра, в которых волонтеры в фирменных спонсорских футболках должны были разгружать фуры с продуктами для «несчастливых бабушек», а получателям помощи требовалось «выглядеть счастливыми» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Иными словами, спонсорство само по себе, вне зависимости от того, насколько «государственными» по своему происхождению являлись средства, могло вести к эффектам «обязаловки». Более того, спонсорство усиливало впечатление непрозрачности, которую мы часто приписываем государственной бюрократии.

«Самоорганизованные» центры сталкивались с проблемами другого рода. Один из них, существовавший исключительно за счет частных пожертвований равнодушных людей, совсем не зависел от государства. Администрация города не помогала ему даже информационно, но беженцы все равно узнавали про его существование друг от друга. Центру постоянно не хватало финансовых средств — в том числе, чтоб продолжать платить за аренду помещения. На его примере мы видим, что не только бюрократическая непрозрачность, но и самоорганизация могла вести к замешательству среди беженцев: узнавая о проблемах центра с финансированием, многие удивлялись и задавали вопросы — им было трудно понять, что центр гуманитарной помощи может не быть частью государственной инфраструктуры.

Дело в том, что центры такого рода по инерции воспринимались беженцами как часть государства. Нередко это становилось почвой для эмоционального напряжения или даже открытых конфликтов между ними и волонтерами. Таково свойство всех без исключения центрам гуманитарной помощи, о которых наши исследовательницы знали либо на собственном опыте, либо из чьих-то подробных рассказов. Независимо от степени связи каждого конкретного центра с государством беженцы считали, что они имеют право требовать от волонтеров услуг и поддержки определенного качества — ведь они пострадали, а государство должно их защищать. Многие волонтеры, однако, воспринимали подобные требования как проявление неблагодарности и неуважения к их добровольному труду. Вот как наша исследовательница описывает один из подобных конфликтов:

«Из дверей центра вышла женщина с пакетом гуманитарной помощи в руках, громко жаловавшаяся на отсутствие чая в выданном ей продуктовом наборе. Волонтеры пытались ее успокоить, подчеркивая, что работают бесплатно и самостоятельно привозят все эти продукты. Женщина потребовала “главного”, и, когда тот появился, разгорелся еще более напряженный спор. “Главный волонтер” говорил о своих “усилиях”, “работе без зарплаты” и трудностях с обеспечением бесперебойной помощи. Постепенно беженка успокоилась и покинула территорию центра» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Исследовательница догнала эту беженку и завязала с ней разговор. Она выяснила, что женщину не убедили аргументы волонтеров — она все так же требовала от «государства» (представителем которого она продолжала

считать всякий центр гуманитарной помощи) достойно заботиться о ней, пострадавшей в приграничье и к тому же отправившей на войну своего сына.

Этот случай также демонстрирует двойственность, противоречивость государственно-добровольного характера многих центров гуманитарной помощи и ПВР. Споря с беженкой, «главный волонтер» выступал в роли волонтера-активиста, которым он в некоторой степени и являлся. Однако этот же человек, как показало даже беглое изучение доступной в сети информации, являлся директором государственного учреждения, в здании которого и находился центр. Во время наблюдаемого нашей исследовательницей конфликта он продолжал получать зарплату как руководитель учреждения, несмотря на то, что деятельность последнего была приостановлена на время работы центра. Более того, работа с беженцами прямо или косвенно позволила ему получить продвижение по карьере в местной администрации.

Военное обострение в Курской области стало испытанием не только для российской армии, но и для гражданской бюрократии, а также населения области в целом — было необходимо решать внезапную проблему беженцев. Развертывание инфраструктуры гуманитарной помощи потребовало от государства и общества напряжения усилий. Беженцы стали получать выплаты, государство также обещало им сертификаты на новое жилье взамен утраченного. Многие имели возможность поселиться в пунктах временного размещения и приходиться за едой, базовыми средствами гигиены и одеждой в центры гуманитарной помощи. При этом многим не хватало необходимых продуктов или предметов быта, а правила выдачи сертификатов были непонятными.

Центры гуманитарной помощи и пункты временного размещения беженцев можно условно разделить на три типа: «государственные», «самоорганизованные» и «благотворительные», то есть те, в которых контроль со стороны государства сосуществовал с усилиями волонтеров «снизу». В той или иной степени последнее было свойственно многим центрам. Интересно, что «государственный» характер центра не всегда означал большую бюрократизированность и препятствия настоящей, «низовой» активистской работе волонтеров. В большинстве известных нам центров и пунктов попытки чиновников контролировать происходящее и отчитываться перед начальством, желания спонсоров получить хорошую рекламу их «безвозмездного» вклада и необходимость оказать-таки помощь беженцам сосуществовали друг с другом. Их успешному сосуществованию

способствовали усилия волонтеров, причем не только тех, кто приходили в центры и пункты по зову души, но и тех, кто были отправлены туда в «добровольно-принудительном» порядке своим начальством. Иными словами, образ гражданского общества как некоего третьего сектора, существующего отдельно от государства и бизнеса, имеет слабое отношение к инфраструктуре помощи, родившейся в Курске в августе 2024 года.

2. ВОЛОНТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Итак, помощь беженцам в Курской области — это часто своеобразный гибрид бюрократического государственного управления, низовой самоорганизации и частной благотворительности. Такое сочетание разных принципов работы отражалось и на составе волонтеров, работающих в центрах гуманитарной помощи и пунктах временного размещения. Само слово «волонтер» указывает на добровольную (voluntary) активность. Однако, кроме добровольных волонтеров, наши исследовательницы регулярно встречали и волонтеров, присланных в центры «добровольно-принудительно» — государственными учреждениями. Кроме этого, важную роль в помощи беженцам играли... сами беженцы, которые становились волонтерами. В общем, за словом «волонтер» скрывались очень разные типы людей, помогавших и продолжающих помогать беженцам в Курской области. Поэтому в этом разделе мы представим типологию волонтеров.

Мы опишем как социальные группы и среды, к которым принадлежат волонтеры, так и их мотивы. Далеко не очевидно, что именно двигало людьми, пришедшими помогать в многочисленные центры гуманитарной помощи. Если они попали туда «по разнарядке», означало ли это, что они работали без энтузиазма и без сочувствия к беженцам? А если они сами являлись беженцами, что двигало ими — чувство долга, желание помочь товарищам по несчастью или, может быть, стремление оказать помощь «своим», землякам из родной деревни или городка? Появлялись ли в процессе волонтерства новые мотивации? Наконец, являлись ли подобные типы взаимоисключающими или бывали и смешанные типы волонтеров? Отвечая на эти вопросы, мы опираемся на разговоры наших исследовательниц с волонтерами и беженцами, а также на опыт волонтерства самих исследовательниц.

В Курской области беженцам помогали и продолжают помогать большое количество людей из разных социальных сред. Однако, там не случился «взрыв» волонтерства в том смысле, в каком об этом пишут в западных книгах про гражданское общество. Не похоже это было и на ситуации, в

которых люди со всех уголков России едут, к примеру, тушить пожары. Война — дело государственной важности, поэтому и часть волонтерства в Курской области была результатом государственного усилия и объектом ведомственного контроля. Таким образом, некоторые волонтеры являлись добровольцами, а некоторые — бюджетниками и студентами, которые оказались в центрах гуманитарной помощи «по разнарядке» от государства. Иными словами, рост волонтерства в Курской области сопровождался размыванием смысла волонтерской деятельности.

Вынужденные волонтеры

В «государственных» центрах гуманитарной помощи роль волонтеров часто играли студенты колледжей, учителя, медики, работники библиотек и других государственных учреждений. На волонтерство, в данном случае «добровольно-принудительное», их отправляли различные государственные институции. Иногда это были региональные министерства — как в случае Игоря, знакомство с которым наша исследовательница описывает в дневнике следующим образом:

«Игорь рассказал, что он артист — играет в клубе и иногда выступает в сельском доме культуры. На мой вопрос о том, как давно он волонтерит, он ответил, что всего пару недель и эта неделя у него последняя. Когда я поинтересовалась, пришел ли он сюда по собственной инициативе, он признался, что его направило Министерство культуры. Этот ответ заставил меня задуматься — он оказался здесь не совсем добровольно, как и многие другие» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Некоторые из вынужденных волонтеров были родом из приграничья или имели там близких родственников, но волонтерить приходили в силу дополнительной мотивации — например, чтобы повисить успеваемость или избежать споров и конфликтов с начальством.

В «благотворительном» центре, который, по нашей оценке, был одним из наиболее зависимых от господдержки, такие вынужденные волонтеры составляли больше половины работников, и осуществляли всю самую трудную рутинную деятельность. В другом «благотворительном» центре такие волонтеры тоже присутствовали, но в гораздо меньшем количестве. Они часто выполняли канцелярские задачи, а не физическую работу по сортировке гумпомощи или эмоциональную работу по общению с посетителями-беженцами.

Узнать о мотивации волонтеров мы могли не только задавая вопросы им самим, но и наблюдая за тем, как они воспринимали и оценивали своих коллег. Так, например, впервые увидев на пороге центра молодую девушку — нашу исследовательницу — несколько вынужденных волонтеров сразу решили, что она тоже «из колледжа» и что ее «направили». Дневник исследовательницы наполнен описаниями того, как неохотно работают в этом центре вынужденные волонтеры:

«Пока [студентки-волонтерки] подметали листья, они постоянно разговаривали друг с другом, без особого энтузиазма выполняя свою работу».

«Девочка быстро вернулась к телефону, мне кажется, она, как и большинство студентов-волонтеров, не хотела тут быть».

«“Добровольно-принудительный” характер волонтерской деятельности часто становился предметом иронии у самих волонтеров».

«Я завела с девочками разговор, пошутила: “Ну что, готовы к труду и обороне?” Кто-то ответил: “Нет”. Все засмеялись. Я еще раз отметила, как им лень волонтерить в центре» (все цитаты: центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

В ситуациях, когда вынужденных волонтеров было большинство, центр начинал видеться как пространство не участия и самоорганизации, а безразличия и разобщенности. Отсутствие «добровольной» мотивации могло влиять и на отношение волонтеров к беженцам — обязателька не располагала к солидарности и эмпатии:

«Девочки говорили, что им не нравится эта работа: приходится заполнять много бумаг, внимательно переписывать данные из документов и постоянно взаимодействовать с беженцами. Это утомительно, особенно потому, что некоторые беженцы жалуются, что им какие-то виды гуманитарной помощи не выдают, хотя, по их мнению, это им положено» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Недовольные «обязаловкой» студенты и работники бюджетной сферы пытались найти хоть какие-то преимущества в волонтерстве и порой не находили ничего лучше, чем радоваться, что это не они находятся в ситуации беженства. Наблюдая разговор группы женщин-вынужденных волонтеров, исследовательница записала:

«Я попыталась спровоцировать их на разговор и немного иронично спросила: “А вы тоже вынужденные волонтеры?” — используя формулировку, подслушанную ранее в этом центре. Одна из женщин средних лет согласилась: “Правильное слово — вынужденные”. А молодая женщина на каблучках с холодной и немного высокомерной интонацией добавила: “Лучше самим помогать, чем быть теми, кому нужна помощь”» (ж, около 40 и ж, около 20 лет, школьные учительницы, Курск, октябрь 2024).

Однако вынужденные волонтеры работали не совсем «вынужденно». Часто у них была внятная мотивация, правда, скорее прагматическая. Так, волонтеры-«бюджетники» зачастую получали деньги — не за волонтерство как таковое, а за рабочую нагрузку, в счет которой засчитывалось волонтерство. Например, Карина, вынужденная волонтерка, как-то обронила при нашей исследовательнице, мол, несмотря на то, что они тут «работают, помогают», зарплату им за это не платят. Но тут же добавила: «Платят оплату по нашей основной деятельности, по образованию» (ж, около 45 лет, школьная учительница, волонтерка, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). То есть, пока дети находились на удаленном обучении и выполняли часть школьной работы самостоятельно, их учителя помогали беженцам, сохраняя при этом свой оклад.

Вынужденные волонтеры могли также получать определенные бонусы в обмен на свой труд. Например, студентам колледжей и университетов обещали хорошие оценки и благосклонность преподавателей. Волонтерка Энджи призналась в разговоре с нашей исследовательницей, что если она «напортачит» — например, откажется от волонтерства — то испортит отношения с классной руководительницей и ее «красный диплом идет вон туда, на хуй, короче» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курской области, Курск, сентябрь 2024).

Одновременно у ряда вынужденных волонтеров мотивация к волонтерству являлась более комплексной и содержала элемент сочувствия землякам. Встречались среди них и своего рода активисты. Раз уж они стали помогать пострадавшим людям — хотя и не по личной инициативе — им хотелось, чтобы их труд был действительно полезным. Например, некоторые студенты колледжей проявляли инициативу по

оптимизации процессов раздачи гуманитарной помощи, тогда как их руководителям было как будто все равно. Вот как рассказывает об одном из таких эпизодов наша исследовательница:

«Пока мы занимались сортировкой, пакеты с крупой постоянно рвались, еда сыпалась на асфальт. Студенты воспринимали процесс как игру, и в итоге одна бойкая девочка придумала новую систему раздачи. Она была в футболке “Армия России” и неожиданно быстро навела порядок. У каждого палета — на каждой станции — она поставила человека, чтобы тот выдавал определенный продукт. Другая группа просто ходила вдоль палет, а ребята из первой группы клали им в пакеты нужные продукты. В начале конвейера она поставила человека, который выдавал пакеты, а в конце конвейера она поставила человека, который завязывал пакеты. Это сильно ускорило процесс, так как тем, кто носил пакеты, больше не нужно было каждый раз нагибаться или открывать коробки».

После этого исследовательница описала реакцию одной из профессиональных и наделенных реальной властью волонтерок центра, на это нововведение:

«Волонтерку это, кажется, не сильно волновало. Она никак нас за это не похвалила, даже не отметила, просто попросила дальше фотографировать беженцев на айпад» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Отдельный подвид вынужденного, но рационально мотивированного волонтерства — это волонтерство чиновников и других госслужащих, которые могли видеть в этой деятельности механизм карьерного роста. Наши исследовательницы встречали волонтеров-госслужащих, которые представляли себя как активистов, чуть ли не пожертвовавших работой, зарплатой и карьерой ради дела помощи беженцам. Позднее выяснялось, что в это самое время они работали руководителями учреждений, в зданиях которых располагались центры — а потом и вовсе превращались в начальников в каком-нибудь региональном ведомстве.

Тот факт, что эти волонтеры были направлены в центры гуманитарной помощи государственными учреждениями, не мешал им критиковать распределение ресурсов в центрах. В личных разговорах они обличали нелогичность и непрозрачность системы раздачи гумпомощи, а также выражали недовольство отношением некоторых профессиональных

волонтеров к беженцам. Фрагмент из этнографического дневника ниже описывает, например, реакцию вынужденной волонтерки Светы на действия профессиональной волонтерки Глории:

«Глория ответила, что рассыпавшуюся крупу тоже нужно класть в пакеты, мол, пусть беженцы потом сами собирают. Света, стоявшая рядом, закатила глаза, будто возмущаясь таким отношением к беженцам, а потом, обратившись ко мне, сказала что-то вроде: “Не хотите помогать, лучше не помогайте вообще”» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Именно добровольные, профессиональные волонтеры в этом центре — а не волонтеры вынужденные — часто проявляли равнодушие и пренебрежение к беженцам.

Крайне интересно, что волонтеры в самых разных центрах гуманитарной помощи критиковали волонтерство, если оно казалось им неискренним и «показушным» — даже когда они сами были частью «показушной» и непрозрачной системы раздачи гумпомощи. У последних эта критика обычно проявлялась не в открытом противостоянии с кем-либо, а в эмоциональных фразах без конкретного адресата, закатанных глазах или тихом саботаже «показухи». В дневнике одна из наших исследовательниц пишет:

«Нам нужно было надеть худи с логотипом компании и вынести пакеты для беженцев. Школьники делать это не хотели — почти все. Говорили что-то вроде: “Фу, какая показуха,” — так я поняла, что показушность выдачи гуманитарной помощи раздражает многих» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Таким образом, вынужденные волонтеры так или иначе осмыслили «добровольно-принудительный» характер своей активности, тем самым (пусть не явно и не прямо) указывая на ценность волонтерства более искреннего и самоорганизованного.

А что же подлинные, добровольные волонтеры, помогающие беженцам в Курской области? Их можно разделить на несколько подтипов.

Профессиональные волонтеры

Профессиональными мы называем волонтеров с многолетним опытом и регулярной вовлеченностью в волонтерскую деятельность. Для этих людей волонтерство стало второй работой или вообще вытеснило предыдущую работу. Наши исследовательницы часто встречали волонтеров такого типа среди формальных координаторов или неформальных лидеров центров гуманитарной помощи. До военного обострения в Курской области профессиональные волонтеры занимались помощью уязвимым группам населения: бездомным, людям с ограниченными возможностями, малоимущим, сиротам и многим другим. Когда в августе 2024 года улицы и общественные места Курска стали наполняться толпами растерянных беженцев, профессиональные волонтеры экстренно переориентировались на помощь им. Например, волонтеры одной из курских инициатив, известной своей помощью бездомным и людям, находящемуся в тяжелом финансовом положении, осенью-зимой 2024 года стали активно помогать беженцам. Со временем жители курского приграничья стали для этих волонтеров еще одной категорией нуждающихся, которых они курировали на регулярной основе.

Профессиональными волонтерами также можно назвать беженцев из Восточной Украины, которые переехали в регион в 2022 году. Еще тогда различные благотворительные фонды и организации помогли им устроиться на новом месте — и некоторые из беженцев так и остались вовлечены в их деятельность. Оплачивалась ли эта деятельность или оставалась «волонтерской» в полном смысле слова — мы не знаем. Нашим исследовательницам было сложнее всего завязывать разговоры именно с такого типа волонтерами.

К профессиональным волонтерам мы также отнесли и политизированных активистов, которые встречались нашим исследовательницам в «самоорганизованных» центрах гуманитарной помощи. Такие волонтеры, в отличие от многих, имели четкие антивоенные взгляды, считая, что именно Россия несет ответственность за вторжение ВСУ в Курскую область. Помощь беженцам — которая выглядела как политически нейтральная — являлась для них единственным доступным способом проявить свою позицию без риска привлечь к себе внимание репрессивных органов власти. Правда, за три месяца активной волонтерской работы усталость и эмоциональное выгорание настигло и их. Наша исследовательница регулярно заставляла их с измученными лицами. Как-то раз один из таких волонтеров спонтанно пустился в эмоциональное откровение, которое исследовательница зафиксировала в дневнике:

«Никто из беженцев не знал толком, что нужно считать вещи. Я проявила инициативу и начала у всех в очереди спрашивать, считают ли они вещи, и просить посчитать. Один дедушка долго тупил и не мог понять, как ему все посчитать. Когда толпа рассосалась, Костя тяжело вздохнул. С иронией в голосе Костя сказал, что вот так будет выглядеть “его персональный ад”. В нем будут постоянно открываться и закрываться двери, и он будет там находиться вечно» (м, около 22 лет, студент, волонтер, житель Курска, декабрь 2024).

В силу постоянной занятости и усталости профессиональных волонтеров, нашим исследовательницам удалось пообщаться с ними меньше, чем с остальными.

Волонтеры-беженцы

Нередко в центрах гуманитарной помощи волонтерили сами беженцы. Такие волонтеры обычно приходили получать помощь, а затем оставались в центрах, чтобы чем-то себя занять. Вторжение ВСУ отняло у многих жителей курского приграничья не только жилье, но и работу и хобби, которые прежде поддерживали их привычный образ жизни. Ежедневная активность и общение в рамках деятельности центров гуманитарной помощи позволили им восстановить — точнее, заново создать — повседневную рутину, наполнить свою жизнь ежедневной, осмысленной деятельностью.

В одном из центров наша исследовательница познакомилась с уже хорошо знакомой читателю волонтеркой Софьей Викторовной, которая сама оказалась беженкой. В августе 2024 года Софья Викторовна бежала из Суджи. Сначала она поселилась в маленькой съемной квартире вместе с сыном и его семьей, тоже беженцами, а затем переехала в ПВР, чтобы не мешать семье сына. Вместе с другой волонтеркой-беженкой Софья Викторовна приходила в центр каждый день его работы — зачастую задолго до официального времени открытия — и приводила в порядок его пространство. Однажды она призналась, что делает это потому, что ей «тяжко сидеть в ПВР». До вторжения ВСУ в Курскую область Софья Викторовна работала в суджанской школе. Однажды, помогая раздавать гуманитарную помощь, исследовательница услышала следующий диалог между Софьей Викторовной и одной из посетительниц:

«Беженка спросила, работает ли Софья Викторовна здесь. Та ответила, что “помогает” и что лучше здесь, чем “дома сидеть” и “плакать” из-за того, что она на седьмом десятке жизни “осталась ни с чем” (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, волонтерка, беженка, Игловка, декабрь 2024).

Наблюдая общение между волонтерами-беженцами, исследовательницы порой с удивлением — казалось бы, люди должны переживать горе — замечали наполняющее его веселье, шутки, подтрунивания друг над другом. Теплые дружеские отношения и моральная поддержка, складывающиеся иногда среди волонтеров-беженцев, имели своеобразный терапевтический эффект: если другие беженцы часто надеялись на возвращение их прошлой жизни такой, какой она была до вторжения ВСУ, то те, кто стали волонтерами, строили планы на новую жизнь в Курске.

При этом опыт беженства далеко не всегда подталкивал людей к вовлечению в дело взаимопомощи. Часто люди, пережившие страдания и лишения войны, предпочли бы отгородить свою повседневность от напоминаний о ней, если бы имели такую возможность. Вот как, например, описывает исследовательница свой разговор с вынужденной волонтеркой Светой, студенткой курского колледжа родом из приграничья:

«Пока мы докуривали за забором, я спросила Свету, пошла бы она волонтерить, если бы у нее был выбор. Она ответила, что находится в той же ситуации, что и беженцы: ей самой тяжело, ей сложно смотреть на все это и взаимодействовать с ними каждый день, но выбора у нее нет» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска родом из приграничья, Курск, сентябрь 2024).

Таким образом, можно осторожно предположить, что волонтерство в центрах гуманитарной помощи стало работающим способом адаптации к новой реальности для тех беженцев, которые не могли найти себе другого места или занятия в Курсе. Беженцы, уже включенные в какие-то социальные структуры (нашедшие работу или учебу), часто предпочитали абстрагироваться от войны.

Волонтеры-новички

Значительная часть курских волонтеров, помогавших беженцам из приграничья по личной инициативе, либо не имели опыта волонтерства, либо всего пару раз участвовали в далеких от военной тематики добровольческих активностях.

Некоторые из них начинали делать что-то для беженцев после того, как сталкивались с их бедами и страданиями. Так, однажды исследовательница разговорилась в баре в Курске с молодым парнем. Он рассказал, что «когда все это началось», он часто видел на заправках спящих беженцев и «не находил себе места». В какой-то момент он решил поселить семью беженцев «во второй дом», который пустовал у него на участке. Вместе со своей мамой и самими беженцами он начал обустраивать этот дом, чтобы в нем было комфортно жить. Он не был волонтером до вторжения ВСУ, а свое решение поселить беженцев к себе домой объяснил заботой о карме (м, около 25 лет, сотрудник сервисного центра, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Еще одна мотивация, свойственная некоторым волонтерам-новичкам, напоминала мотивацию волонтеров-беженцев — они хотели «чем-то себя занять», а также познакомиться с новыми людьми. Интересно, что эта мотивация не имела прямого отношения к «содержанию» волонтерства — помощи пострадавшим от войны. Например, именно так в центр гуманитарной помощи пришла тринадцатилетняя Даша: «Она рассказала, что сама решила пойти волонтерить, потому что ей не хватает общения — все из-за удаленки, которую ввели из-за вторжения в Курскую область», — записала в дневнике исследовательница (ж, 13 лет, школьница, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

Наконец, некоторые из волонтеров-новичков знали кого-то из приграничья лично или даже имели родственников оттуда — и, желая помочь близким, вовлекались в волонтерство. Так, рассуждая о своей помощи беженцам, волонтерка Вероника поделилась: «Заняться мне нечем, что ли? Да есть чем заняться. Вот, как-то находишь время. Из-за того, наверное, что много знакомых, друзей оттуда. Друг мой погиб...» (ж, около 35 лет, кинолог, волонтерка, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Что характерно, волонтеры-новички люди, как правило, стеснялись и не хотели называть себя «волонтерами». Та же Вероника призналась, что не считает себя волонтеркой, потому как волонтеры в ее понимании — это профессионалы и чуть ли не чиновники, помогающие всем, а она помогает только «своим». На вопрос исследовательницы, как же она себя тогда на-

зывает, Вероника ответила, что никак — она просто «помогает» не чужим для себя людям, ведь они приехали из ее родных мест. Исследовательница решила уточнить, почему она избегает слова «волонтер». Оказалось, что волонтер в понимании Вероники — это скорее образ жизни, который она не ведет (ж, около 35 лет, кинолог, волонтерка, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Среди волонтеров-новичков были и предприниматели, решившие помогать беженцам с началом военного обострения в регионе. Пообщавшись с хозяевами разных городских рекреационных заведений, например, баров, исследовательницы выяснили, что многие из них организовывали сборы гуманитарной помощи вместе с так называемыми «постоянниками» — постоянными клиентами. До вторжения ВСУ в область некоторые из них помогали и военным. Как, например, рассказала нашей исследовательнице работница местного бара Вика, когда город наполнился беженцами, она с родителями начала участвовать в сборах гуманитарки (ж, около 25 лет, барменка, волонтерка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Парадоксальным образом, волонтеры-новички, являясь в некотором смысле образцом волонтерства — то есть теми, кто воплощает образ «обычного человека», по зову сердца вовлекающегося в коллективное действие в ситуации всеобщей беды — в нашем случае оказались теми, кто порой как раз не считали себя волонтерами. Настоящими волонтерами для них были те, кого мы назвали волонтерами вынужденными. Более того, волонтеры-новички редко предлагали свои услуги центрам гуманитарной помощи — последние привлекали, в основном, волонтеров-профессионалов, вынужденных волонтеров и волонтеров-беженцев. Новички же предпочитали **помогать людям самостоятельно**, в частном порядке.

Меняющиеся мотивации

Описанные выше категории и подкатегории волонтеров — это не статичные группы. Некоторые наши собеседники могут быть причислены сразу к нескольким типам. В ходе волонтерской деятельности у таких людей могли развиваться новые мотивации, и тогда они превращались в «смешанный», гибридный тип волонтеров. Например, Аня и Милана, вынужденные волонтерки, направленные в центр гуманитарной помощи руководством мединститута, настолько вовлеклись в деятельность центра и подружились с волонтерками-беженками, что стали помогать добровольно. Они выполняли дополнительную работу и посещали центр гораздо чаще, чем требовала их «медицинская практика». Своими впечатлениями от работы они делились с исследовательницей:

«Милана рассказывала, что они вообще пришли как волонтеры-медики, но не могли усидеть на месте и потому приезжали помогать “девчонкам” — так она называла всех волонтерок-беженок, хотя многие из них по возрасту годились ей в бабушки. Аня пояснила, что по расписанию они должны были быть здесь три раза в неделю, но на деле приходили каждый день. Милана добавила, что обе они проводили здесь дольше времени и приходили раньше других» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Когда исследовательница поинтересовалась, занимались ли они волонтерством раньше, обе девушки ответили отрицательно. Милана при этом добавила, что коллектив у них особенный, все волонтеры здесь как семья, и приходиться сюда для них сродни празднику. По ее словам, даже если вскоре им скажут, что волонтерство окончено, они все равно попытаются сохранить сложившуюся команду и продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Интересно, что до знакомства с беженками в самом центре у Ани и Миланы не было знакомых или родственников из приграничья — обе они приехали учиться в Курск из других регионов. Однако ежедневное и эмоциональное общение с волонтерками-беженками заставило их начать искренне сочувствовать пострадавшим.

Карина, которую исследовательница встретила в центре, расположившемся в здании учебного учреждения, где та работала учительницей, тоже поначалу была типичной вынужденной волонтеркой. Она помогала беженцам, следуя распоряжению начальства. Однако постепенно, в своем стремлении сделать жизнь беженцев, особенно детей и пожилых, как можно более «нормальной» и полноценной, она стала напоминать добровольную волонтерку-новичка. Ее самоотдача в заботе о беженцах и даже некоторый перфекционизм в организации как будней, так и праздников, казалось, не только сделал ее похожей на волонтерку в подлинном смысле слова, но и преобразил как педагога. Постепенное «прикипание» к детям-беженцам сделало ее не только учительницей, но также учительницей-активистской.

Таким образом, опыт помощи беженцам стал важной частью жизни для некоторых волонтеров, даже если изначально они не имели мотивации к безвозмездной помощи другим. На примере историй таких людей можно увидеть, как вторжение в Курскую область преобразовывало общественную жизнь курян, несмотря на общий дефицит солидарности с беженцами-переселенцами.

Итак, в центрах гуманитарной помощи и пунктах временного размещения беженцев «волонтерами» называли как пришедших добровольно, так и студентов и бюджетников, которых помогать направило государство. При этом, вынужденные волонтеры не обязательно работали исключительно «из-под палки». Во-первых, у них могли быть прагматические мотивы, такие как улучшение успеваемости или карьерный рост. Во-вторых, в ходе работы в них могло просыпаться искреннее желание сделать жизнь беженцев лучше. В то же время, волонтеры в собственном смысле слова, то есть те, кто стали оказывать помощь беженцам по своей воле и безвозмездно, делились на три группы. Среди них были профессиональные волонтеры, обладающие серьезным опытом волонтерской деятельности или (около) политического активизма; беженцы, желающие помочь таким же, как они сами; и новички, обычно предпочитавшие помогать не через организации, а через личные неформальные знакомства с пострадавшими.

Наиболее солидарные и устойчивые отношения между волонтерами, а также волонтерами и беженцами, формировались там, где активную роль играли сами беженцы, превращая помощь в средство восстановления утраченных социальных связей и повседневности как таковой. Личная вовлеченность волонтеров часто усиливалась благодаря межличностным отношениям и чувству принадлежности к общему делу, а не изначальной мотивации. Независимо от мотивов, многие волонтеры критиковали «показушные» формы помощи, транслировали ценности искренности и горизонтальной взаимопомощи — что можно интерпретировать как запрос на низовое гражданское общество.

3. ЗА ДВЕРЯМИ ЦЕНТРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Центры гуманитарной помощи и пункты временного размещения беженцев, появившиеся в Курской области после вторжения ВСУ, стали местом встречи разных людей и пересечения разных миров. Тут сталкивались и взаимодействовали государственная бюрократия и стихийные инициативы, беженцы и волонтеры, чиновники и активисты. В этом разделе мы предлагаем читателю набор сюжетов и историй о жизни гуманитарных центров, составленный на основе этнографических наблюдений наших исследовательниц. Мы анонимизируем не только людей, но и центры, избегая указания на их местонахождение и другие детали. Такой подход позволяет, с одной стороны, показать, как устроена повседневная жизнь волонтеров в условиях войны, а с другой — не нарушить анонимность

и безопасность участников наблюдений. Мы будем говорить о рутине, эмоциях и человеческих отношениях, которые складывались в этих пространствах.

Ситуативные иерархии

Во всех центрах, где работали наши исследовательницы, существовала иерархия, но ее форма и степень жесткости зависели от типа учреждения. В «государственных» пунктах временного размещения и центрах при госструктурах иерархия приобретала более формальный характер: так, здесь были директор или директриса, которые держали связь с местными вышестоящими чиновниками и контролировали работу в целом, но редко были на месте и не всегда участвовали в непосредственном распределении задач. Власть таких директоров и директрис не была абсолютной: многое зависело от самих волонтеров — тех, кто работал больше и лучше знал внутренние правила, а подчас и создавал их.

В более «самоорганизованных» центрах должность администратора или директора вообще отсутствовала. На первый план выходили инициативные волонтеры — кто-то из них брал на себя бумажную работу, кто-то, чаще всего женщины, оказывались распределителями обязанностей и, как следствие, принимали решение о распределении помощи. Иными словами, иерархии в центрах такого типа были ситуативны и зависели от того, кто именно находился в помещении в данный момент, какие задачи возникали перед волонтерами, и кто был готов взять на себя ответственность.

Описывая распределение работы между волонтерами, обе исследовательницы часто выделяли «основных», или «главных», волонтеров — тех, кто работали дольше других, иногда носили униформу или бейджи и всегда лучше других знали, как устроен процесс. Поскольку наши исследовательницы приходили волонтерить в качестве инициативных новичков, они наблюдали, как даже в небольших центрах формировалась эта роль: «основные» волонтеры брали на себя руководство новичками и организовывали их работу.

Кроме волонтеров в привычном смысле, то есть добровольцев, мы встретили в центрах и **вынужденных волонтеров**. Среди них, например, были студенты местных колледжей, которых направили волонтерить «по разнарядке». Часто они приходили в центры, не демонстрируя рвения к работе, с телефоном в руках, и только постепенно втягивались в процесс. Например, такую запись наша исследовательница сделала в своем дневнике, наблюдая за деятельностью вынужденных волонтеров:

«Студенты болтали о своем, делая работу без особого энтузиазма... В целом вся группа общалась на свои подростковые темы, но на работу никто особенно не бросался» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Вынужденными волонтерами также являлись и сотрудники бюджетных организаций, для которых работа в центре была дополнительной обязанностью, не всегда совпадающей с их личными интересами. Впрочем, вынужденность не всегда означала отсутствие искреннего желания помочь: в одном из центров исследовательница познакомилась со студентками медучилища, которые попали туда по принуждению руководства учебного заведения, но на деле оказались по-настоящему вовлеченными и помогли наравне с другими волонтерами.

Отношения между «основными» и другими участниками центров почти никогда не были выстроены как отношения начальников и подчиненных. Распоряжения «основных волонтеров» представляли собой скорее напоминания вроде «сходить отметитья», «разобрать вещи», «поднести коробки», чем твердые приказы. Например, однажды наша исследовательница непринужденно беседовала с Марией — преподавательницей местного колледжа, которая приходила в центр как ответственная за группу своих студентов: «Разговор вскоре прервался, так как меня и Марию окликнул кто-то из основных волонтеров. Я поняла только, что ей сказали взять студентов и пойти отмечаться — скоро завершалась их смена» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Если в некоторых центрах гуманитарной помощи наши исследовательницы наблюдали волонтеров в униформе, регулярно заполняющих ведомости, и охраняемых вооруженными людьми, в других все держалось на спонтанных решениях нескольких человек. Вот как исследовательница описывает один из таких центров, где вся «отчетность» сводилась к фиксации выданных вещей двумя уставшими волонтерами: «Беженцы, которые уже набрали вещи, подходили к Андрею и Косте, называли количество взятых вещей, а парни записывали названное количество в свой журнал напротив их фамилий» (центр гуманитарной помощи, Курск, ноябрь 2024).

Таким образом, иерархии в центрах гуманитарной помощи почти никогда не являлись жесткими или формализованными. Они проявлялись через различие статусов волонтеров («основные» — **вынужденные** — добровольные **волонтеры-новички**) и через повседневное разделение труда. В одних центрах наверху неформальной иерархии находились

те, кто контролировали процесс и вели ведомости, в других — те, кто обладали личной харизмой и опытом, а третьих — те, кто обеспечивали поддержание порядка и саму возможность продолжать работу.

Ежедневные задачи

День в центре гуманитарной помощи мог начинаться по-разному и в разное время — в зависимости от режима работы центра, от задач, от объемов предоставляемой помощи, от типа организации. Но чаще всего для волонтеров он начинался не по звонку и не по расписанию.

Часть волонтеров всегда приходила задолго до официального открытия центра — эти люди привыкли начинать работу раньше и знали, что утром всегда накапливается много дел: нужно разобрать новые коробки с «гуманитаркой», подготовить пустые стеллажи, перенести в нужные места мешки с одеждой. Нередко именно среди таких волонтеров встречались женщины-беженки. Так, в одном из центров гуманитарной помощи наша исследовательница встретила Софью Викторовну и Светлану — они поддерживали в центре порядок и организовывали выдачу помощи. Однажды, придя в центр к самому его открытию, исследовательница заметила, что мешки с одеждой, оставленные с вечера, уже разобраны:

«Неужели Софья и Светлана все успели сделать одни? Как давно они тут?» — подумала я и спросила их: «Вы сегодня во сколько начали работать?». Они ответили, что пришли часа полтора назад, и за час успели все мешки разобрать. Я спросила, почему же они не позвали меня раньше, а сказали приходить только к 14? Софья Викторовна ответила: «Ты, может, занята. А мы что, мы беженцы. Нам делать нечего»» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Другие волонтеры обычно появлялись ко времени, к которому их вызвали. Среди них были те самые **вынужденные волонтеры**, то есть студенты и бюджетники. Часто среди них же оказывались наши исследовательницы — инициативные новички.

Как бы то ни было, первое впечатление пришедшего утром в центр волонтера — это хаос. Коридоры завалены коробками, часть из которых осталась неразобранной со вчерашнего дня. Стеллажи и полки для хранения одежды напоминали прилавки на рынке, в которых уже успела

покопаться добрая сотня людей. Где-то валялись детские ботинки, где-то были разложены наборы с едой, которые вчера не успели выдать, а у входа горой стояли пустые коробки.

Ежедневная и не особенно приятная для волонтеров рутина — это разбирать завалы и наводить порядок, аккуратно раскладывая вещи по определенным правилам. То, какими будут эти правила, обычно решали «основные» волонтеры, которые и задавали весь процесс работы. Вот как одна из исследовательниц описывает начало рабочего дня:

«Я начала раскладывать верхнюю одежду — женские пуховики в одну сторону, мужские куртки в другую, детские вещи в третью, женские пальто тоже отдельно. Так мне сказала делать Софья Викторовна. Это было очень непросто, потому что абсолютно все со всем было перемешано. Светлана пояснила, что каждый раз приходится раскладывать все заново, но это неизбежно, потому что “не пороешься хорошенько в этих развалах — не найдешь себе ничего”» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Похожую картину наблюдала другая исследовательница в центре, где значительная часть работы также была сосредоточена вокруг склада с одеждой — сюда приходили беженцы, перебирали вещи и брали себе что-то подходящее:

«Потом Рита предложила: “Давай немножко посортируем”. Сама я не знала, по какому принципу эта сортировка производится, и в принципе здесь был сильный беспорядок. По сути, я просто поднимала вещь, спрашивала, куда ее положить, и перекладывала туда, куда скажет Рита. Вещи, в основном, были самые обычные. Особенно много было детской одежды — в коробках, на столах, на полу. <...> Я продолжала раскладывать вещи, но это было почти нереально — все лежало вразнобой, и как бы я ни старалась, порядок держался едва-едва» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

В своих дневниках наши исследовательницы подробно описывают такой труд, который к тому же редко попадал в поле зрения внешнего наблюдателя. Этот труд обычно не приносил видимой отдачи — как показывает, например, диалог нашей исследовательницы с одной из волонтерок:

«Мы продолжали раскладывать вещи в зале, где в основном была женская одежда. Я спросила Аню, что в ее волонтерской работе здесь самое трудное, или неприятное, — что-то, что ей не нравится. Она сказала: “Не очень приятно, когда вот в конце дня все вещи опять вот так перемешаны и разбросаны”. Я очень живо согласилась с ней. За все эти дни, что я волонтерила в этом и другом центрах, это было самым неприятным и фрустрирующим занятием» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Эта рутинная работа превращалась в сизифов труд — рассортированные и разложенные с утра вещи снова оказывались в беспорядке уже к вечеру. Одновременно волонтеры регулярно говорили, что подобного хаоса не избежать — им в любом случае нужно наводить порядок, а беженцы все равно будут «копаться в вещах», чтобы найти что-то подходящее для себя.

В центрах, где помощь беженцам была более разнообразной, чем выдача одежды, существовали и другие практики, которыми волонтеры обычно занимались в первой половине дня: сборка продуктовых наборов для беженцев, сортировка присланных в качестве гуманитарной помощи предметов и вещей, уборка. Как-то раз наша исследовательница участвовала в сборке «суповых наборов»: «нужно было раскладывать овощи в целлофановые пакеты, завязывать и складывать в общую стопку» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). В другой день вместе с вынужденными волонтерами она собирала пищевые и гигиенические наборы для беженцев:

«Вдоль забора стояли палеты, на которых были разложены коробки с разными товарами. Гигиенический набор — это зубная паста, шампунь, мыло, стиральный порошок. Пищевой набор — в основном крупы, консервы, чай, печенье, масло, мука, сахар. Процесс сортировки работал очень просто: берешь один пакет, вкладываешь его в другой для прочности и идешь вдоль ряда палет, складывая в пакет по одной позиции из каждой коробки. Затем пакет с собранным гуманитарным набором завязываешь и относишь его на пункт выдачи беженцам» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

На первый взгляд, подобная работа отличалась от «бессмысленной» сортировки одежды, которая вскоре снова оказывалась в беспорядке: у нее была понятная цель и очевидный, наблюдаемый результат. Однако в

некоторых ситуациях и такие задачи становились бессмысленными в глазах волонтеров (и исследовательниц) — например, когда наборы должны были собираться не для беженцев, а для спонсоров:

«Нас попросили собрать 18 специальных наборов для фотоотчетов спонсорам. Сначала я собирала гуманитарные пакеты в обычные черные мешки, а потом вместе с Глорией перекладывала их в красивые бумажные пакеты — чисто для отчета спонсорам. Даже вдвоем аккуратно втискивать готовые наборы в бумажные пакеты было неудобно: они легко рвались, процесс занимал много времени и не приносил никакой реальной пользы — только выглядело эстетичнее. Я подумала, что это ужасно глупое и бесполезное занятие» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Таким образом, повседневная рутина оказывалась тесно связана с тем, насколько организованным и обоснованным был процесс в целом. В том числе от этого зависело, воспринималась ли работа как осмысленная. Отсюда — переход к более общему вопросу: как была устроена организация центров и какую роль в ней играли сами волонтеры.

Организация процесса и власть волонтеров

Рутина и хаос, сменявшие друг друга в решении повседневных задач, были отражением более широкой проблемы — организации процесса и распределения власти внутри центров. В небольших центрах плохая координация работы почти не ощущалась: поток беженцев был невелик, и работа шла без особых сбоев. В крупных же центрах отсутствие четкой системы сортировки, фасовки и выдачи гуманитарной помощи усиливало нагрузку на волонтеров и создавало атмосферу неразберихи.

Поток беженцев в центрах гуманитарной помощи был постоянным, а ресурсы волонтеров — ограниченными. Всегда не хватало обуви больших размеров, теплые куртки расходились за считанные минуты, подушки, одеяла, раскладушки считались дефицитом, не всем доставались продуктовые наборы. В одних центрах преобладала строгая бюрократическая логика: учет, ведомости, очередь. В других процесс был менее формализованным, а распределение ресурсов отдавалось на откуп волонтерам. Тем не менее, даже в крупных бюрократизированных центрах как минимум у «основных» волонтеров была возможность напрямую влиять на распределение помощи.

Случай, описанный в дневнике одной из исследовательниц, хорошо иллюстрирует, насколько гибкими могли быть формальные правила. Он произошел со Светой, вынужденной волонтеркой-студенткой, с которой исследовательница подружилась и иногда проводила вместе рабочие часы и перерывы. Родители Светы бежали из приграничья после вторжения ВСУ, а у нее самой уже была курская прописка, и она не могла претендовать на получение гуманитарной помощи. Однажды Света подошла к одной из «основных» волонтерок, Регине, и спросила, может ли она получить помощь за своих родителей: «У них нет возможности приехать. Отец работает, мать не поедет сюда одна, чтобы на автобусе потом вот с этими вещами тащиться через весь город» (ж, 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска родом из приграничья, Курск, сентябрь 2024). Регина четко ответила, что помощь можно получить «только по факту» — это было формальное правило этого центра, и, видимо, она решила не делать исключений даже для волонтерок, работавших здесь. Тем не менее, когда Света все-таки привела родителей — они приехали как раз во время ее волонтерской смены в центре — Регина удивилась и сказала: «А зачем ты их притащила? Я бы тебе и так дала» (ж, около 35, профессия неизвестна, волонтерка, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024). Исследовательница описала реакцию Светы следующим образом:

«Света не сказала прямо, что ее это задело, но по тому, как она пересказывала взаимодействие с Региной и по ее тону было понятно, что она злилась. По всей видимости, ее разозлило не столько само правило “по факту присутствия”, но и то, что его легко можно было бы обойти, но почему-то с ней этого не случилось» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Мы не знаем, почему Регина отказала Свете, когда та просила ее выдать ей гуманитарную помощь для родителей. Но очевидно, что правило, которое Регина сначала представила как неукоснительное, на практике оказалось гибким — Регина сама решала, в какой ситуации применять это правило, а в какой игнорировать его.

Между тем, у взаимодействия Светы и Регины было продолжение. После того, как родителям Светы дали стандартные продуктовый и гигиенический наборы гуманитарной помощи, самой Свете Регина протянула новый смартфон:

«Она попросила записать видео с благодарностью спонсорам. В руках у нее был тот самый планшет, на который обычно снимают фотоотчеты. Регина объясняла Свете, что надо всего на пару

минут сказать что-то вроде: “Я такая-то, из такого-то района благодарю этот центр выдачи помощи и спонсоров за то, что мне в качестве гуманитарной помощи выдали телефон, чтобы я могла учиться”. Когда Регина инструктировала Свету, мне показалось, что Света сейчас ей врежет. Но она просто сказала, что не будет записывать благодарность. Регина попыталась ее уговорить: “Это не страшно, всего минутка, тебе жалко, что ли?” Но Света молчала» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

В результате светина мама, присутствовавшая при этом разговоре, предложила записать видео вместо нее, и они все-таки получили смартфон.

Интересно, что, по наблюдениям нашей исследовательницы, смартфоны в этом центре выдавались далеко не всем. Исследовательница так и не смогла обнаружить какого-либо принципа, стоящего за этим — не то, чтобы их получали только семьи с детьми, или люди с особой потребностью в доступе к интернету, или даже знакомые «основных» волонтеров. Смартфоны выдавали выборочно, но всегда в обмен на видео с благодарностями. Во фрагменте из дневника ниже исследовательница рассказывает, как подобные просьбы порой вызвали смущение или даже недовольство посетителей:

«Одному из беженцев предложили взять смартфон, но он отказался, узнав, что для этого нужно сняться на видео для отчета. Я не расслышала, как именно он обосновал свой отказ — только заметила, как он махнул рукой, что-то пробормотал и сердито ушел. Когда он ушел, я услышала, как Регина сказала: “Он ради телефона детям не хочет двух слов сказать — да я бы ради телефона детям 30 слов бы сказала”» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Избирательная выдача особо ценных предметов гуманитарной помощи или требования записать видео с благодарностью спонсорам вовсе не означали, впрочем, отсутствия желания помогать беженцам. Дело в том, что сами волонтеры часто были поставлены перед необходимостью отчитываться «наверх», что делало их поведение более прагматичным. Кроме того, иногда сам опыт взаимодействия с беженцами настраивал волонтеров на более циничное отношение к процессу. Так, однажды исследовательница пожалела пожилую женщину, которая просила подушку и одеяло. Их выдача в тот день уже закончилась, хотя некоторое их количество все еще оставалось на складе. Однако опытная волонтерка Глория назидательно заметила: «Мы уже выдали все, что у нас было

на выдаче. Сейчас ты выдашь этой бабушке — тебя кончат, — по всей видимости имея в виду предполагаемую реакцию других посетителей-беженцев. — Скажут: “Слышь, а нам? Еще иди поищи”» (ж, около 35 лет, профессия неизвестна, волонтерка, жительница Курска, сентябрь 2024).

Похожие реакции «основных» волонтеров можно было встретить и в других центрах, в том числе «самоорганизованных». В одном из них продуктовые наборы выдавались только по пятницам. Однажды во вторник, ближе к закрытию пункта, в него заглянула женщина старшего возраста — казалось, ей было сложно подняться на третий этаж и вообще она, с ее слов, едва нашла входную дверь. Сначала волонтеры предложили ей посмотреть одежду — в этот день можно было взять только ее. Женщина ответила, что одежда ей особенно не нужна, но вот продукты — было бы хорошо: «Я бабка старая, одежда уже какая есть. А кушать хочется» (ж, около 75 лет, пенсионерка, беженка, Курск, ноябрь 2024). В ответ на это один из волонтеров, Андрей, вынес ей продуктовый набор — в подсобке оставалось несколько таких наборов с прошлой пятницы. Когда женщина после долгих благодарностей ушла, другой волонтер, Костя, раздраженно проговорил: «Вот ты зачем это сделал? Она второй раз приходит не в тот день и просит продукты. Если в этом нет дисциплины, то и смысла нет. Так все будут приходить и в любой день просить. А мы не можем так работать» (м, около 22 лет, студент, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Мы видим, что повседневные ситуации ставили волонтеров перед необходимостью постоянно принимать решения о том, кому, как и когда полагалась помощь. И порой в этом процессе принятия решений волонтеры выдавали помощь самим себе и своим знакомым. Иногда исследовательницы фиксировали такие наблюдения в дневниках как догадки: «Пришла новая беженка, женщина средних лет, завхоз сразу выдала ей четыре набора гигиены и еще крупу, не отметив это в ведомости. Мне показалось, что она тут кого-то знает и получила все это по блату» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Следующее наблюдение той же исследовательницы демонстрирует, что выдача «гуманитарки» без фиксации в ведомости не являлась в этом центре редкостью, и одновременно нарушала формальные правила:

«Голос завхоза громко произнес: “У нас недостача 38 чайников”. Я начала задумываться, что происходит: либо волонтеры потихоньку берут гуманитарку для себя, либо какая-то часть выдачи просто не фиксируется. Хотя, возможно, это просто обычное разгильдяйство» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024).

Власть волонтеров проявлялась не только в том, что они могли помогать «своим» и отказывать беженцам в выдаче дефицитных ресурсов, чтобы избежать конфликтов, но и в практиковании «человеческого подхода». Например, волонтеры старались запоминать потребности конкретных людей: кто-то уже давно искал обувь 45-го размера, а у кого-то было трое детей, нуждающихся в определенной одежде, кому-то стоило отложить побольше носков, а кто-то спрашивал о конкретной книге. В глазах исследовательниц это выглядело как маленькие островки искренней заботы в море рутины. Одна из них описывает в дневнике такой эпизод:

«Мы стояли в комнате с мешками, в которых было б/у постельное белье, и раскладывали его по комплектам. Вдруг из одного мешка Светлана достала халат, покрутила его в руках и спросила нас с Софьей Викторовной: “Это женский или мужской?” Мы посмотрели и решили, что мужской. Светлана пояснила, что один мужчина, которого тут же вспомнила и Софья Викторовна, ищет халат: “Не знаю пойдет он ему?”. Софья внимательно разглядела найденный халат и ответила: “Ну отложим, посмотрит”» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Занимаясь своими повседневными делами в центре, волонтеры часто вспоминали о конкретных посетителях-беженцах и откладывали для них нужные вещи. Периодически это касалось и новых предметов хорошего качества, которые в гуманитарных центрах считались по-настоящему редкими и сохранялись для тех, кто нуждался больше других. Например, наша исследовательница наблюдала такой эпизод во время сортировки одежды:

«Аня взяла попавшуюся ей новую куртку со словами: “О! Отличная куртка!” Я и Милана согласились с ней. Аня сказала, что ее быстро заберут “с руками и ногами”, Милана ответила, что надо оставить, то есть, отложить “кому-нибудь на мамочек, которые придут без нихуя”. В ответ Аня предположила, что “мамочка не влезет”, а Милана парировала: “молодая мамочка влезет” — и вспомнила про Веронику, молодую женщину, у которой несколько детей, а муж на фронте. Я спросила: “Это ваша знакомая?”, а она ответила, что нет, это просто девушка, которая одна с детьми, ей тяжело, надо хотя бы курточку отложить» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Таким образом, власть, которая была у волонтеров, проявлялась очень по-разному: в одних ситуациях она способствовала солидарности и «человеческому подходу», а в других — вела к nepoтизму и избирательному применению правил.

Эмоциональное напряжение и забота

Работа в центрах гуманитарной помощи была связана не только с физической усталостью, но и с постоянным эмоциональным напряжением. Посетители приходили в центры со своими историями, часто тяжелыми и болезненными. Волонтерам, и исследовательницам в их числе, приходилось быть не только «раздатчиками ресурсов», но и теми, кто слушает и вникает в истории о чужой боли. Помогая подбирать одежду или выдавая продуктовые наборы, волонтеры часто — и не всегда по своей воле — оказывались вовлечены в разговоры о горе и его переживании. Они становились свидетелями личных тревог и надежд беженцев. Эмоциональное напряжение усиливалось, когда речь заходила о травмах или болезнях последних. Хорошо знакомая нам волонтерка Рита, например, особенно сочувствовала постоянному посетителю центра Олегу, который сильно пострадал при обстреле:

«Рита сообщила мне, что у него очень сильно обгорели ноги при эвакуации, и сейчас он может ходить только в тапочках — бинты на ногах не дают носить нормальную обувь. Но скоро зима, а значит, ему нужно будет что-то теплое и широкое, чтобы не натирало и не сдавливало ожоги... Потом она добавила: “Ну, слава богу, хоть подлечили”» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

Такие истории вызывали сочувствие у волонтеров, но одновременно способствовали накоплению их усталости. Особенно это бросалось в глаза в небольших центрах, где волонтеров было немного и они находились ближе к людям: здесь разговоры о доме, войне, болезнях звучали чаще, и это увеличивало эмоциональную нагрузку.

Взаимодействие между волонтерами и беженцами в центрах гуманитарной помощи постоянно балансировало между заботой и напряжением. Последнее тоже возникало регулярно: беженцы жаловались на качество и размеры выдаваемой одежды, на нехватку продуктов, на однообразие продуктовых наборов, а волонтеры — на «неблагодарность» и «пренебрежительное отношение» к ним со стороны беженцев.

Адресатами жалоб со стороны беженцев становились не государственные структуры, а волонтеры, которые оказывались рядом. Последние, в свою очередь, чувствовали несправедливость подобного отношения. Будучи вынужденными «отвечать» за системные дефициты, волонтеры вырабатывали разные тактики реагирования: от раздраженного — «берите то, что есть» — до попыток поддержать: «давайте посмотрим еще раз, может, найдем». Иногда волонтеры просто пытались молча уйти от конфликта — например, опустить глаза и отвернуться.

В те моменты, когда поток беженцев прекращался, наступало время, когда волонтеры, наконец, могли пообщаться друг с другом в более расслабленной обстановке. Иногда они продолжали перебирать одежду, примеряя что-то на себя (но почти никогда не забирая себе) — чтобы посмеяться и хотя бы отчасти сбросить эмоциональное напряжение. Во фрагменте из дневника, приведенном ниже, исследовательница описывает эпизод, в котором волонтерки вовлекают ее в это действие:

«Решили еще раз перекусить, выпить чая. Несколько минут обсуждали еду. Потом чаепитие неспешно перетекло в примерку и обсуждение одежды. Алена продолжала, не торопясь, рассматривать шмотки. В какой-то момент она достала черное платье, похожее на халат, и сказала, что оно пойдет мне. Я сделала вид, что не поняла намека, — очень уж не люблю примерки. Но другие волонтерки начали настаивать, чтобы я померяла. Пришлось надеть и покрутиться перед ободрительные возгласы» (центр гуманитарной помощи, Курск, декабрь 2024).

Волонтеры то и дело обсуждали между собой беженцев — как их непростые жизненные ситуации, так и их поведение внутри центров. Иногда в комментариях волонтеров в адрес беженцев звучало осуждение, а иногда — понимание и сочувствие. Эти разговоры обычно случались в частных пространствах центров, вход в которые беженцам недоступен, например, в скрытой от посторонних глаз курилке, или в отдельной комнатке, где можно было выпить чаю.

* * *

Волонтерство в центрах распределения гуманитарной помощи в Курской области нельзя назвать ни проявлением героизма, ни бюрократической принудителькой. Происходившее там нельзя свести к простым схемам вроде «государство требовало», «государство помогало» или «гражданское общество самоорганизовывалось». Они представляли собой гибриды бюрократии и инициативы. В них переплетались

рутина и импровизация, забота и осуждение, усталость и эмпатия. Мы могли убедиться, что гуманитарная помощь — это не нейтральная процедура, а постоянно напряженное взаимодействие. Повседневность центров гуманитарной помощи строилась не только на эффективном распределении вещей, но и на постоянных переговорах о границах уважения, признания и принадлежности.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

После военного обострения в Курской области появилось большое количество не только новых государственных и частных гуманитарных организаций, но и людей, которые помогали беженцам самостоятельно. Многие наши собеседники говорили, что они сами, их знакомые, друзья или родители так или иначе оказывали помощь пострадавшим от войны жителям приграничья — и это несмотря на отчуждение и раздражение, испытываемое многими членами принимающего сообщества в адрес беженцев. Какими мотивами они при этом руководствовались и как эти мотивы сочетались со свойственным многим из них взглядом на беженцев как чужаков? Кроме того, как именно местные жители организовывали процесс помощи, не полагаясь на многочисленные волонтерские центры? На эти вопросы отвечает следующий раздел.

Тут каждый второй волонтер

В этом разделе нас интересуют индивидуальные и коллективные виды помощи беженцам, такие, например, как адресная помощь или передача вещей в уже существующие центры, — то, что осуществлялось в Курской области отдельными людьми, а не специализированными организациями.

Мы уже цитировали слова Вики, барменки одного из курских баров, о том, что в городе «каждый второй волонтер». Вика говорила об этом не просто так. Сама она и ее родители собирали вещи и лекарства для людей, которые приехали в Курск в августе (ж, около 25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024). Другая наша собеседница упоминала, что ее знакомые, зная, что она родом из Курской области, и предполагая, что она должна знать лично кого-то из беженцев, предлагали ей забрать детскую одежду и передать им (интервью, ж, 47 лет, домохозяйка, родом из Курской области, онлайн, ноябрь 2024). А уроженка Суджи Вероника, которая жила в Курске и помогала в основном беженцам-суджанам, собирала вещи по своим знакомым, стирала и зашивала их, если в этом была необходимость, и хранила их дома, где после отъезда дочери

появилась свободная комната. Для раздачи вещей она использовала свои личные контакты или закрытый чат для беженцев из Суджи, куда люди вступали по приглашению своих знакомых (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Масштаб помощи мог быть разным — от разовой передачи вещей конкретным людям или центрам до самостоятельной организации масштабных кампаний по сбору вещей и денег. Сама практика таких сборов, которые обычно начинались с размещения объявлений в социальных сетях, сложилась еще до августа 2024 года. Уже в 2014 году, и затем с новой силой после февраля 2022, подобные низовые кампании проводились в России регулярно: с их помощью люди собирали деньги и вещи для нужд не только беженцев, но и фронта. Эта же практика была подхвачена теми, кто начал активно помогать курским беженцам. Например, Вероника, которая систематически организовывала такие сборы денег и вещей, рассказывала, как однажды ее муж «намутил гуманитарку»: «какие-то склады, какие-то ребята, я не знаю, где он это взял все. То есть ключ кинул, кто-то откликнулся» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Наши собеседники отмечали, что активно помогли беженцам курские (и не только!) предприниматели. Например, охранник одного из центров гуманитарной помощи рассказал нам, как в Курск приходили машины с гуманитарной помощью из разных городов, оплаченные индивидуальными предпринимателями. Кроме того, люди из других регионов часто «сами покупали все, что нужно, и высылали», а «автоволонтеры» ездили в пункты выдачи Ozon, Wildberries и СДЭК, чтобы забрать эти посылки (м, около 40 лет, охранник центра гуманитарной помощи, владелец мелкого бизнеса, беженец с Донбасса, Курск, сентябрь 2024).

Куряне также отправляли вещи на уже существующие склады с «гуманитаркой» и в ПВР. А один из интересных примеров пересечения институциональной помощи — то есть, оказываемой специальными организациями — и помощи самостоятельной, исходящей напрямую от жителей, наша исследовательница обнаружила в Игловке. Рита, уже имеющая обширный опыт волонтерства, начала работать в ПВР в 2024 году, а потом сама организовала рядом с ним центр гуманитарной помощи для беженцев. Она «бросила ключ» в одном из местных Telegram-каналов и среди своих знакомых — и люди начали привозить вещи. Примечательно, что сам ПВР, не являясь государственным, во многом опирался как раз на то, что рядовые жители города были готовы помогать — например, привозить вещи, еду или памперсы. Наша исследовательница наблюдала, как местные жители приносили свои вещи на склад, а охранница склада рассказывала ей, как люди делились с обитателями этого пункта овощами с огородов и домашними закрутками.

Однако со временем энтузиазм людей, особенно тех, кто помогал разово, угасал. Примеров помощи самостоятельной, исходящей от людей напрямую, становилось все меньше, а ее место занимали более организованные, институциональные виды помощи. Как рассказал нашей исследовательнице упомянутый выше охранник центра гуманитарной помощи, именно в первые две-три недели после начала эвакуации из приграничных территорий «гуманитарный центр держался только за счет курян»: в день приезжало 100-120 легковых машин с вещами и продуктами. Позднее, однако, их поток иссяк и вместо них появились фуры с гуманитарной помощью от государственных организаций (м, около 40 лет, охранник центра гуманитарной помощи, владелец мелкого бизнеса, беженец с Донбасса, Курск, сентябрь 2024). Зимой 2024 годы отдельные жители Курской области все еще помогали беженцами но их число, как и масштабы этой помощи, уменьшалось.

Такие же, как мы

Почему многие куряне были готовы, пусть и на протяжении короткого времени, тратить свое время и ресурсы, оказывая помощь незнакомым или малознакомым людям? Чаще всего наши собеседники объясняли это тем, что им было по-человечески жалко беженцев (и военных). Например, по словам барменки Вики, ее родители, которые неоднократно собирали вещи для беженцев, делали это в первую очередь из-за сочувствия к людям, которые внезапно «потеряли все». «Они привыкли к тому, что они жили так как жили, *как мы*. А тут у них в один день, в одну ночь ничего нет», — говорила Вика (ж, около 25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024). Восприятие беженцев как социально близких было важной основой сострадания и, соответственно, помощи им со стороны не пострадавших от войны напрямую курян.

То же самое касалось и военных. Для наших собеседников военнослужащие были в первую очередь обычными людьми — такими же, как они или их родственники — которые оказались в непростой ситуации без помощи и защиты. Например, Сергей, молодой программист из Курска, с которым случайно разговорилась наша исследовательница, рассказал, что новость о переходе украинской армией российской границы застала его на даче в приграничье. Первое, что он сделал после того, как справился с шоком, — это собрал своих друзей и вместе с ними отвез воду, сигареты и еду располагающимся недалеко российским военным. С его точки зрения, военные сами не ожидали, что попадут в зону боевых действий, а не на учения, и наверняка нуждались в самом необходимом. «Мы никогда

не брали ни копейки с этих людей, хотя мы дохуя бабок потратили на сигареты, на еще что-то», — добавил он (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024).

Когда исследовательница спросила у Сергея, кто виноват в сложившейся ситуации, он уклонился от прямого ответа, предположив, что виноваты все и никто одновременно. Сам он не хотел воевать и был рад, что на работе ему дали «броне». Однако Сергею казалось правильным помочь тем, кто не по своей воле попал на передовую. Подобное сочувствие солдатам двигало и уроженкой Курской области Верой, настроенной оппозиционно к действующей власти и участвовавшей в антивоенных митингах в Москве. Вера отметила, что она, «естественно», давала деньги подруге, которая покупала продукты и готовила еду для военных, несмотря на наличие троих детей и зарплату в размере двадцати пять тысяч рублей. По словам Веры, подруга объясняла свое активное участие в жизни военных тем, что у нее служил сын и она знает, «каково это быть там солдатом-срочником», какие они «оборванные»: «Они там зимой ходят в этих ботинках, они рвутся, снабжение у них никакое, они не едят горячего» (интервью, ж, 47 лет, домохозяйка, родом из Курской области, онлайн, ноябрь 2024). Подруге Веры было жалко срочников, а ей самой — и срочников, и подругу. Кроме этого, она жертвовала деньги на «мирные либо оборонительные цели», например, на помощь раненым при обстрелах или на ПВО, защищающее ее родную Курскую область.

Таким образом, главным источником сочувствия, которое двигало теми, кто помогал и беженцам, и военнослужащим, было *ощущение* социальной близости (порой несмотря на объективные социально-классовые различия в уровне образования, доходе, образе жизни — особенно с выходцами из деревень курского приграничья). В некоторых ситуациях не затронутые войной напрямую куряне замечали не столько различия, сколько сходства с беженцами — основанные, надо сказать, не на том, что они страдали от той же войны, что и местные жители, но на том, что те тоже жили как «нормальные» люди: у них был дом, семьи, друзья, работа, приятный досуг. Некоторым местным жителям этот взгляд оказывался ближе, чем другим (почему — заслуживает отдельного анализа), но, главное, мы чаще встречали его в первые месяцы после вторжения ВСУ. Спустя время эти эмоции притупились, тогда как *подозрительное отношение к беженцам как к чужакам*, заполонившим городское пространство и покушающимся на ограниченные ресурсы, усилилось.

Военные тоже воспринимались курянами в первую очередь как «обычные люди» — такие же, как чьи-то сыновья или мужья. Политические взгляды в этой ситуации оказывались второстепенными. Даже те, кто был активно

против войны, как, например, Вера, жертвовали деньги на помощь и беженцам, и военным — правда, только когда считали, что их помощь не пойдет на «военные цели».

Второй важный мотив, подталкивающий курян помогать беженцам — это географическая близость происходящих событий. «Тут — родные места, каждая улица», — отметила одна из случайных собеседниц нашей исследовательницы, объясняя, почему она собирала вещи для жителей приграничья (ж, около 40 лет, мастер педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). А Вероника, которая лишь несколько лет назад переехала в Курск из Суджи, сформулировала, как географическая близость связана с социальной: когда под ударом оказываются знакомые улицы, на которых живут твои знакомые, приходится помогать. Именно это ощущение близости, с ее точки зрения, отличало профессиональных волонтеров от таких, как она, которые просто «собирают вещи, помогают людям, и все», потому что *«это не где-то там в Ираке ракеты, “ой, страшно наверное” — а у тебя под боком!»* (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Ощущение социальной и географической близости «приближало» войну настолько, что многие куряне больше не могли ее игнорировать. В то же время именно потому, что ощущение близости служило главным мотивом для помощи пострадавшим, эта помощь была ограниченной — как во времени (ощущение близости постепенно ослабевало, а социальные различия с беженцами выходили на первый план), так и в пространстве (так, помощь получали в первую очередь земляки, и только потом все остальные).

Куряне, которые хотели помочь беженцам или военным, не всегда использовали институциональные каналы — то есть не отправляли деньги или вещи в специализированные фонды и организации — потому что не доверяли им. Во-первых, институциональные каналы казались им менее эффективными, чем отдельные, особенно знакомые, люди. Во-вторых, адресная помощь позволяла им сохранять ощущение контроля над распределением «гуманитарки» — избегая организаций, желающих нажиться на беженцах, или корыстных волонтеров.

Обычно наши собеседники негативно высказывались о тех, кто пытался заработать на беженцах и их беде. Например, Вика в разговоре с нашей исследовательницей раскритиковала тех курян, кто, в отличие от нее и ее родителей, начал повышать цены на съемное жилье или продавать вещи вместо того, чтобы отдавать их даром (ж, около 25 лет, барменка, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024). Этих обвинений не избежали

даже ПВР. Вероника, имеющая богатый опыт волонтерства, сообщила, что «все в ПВРах продают» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Она же жаловалась на курских блогеров, которые якобы «помогали» беженцам только ради пиара. А кое-кто сам сталкивался с «волонтерскими схемами», когда, по их словам, люди собирали деньги для беженцев, но оставляли часть себе.. Об этом нашей исследовательнице рассказала, например, мастерица маникюра (ж, 25 лет, мастер маникюра, жительница Курска, Курск, ноябрь 2024).

Самостоятельный сбор и отправка гуманитарной помощи позволяли людям контролировать, получают ли беженцы помощь в полном объеме. Кроме того, они могли сами решать, кому эта помощь достанется в первую очередь. Именно поэтому Вероника, начав работать в официальных пунктах помощи в августе 2024 года, быстро разочаровалась, поняв, «что, видать, не все доходит» до беженцев. Она стала сама «адресно возить» помощь, что позволило ей перераспределять вещи в пользу своих сородичей-суджан.

Таким образом, то, как не пострадавшие напрямую от войны куряне помогли беженцам (и, отчасти, военным), во многом напоминает то, как беженцы помогали друг другу. И те, и другие стремились помогать «своим». Для беженцев «своими» были в первую очередь соседи и односельчане, а для не затронутых войной курян — те, кого в определенных ситуациях они представляли такими же «нормальными» людьми с «нормальной» жизнью, разрушенной катастрофой. При этом и для первых, и для вторых военные попадали в число тех, с кем они чувствовали близость и кому они готовы были помогать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В августе 2024 неожиданно для большинства жителей в Курской области появилась необходимость оказать помощь тысячам беженцам в кратчайшие сроки. Именно поэтому в регионе произошло резкое развитие инфраструктуры помощи: меньше чем через месяц на его территории было открыто **более 90** пунктов временного размещения беженцев и какое-то — никому точно не известное, потому что подсчет никем не велся — количество центров гуманитарной помощи. Последние появлялись, организованные «сверху» — например, в зданиях временно неработающих образовательных учреждений — и «снизу», например, при уже существующих ПВР или даже в самостоятельно арендованных

помещениях многоквартирных жилых домов. Информация о них, в отсутствие какого-то официального реестра, передавалась из уст в уста. Кроме этого, тысячи жителей, не желавшим доверять свои деньги или время государству или незнакомым организациям, помогали пострадавшим от вторжения ВСУ самостоятельно. Собирая ресурсы через социальные сети, в интернете и вживую, они распространяли помощь через знакомых беженцев. Парадоксально, но такое развитие волонтерства происходило на фоне свойственного многим курянам подозрительного, недоверчивого отношения к беженцам как к неожиданным чужакам.

Сама инфраструктура помощи беженцам тоже была наполнена парадоксами. Пусть некоторые центры гуманитарной помощи являлись в большей степени государственными, а другие — в большей степени самоорганизованными, сочетание контроля со стороны государства и инициативы снизу было так или иначе свойственно большинству из них. Более того, первое часто не препятствовало, а способствовало последнему. Среди волонтеров центров гуманитарной помощи были как те, кто действительно пришли оказывать помощь добровольно, так и те, кто оказались там вынужденно, отправленные руководителями своих учебных учреждений или боссами с места работы (студенты и «бюджетники»). Многие вынужденные волонтеры, однако, со временем искренне вовлекались в работу и порой даже проявляли больше сочувствия беженцам, чем волонтеры профессиональные, уже годами помогающие самым разным группам нуждающихся.

Вообще происходящее за дверями центров гуманитарной помощи обычно «перемалывало» изначальные мотивации очутившихся там волонтеров, меняло их до неузнаваемости — или, наоборот, усиливало предшествующие волонтерству установки. Так, вынужденные волонтеры, попадавшие в небольшие дружные коллективы, не только приобретали несуществующие прежде мотивации к волонтерству, но и признавались, что планируют продолжать подобную деятельность в другой области в будущем. А работники более бюрократизированных центров с менее персонализированным подходом могли терять изначальную мотивацию к помощи или укрепляться в представлении о ее бессмысленности. Так или иначе, приходя в самые разные центры гуманитарной помощи, наши исследовательницы не наблюдали там ни исключительно самоотверженных героев, ни полностью бездушные бюрократические «машины». Одни и те же волонтеры были внимательным друг к другу и к нуждам конкретных посетителей, терпеливо выслушивали истории жителей приграничья и сопереживали им — и несколько бесцеремонно фотографировали последних для отчета «наверх», раздраженно отказывали слишком настойчивым просителям помощи и могли прикрикнуть на растерявшихся посетителей, задающих «глупые» вопросы.

Сложные, противоречивые мотивации двигали и теми рядовыми, кто помогал беженцами самостоятельно. Они стремились оказывать помощь «своим» — однако «своими» для них были не только выходцы из городов и деревень, в которых когда-то жили они сами, но и незнакомцы, те, в которых они легко могли представить «нормальных» людей, живших такой же «нормальной» жизнью, как и они сами. Таким образом, с одной стороны, понятие «свои» расширялось и выходило за пределы круга непосредственных близких и знакомых — то есть создавало потенциал для новых солидарностей в обществе. С другой стороны, «нормальность» других как основа для солидарности обладала и исключаящим потенциалом: те, кто по какой-то причине или в каких-то ситуациях казались курыям «не нормальными», как будто не заслуживали в их глазах помощи и сочувствия. Возможно, именно поэтому наши исследовательницы слышали в регионе так много фольклорных историй о беженцах как о чужаках.

ГЛАВА 5.

ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ И ВЛАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ



В России нет коллективной рефлексии и критической публичной дискуссии о политических причинах и последствиях российско-украинской войны. Более того, большинство россиян научились жить так, как будто никакой войны нет. Это не удивительно: репрессии, отсутствие возможности хоть как-то повлиять на ход войны не способствуют желанию размышлять о ней, особенно публично. Так или иначе, «СВО» не вызывает у большинства ни протеста, ни энтузиазма. Но в регионах, граничащих с фронтом, казалось бы, все должно быть по-другому.

Страдая от войны и наблюдая страдания других, жители приграничной Курской области могли бы, например, по-настоящему возненавидеть противника и сплотиться вокруг «своих», искренне желая российской армии победить врага. Или, наоборот, они могли бы наконец разозлиться на свою власть, допустившую подобное, и стать более критичными к ее действиям. В реальности же с ними не случилось ни первого, ни второго. Произошло нечто третье: они стали в еще большей степени отстраняться от анализа и оценок войны, причем как российско-украинского конфликта вообще, так и конкретного, переживаемого ими эпизода войны — военного обострения в регионе в связи с вторжением ВСУ и оккупации украинскими войсками части российской территории.

В этой главе мы расскажем о том, как судят о войне и оценивают ее те, кто находится от нее в непосредственной близости. Первые две части главы посвящены особенностям их *оправдания* войны и военного обострения в Курской области. Вторые две части анализируют разнообразные *критические суждения* по отношению к войне, военному обострению и власти.

1. ОПРАВДАНИЯ ВТОРЖЕНИЯ — УКРАИНСКОГО И РОССИЙСКОГО

Уже в начале августа 2024 года, когда в сети стали распространяться первые видео с беженцами, а журналисты поехали в область, чтобы разобраться в происходящем, мы все узнали, что для многих курян «*война началась 6 августа*». Осенью 2024 года часть наших собеседников говорили то же самое. Именно эта война, «начавшаяся» в августе 2024 года, напрямую повлияла на их жизни, стала непосредственной частью *их* реальности, тогда как та, что стартовала в феврале 2022, долгое время не казалась им

тем, что способно коснуться их напрямую. Поэтому наши собеседники могли рассуждать об этих «двух» войнах по-разному. Сначала мы расскажем о том, как куряне говорили о военном обострении в регионе и вторжении ВСУ на его территорию в августе 2024-го. А затем — о том, как они рассуждали о российско-украинской войне, идущей с февраля 2022, в которой обострение в Курской области является лишь одним из эпизодов.

Через границу перешли и дошли

Если в отдаленных от фронта регионах, как показало наше [предыдущее этнографическое исследование](#), люди почти не говорили друг с другом о войне (по крайней мере, в публичном пространстве), то в приграничной Курской области [эти разговоры не утихали](#). Касались они, однако, не «далекой», а «близкой» войны — той, что «началась» в августе 2024-го. «Я задала совершенно нейтральный вопрос, про то, что они ели на завтрак, — рассказывает одна из исследовательниц в своем дневнике, описывая типичный разговор с беженцами во время волонтерства в центре гуманитарной помощи, — и она [беженка] тут же начала вспоминать манку, коровье масло, деревню, а потом и войну. Вся цепочка событий раскрутилась сама собой» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024). Наши исследовательницы слышали отголоски таких бесед не только во время своего волонтерства, но и просто прогуливаясь по улицам, находясь в общественном транспорте, посещая магазины.

О чем именно говорили куряне, когда обсуждали друг с другом войну? О личном. Беженцы делились с теми, кто готов слушать, пережитыми ужасами войны и эвакуации, рассказывали про жизнь до побега, размышляли о том, когда они смогут вернуться домой и советовали друг другу, как лучше действовать, чтобы получить компенсации за потери. Школьники и их родители жаловались на введенную из-за риска обстрелов «удаленку» и переполненность местных школ из-за наплыва беженцев. Студенты шепотом обменивались стратегиями избегания военной службы. Местные жители постарше обсуждали поведение беженцев или регулярно включающиеся сирены воздушной тревоги. Курская молодежь предупреждала друг друга о рисках встретить военных во время вечерних тусовок.

Интереснее, однако, то, о чем куряне не говорили — хотя могли бы. Они не участвовали в спорах о том, *почему* на территорию России вошли войска противника, и кто виноват в произошедшем. Более того, они часто сопротивлялись попыткам наших исследовательниц вывести их на

оценочные суждения или интерпретации происходящего — хотя, казалось бы, кому судить и оценивать войну, если не тем, кто пострадал от нее напрямую?

Наши исследовательницы время от времени все же пытались выяснить, что куряне думают о военном обострении в регионе. Одна из них, слушая рассказы беженцев или местных жителей о проблемах, с которыми они столкнулись, периодически спрашивала в ответ: «А как так получилось?». Иногда она также добавляла что-то вроде: «Я просто понять не могу, как это вообще возможно?». Таким образом она хотела подтолкнуть собеседников к размышлению о причинах вторжения армии противника на территорию России и его последствиях. Чаще всего ее собеседники просто уходили от ответа.

Например, в центре гуманитарной помощи исследовательница познакомилась с Марией, волонтеркой, которая была направлена в этот центр своим работодателем в «добровольно-принудительном» порядке. Девушки разговорились о судьбе отца одного из посетителей центра — тот остался в оккупированной ВСУ деревне и пропал без вести. «Я просто не понимаю. Я понимаю, еще дом, хозяйство, но отец... Как так вообще получилось?» — возмущалась исследовательница. В ответ на это Мария пожала плечами и перевела тему. Исследовательница записала в дневнике: «Она явно замялась, не желая продолжать разговор и избегая более абстрактных рассуждений о войне» (ж, около 35 лет, преподавательница ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

А вот как эта же исследовательница описывает свои попытки завести разговор о причинах вторжения ВСУ в Курскую область с беженцами — то есть с людьми, напрямую пострадавшими от вторжения:

«Я попыталась развернуть наш разговор в сторону темы исследования и спросила: “Ужас... А как же так получилось-то?” — в надежде, что она [беженка] поделится более глубокими размышлениями о войне или о вынужденном переселении. Но она полностью проигнорировала мой вопрос — как будто вообще его не услышала — и продолжила перебирать одежду» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

«Ей [беженке] было достаточно просто говорить про какие-то бытовые проявления войны, но стоило мне попытаться вывести ее на более абстрактный уровень — типа “а почему вообще произошла война?” — она тут же терялась и не знала, что ответить» (центр гуманитарной помощи, Игловка, сентябрь 2024).

Собеседники наших исследовательниц не просто не знали, как отвечать на такие вопросы. Сталкиваясь с ними, они всеми силами пытались отстраниться снять — и это стремление отчетливо выражалось на невербальном уровне, а иногда даже на физическом. «Ее голос стал тише, интонации сникли», — описывает исследовательница реакцию собеседницы на попытки заговорить с ней о причинах войны в Курской области (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024). Или другие примеры: «Она начала отвечать менее охотно — коротко, небрежно, как будто не хотела в это углубляться» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024), «под конец беседы ее речь стала менее оживленной, и она постепенно начала физически отдаляться от меня — отходила в сторону» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

Одна из собеседниц нашей исследовательницы все же облекла в слова свое нежелание говорить о причинах происходящего. Это произошло, когда исследовательница решила попросить ее — студентку колледжа Свету, «добровольно-принудительную» волонтерку — о социологическом интервью под запись (мы уже коротко разбирали этот пример в [методологической главе](#)). Напомним, что на момент описываемого разговора исследовательница и Света работали вместе уже несколько дней и явно относились друг к другу с симпатией. В какой-то момент исследовательница рассказала Свете, что планирует изучать волонтерство как антрополог и хотела бы взять у нее интервью «для науки». Света не поняла, зачем исследовательнице говорить с такими, как она: «*Зависит все это не от нас точно*». И потом отрезала: «Максимум, что мы можем сделать — это высказать свою точку зрения по поводу всего этого. И все. Толка от этого я не вижу. Смысла от этого я тоже не вижу». «Почему?» — уточнила исследовательница. — «Ну, потому что ты напишешь статьи, но *никто вникать в эту хуйню не будет*». Исследовательница предприняла еще одну попытку, сказав, что, возможно, спустя годы человечество захочет разобраться в произошедшем и будет слушать истории обычных людей. Света с уверенностью отмела и этот аргумент — с ее точки зрения, по завершению конфликта тем более прислушиваться будут только к власти имущим, а не к обычным людям, таким, как она (ж, 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска родом из приграничья, сентябрь 2024). Исследовательнице так и не удалось взять интервью у Светы.

Общение наших исследовательниц с беженцами и коллегами-волонтерами в центрах гуманитарной помощи создавало множество возможностей для того, чтобы хотя бы *попытаться* заговорить о причинах, смысле и интерпретации военных действий в Курской области. Этих возможностей было меньше в общении с местными жителями за пределами волонтерских центров. Но когда они появлялись, становилось понятно, что и тем

часто некомфортно обсуждать войну. Иллюстрацией может служить одна из бесед, состоявшаяся у нашей исследовательницы в курском баре. Исследовательница проводила вечер в компании своих новых знакомых — молодого человека Сани и его девушки. В какой-то момент между исследовательницей и девушкой завязался разговор о возможных причинах «спецоперации», в ответ на что Саня несколько раз попытался прервать эту беседу. «Слушайте, а давайте поменяем тему, пожалуйста, потому что...», — начал он, но явно не придумал как закончить фразу и остановился. Девушки продолжили свою дискуссию. Чуть позже Саня объяснил, что завтра ему предстоит похороны друга (чья смерть не была связана с войной), а еще он скучает по общению с братом, покинувшим Курск из-за обстрелов, и в целом не хочет думать о «политике». «Мне, если честно, вся эта политика... С возрастом я понял, что она мне нахуй не нужна. А то, что там Зеленский, Путин — похуй кто», — объяснил он. Реагируя на комментарий своего парня про отъезд брата, девушка попыталась что-то сказать об организации эвакуации из приграничья, но Саня перебил ее. «Извини, что перебиваю, — так и сказал он, — но я не хочу обсуждать эти мнения. Я вам не запрещаю, но...». Его девушка оставила еще пару комментариев про ход войны, после чего извинилась и сама предложила сменить тему (м, около 22 лет, агент по недвижимости, житель Курска; ж, около 25 лет, флористка, жительница Курска; Курск, октябрь 2024).

Иногда все же собеседники наших исследовательниц не игнорировали вопросы о причинах вторжения ВСУ в Курскую область и участвовавших обстрелах в регионе. Они слушали эти вопросы и даже говорили что-то в ответ — но вместо рассуждений о причинах происходящего их ответы часто представляли собой описание их собственного опыта и пересказ фактов. Так, например, когда во время разговора с одной из беженок исследовательница задала свой традиционный вопрос о том, «как же так получилось», собеседница ответила так: «Не знаю, через границу перешли нашу [войска ВСУ]. Через границу перешли и дошли» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Иными словами, исследовательница, задавая этот вопрос, ожидала услышать в ответ размышления о политических причинах произошедшего, тогда как беженка отреагировала на вопрос так, как если бы исследовательницу интересовала наблюдаемая последовательность действий, приведших к искомому результату (перешли через границу — продолжили идти — дошли).

Многим (пусть и далеко не всем) курянам было некомфортно рассуждать не только о причинах военного обострения в Курской области и оценивать его последствия, но и приписывать ответственность за

произошедшие события конкретным лицам или институтам. Однажды наша исследовательница болтала с группой беженцев в курилке центра гуманитарной помощи. Беженцы, как обычно, рассказывали друг другу о прошлой жизни, пережитых ужасах войны и потерянном хозяйстве. «Грустно это все», — прокомментировала исследовательница. «Не то, что грустно — страшно, обидно. Наживали, наживали...», — проговорила в ответ одна из присутствующих беженок. «Простите, а на кого обидно?» — решила уточнить исследовательница. «На кого? — не поняла женщина. — **На то, что такая ситуация.** Мы жизнь жили, наживали, наживали, и все. Обидно» (ж, около 60 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024). Другая исследовательница в совсем другой ситуации — во время неформального разговора в баре с программистом Сергеем о том, что жители других российских регионов понятия не имеют о масштабах происходящего обострения в Курской области — спросила, не обижает ли его подобное равнодушие других россиян. Сергей разуверил ее: подобное равнодушие совершенно нормально и вообще, мол, не надо никого винить. «Кого же винить тогда? Украинцев? Путина?» — не удержалась исследовательница. И услышала в ответ: «Никого не подвяжешь к тому, что происходит, и все виноваты» (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024). В тех же ситуациях, когда куряне-таки находили ответственных за произошедшее, ими оказывались региональные власти, которых обвиняли в том, что из-за коррупции они не смогли предотвратить катастрофу. А еще они обвиняли администрации приграничных поселков и деревень, которые вовремя не предупредили о происходящем.

Помимо избегания рассуждений о причинах и ответственности за обострение военного конфликта в Курской области, повествовательные-«фактологических» ответов и прямого отказа возлагать на кого-либо ответственность, собеседники наших исследовательниц использовали еще одну стратегию уклонения: риторические вопросы. Эту тенденцию хорошо иллюстрирует диалог нашей исследовательницы с охранницей одного из центров гуманитарной помощи, в котором исследовательница волонтерила. Они говорили — что не удивительно — о беженцах, которым обе выражали сочувствие. Охранница с горечью отметила, что пострадавшие жители приграничья потеряли не только дома: «Жизнь потерялась, жизнь ушла». При этом грамматическая конструкция, использованная охранницей, указывала на «жизнь» как на самостоятельный субъект действия, создавая впечатление, что жизнь из приграничных регионов как бы ушла сама собой, без чьего-либо внешнего вмешательства. Поэтому в ответ исследовательница попробовала подтолкнуть собеседницу к рассуждению о том, чьи решения могли привести к такому печальному исходу, и использовала свой традиционный вопрос. «Как так получилось? — ска-

зала она, — вообще не понимаю». Охранница, однако, отреагировала на этот вопрос исследовательницы так, как будто он не требовал ответа, — и просто повторила: «Вся жизнь ушла просто вот так». Исследовательница поняла свой промах и сделала вопросительную форму следующей реплики более явной: «Не, ну как?». Но охранница тоже была не лыком шита и ответила вопросом на вопрос. «И кого ругать?» — парировала она. Исследовательница «вернула» ей вопрос, стараясь интонационно показать, что ожидает на него ответа. «Я тоже не понимаю, — согласилась исследовательница. — А кого ругать?». Но охранницу было так просто не взять — обратно в нашу исследовательницу полетели целых три риторических вопроса: «Кого ругать? Кого? Кого винить?». На этом их диалог закончился, поскольку их отвлекли, и эти вопросы так и повисли в воздухе (ж, около 60 лет, охранница центра гуманитарной, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024).

Почему куряне сопротивлялись попыткам исследовательниц начать разговор о причинах военного обострения в Курской области, испытывали дискомфорт, когда их втягивали в такие разговоры и использовали разные риторические стратегии для их избегания? Мы предполагаем, что испытанные ими тяготы войны заставили их чувствовать себя еще более уязвимыми и отчужденными от мира политики, где и принимаются те судьбоносные решения, которые могут полностью разрушить человеческую жизнь. Поэтому они переживали тяготы войны — вторжение ВСУ на территорию России, обстрелы, потери своих домов и так далее — как события не политические, а почти что природные, иными словами, как обрушившуюся на них природную катастрофу.

В наших обществах — бытует представление о том, что «природа» сама по себе (или, в глазах религиозной части населения, Бог) может быть источником катастроф. «**Природными катастрофами**» принято называть масштабные катастрофические события, глубинные причины которых не до конца понятны человеку, не имеющему над ними контроля. Нечто подобное переживали и куряне. Одна из беженек емко сформулировала это:

«Нынче погода плохая была все лето. Потом в Ключах вулкан извергался, был пепел. Потом вот эти ветры. В общем, *люди бунтуют, природа бунтует*. И вообще весь мир чокнулся. Разве это нормально, что сейчас делается? Ребята гибнут и тут, и там, на Украине» (ж, 72 года, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Конечно, это ненормально — хочет сказать эта беженка. Но разве обычные люди могут тягаться с силами природы?

Еще осенью 2022 года мы заметили, что многие наши собеседники сравнивали войну с природными явлениями. «А это то, что происходит. Вот сейчас облачно. Это то, что происходит», — сказала одна из наших собеседниц осенью 2022 года, отвечая на вопрос об ее отношении к «спецоперации». Дело в том, что многие наши информанты, жители отдаленных от фронта регионов России, испытывали потребность риторически *оправдать* «спецоперацию», особенно в первый год после ее начала. Для того, чтобы оправдать войну, но одновременно сохранить собственное лицо, образ нормальных людей, осуждающих смерти невинных, они, среди прочего, *сравнивали* ее с негативным природным явлением, которое происходит независимо от воли простых смертных и с которым поэтому невозможно бороться, а можно только смириться.

Когда война стала не просто событием из новостей, а частью повседневности, как это произошло с курянами после военного обострения в их регионе, они не испытали особой потребности как-то оправдывать и вообще оценивать происходящее. Они редко явным образом сравнивали войну, которая началась для них 6 августа, с природной катастрофой — они *проживали* ее как природную катастрофу. Они отказывались рассуждать о ее причинах или давать ей интерпретации, не искали ответственных за нее (за исключением, разве что, местных властей) — но чувствовали потребность снова и снова делиться пережитым опытом. Эта война мыслилась ими, таким образом, как событие не столько политическое, сколько природное.

Хитрый план Кремля

Впрочем, некоторые наши собеседники все-таки предлагали какие-то объяснения военному обострению — главным образом, вторжению ВСУ — в Курскую области. Почему кто-то был способен предлагать такие объяснения, а кто-то нет? На это могли оказывать влияние множество факторов, но главные из них — классовый и ситуативный.

Во-первых, людям непривилегированного социального происхождения с низким уровнем образования обычно сложнее рассуждать на абстрактные темы и давать интерпретации политическим событиям, чем более образованным людям. Именно поэтому многие беженцы, будучи жителями небольших деревень и не имея высшего образования, реже говорили о том, почему вдруг украинские войска вошли в Курскую область, и чаще избегали давать оценки событиям, чем, например, жители Курска. Во-вторых, сама ситуация разговора и поведение исследовательниц могли определять

реакции людей. Например, в некоторых случаях исследовательницы, чувствуя дискомфорт своих собеседников, прекращали расспросы. Но если собеседники не демонстрировали очевидного нежелания говорить на заданную тему, исследовательницы продолжали разговор, задавали все новые вопросы, и в результате «добивались» разнообразных интерпретаций произошедшего.

Объясняя вторжение ВСУ в Курскую область, наши собеседники оправдывали действия федеральных властей и критиковали действия региональных. При этом, в отличие от их же рассуждений о «спецоперации» как таковой, где критика и оправдание являлись разными, противоречащими друг другу режимами говорения о войне, здесь критика и оправдание вторжения распределялись нашими собеседниками между разными уровнями власти.

Куряне обвиняли местных чиновников в том, что они разворовали деньги, выделенные на укрепление границы, в результате чего украинские войска практически беспрепятственно вошли на территорию Курской области. «Был у нас Старовойт. Всем известно, что деньги, которые были присланы на укрепление приграничья, осели у него в кармане», — объяснила, например, мастерица педикюра в разговоре с нашей исследовательницей (ж, около 40 лет, мастерица педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). А молодой айтишник Илья, с которым исследовательница познакомилась в одном из курских баров, подтвердил: «У нас еще оборона была плохо подготовлена. Я так подозреваю, деньги отмывали» (м, около 25, IT-специалист, житель Москвы родом из Курска, Курск, октябрь 2024). Интересно, что даже наши более вовлеченные в политику собеседники — такие, например, как экоактивистка Диана — не будучи довольны действиями президента Путина, все равно возлагали ответственность за вторжение именно на местные, курские власти. Так, в разговоре с нашей исследовательницей Диана настаивала, что Путин прекрасно знает о происходящем в Курской области и «ему похуй». Это отличало Диану от большинства наших аполитичных собеседников, которые верили, что Путину просто не говорят всю правду. Тем не менее, когда исследовательница, поддерживая стиль Дианы, спросила в ответ: «а как Путин все это проебал, как думаешь?», та неожиданно возразила: «Старовойт проебал это». — «Старовойт?» — удивилась исследовательница, ведь, казалось бы, только что они говорили про Путина. «Да, проебал, потому что все деньги себе в карман откладывал, потом съехал в Москву, — уверенно объяснила Диана. — Деньги же нам от Москвы передавались, чтобы мы укрепляли границу» (ж, 21 год, работница аптечного склада, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Обвиняя местных чиновников, куряне, напротив, были склонны оправдывать действия федеральных властей — Путина и Кремля — и российской армии. Они считали, что власти допустили вторжение ВСУ намеренно, потому что это было частью их хитрого плана: например, отвести внимание Украины от стратегически более важной территории, от Донбасса. Так, одна из беженок, отвечая на традиционный вопрос исследовательницы о том, «как так получилось», уверенно проговорила: «Я считаю, что это так надо». — «В смысле?» — уточнила исследовательница. — «Ну, это так надо, понимаете, чтобы оттянуть такую массу военных. *Это стратегия*. Это надо, потому что иначе не было бы победы там, в Донбассе». Исследовательница удивилась: «Ну как так? Ну, своя же земля». Но у беженки был ответ и на это: «Значит, надо пожертвовать как-то. И в Отечественную так было — надо было пожертвовать малым ради большего» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Некоторые наши собеседники оправдывали действия федеральных властей менее уверенно. Они не могли объяснить, зачем именно те допустили вторжение ВСУ в Курскую область, но настаивали: раз оно произошло, значит, зачем-то это было нужно. Американская исследовательница Моника Прасад и ее коллеги [называют](#) этот феномен «подразумеваемым оправданием», и мы уже [замечали](#), что россияне и раньше активно использовали такие конструкции для осмысления российско-украинского конфликта в целом. Этот феномен можно также назвать [«делегированием без представительства»](#): люди делегировали властям право принимать решения не потому, что власти казались им похожими на них или имеющими с ними общие интересы, а потому, что, наоборот, власти виделись как живущие в своем мире геополитики и лучше знающие, зачем воевать. Показательный в этом отношении диалог случился у нашей исследовательницы с еще одной беженкой. Как и предыдущая собеседница, эта беженка, отвечая на вопрос о том, «как так получилось», предположила, что «это специально все». Но в отличие от предыдущей собеседницы, она не могла точно объяснить, зачем нечто подобное нужно было «специально» организовывать российской власти. На вопрос исследовательницы «зачем», беженка отвечала лишь одно: «Власти надо» (ж, около 70 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024).

В обеих этих и других похожих ситуациях нашим собеседникам важно было подчеркнуть, что российские власти контролировали ситуацию, а не оказались ее заложниками. Раз они допустили вторжение, значит, все идет в соответствии с их (хитрым) планом. Если самих себя наши собеседники мыслили как маленьких людей, которым политические процессы подвластны не более природных катастроф, а местные власти

— как тех, кто должен предотвращать или бороться с последствиями этих «катастрофических» политических процессов, то власть, сидящая в Кремле, представлялась им как своего рода демиурги, Боги, которые создают катастрофы, но делают это, разумеется, не просто так. Это еще раз подчеркивает ту неопределимую дистанцию, которую чувствовали рядовые куряне (и многие россияне) между собой и «властью», своей частной жизнью и «политикой».

Так или иначе, критика и оправдание действий власти в объяснениях военного обострения в Курской области в оценках наших собеседников непротиворечиво сосуществовали, являясь при этом де факто взаимоисключающими. Действия, приведшие к одному и тому же результату — прорыву границы и захвату российских территорий войсками Украины — в исполнении одних властей, местного уровня, критиковались, а в исполнении властей уровня федерального оправдывались и получали одобрение. Таким образом, виноватыми за вторжение ВСУ на российскую территорию объявлялись прежде всего местные власти, тогда как поведение федеральных властей, напротив, оправдывалось.

Критиковать или оправдывать в зависимости от ситуации

В предыдущих разделах мы описали, как наши собеседники рассуждали и оправдывали вторжение ВСУ в Курскую область — обострение военного конфликта, случившееся в августе 2024 года. И все же время от времени, обычно в течение особенно длинных и доверительных разговоров, нашим исследовательницам удавалось обсудить с ними и российско-украинский конфликт в целом, то есть войну, которая началась в феврале 2022, шла уже третий год, и в которой события в Курской области были лишь одним из эпизодов. Многие собеседники оправдывали войну, объясняя, почему с ней следует смириться или, реже, почему она была необходима.

Оправдания «спецоперации» как таковой были ситуативны — в этом смысле, куряне мало отличались от большинства россиян, живущих в более отдаленных от фронта регионах. Мы совсем коротко рассказывали об этой тенденции в нашем [предыдущем отчете](#), поэтому здесь расскажем о ней подробнее. Ситуативность оправданий войны, по сути, означает, что одни и те же люди, в зависимости от обстоятельств разговора и реплик своих собеседников, могут оправдывать или критиковать войну (впрочем, эта критика весьма специфична).

Оценочные высказывания о войне, звучащие из уст *не-антивоенных* россиян (и курян в том числе — в прошлом отчете мы называли таких героев «не-противниками» войны), можно условно разделить на три типа. Первый — это эмоциональное, **вовлеченное оправдание войны**, в рамках которого говорящий чаще всего идентифицирует себя со своей страной (например: «мы не нападаем, мы защищаемся»). Второй — это **отстраненное**, безэмоциональное **оправдание войны**, в рамках которого говорящий, наоборот, отделяет себя от российских властей и государства (например: «наверху знают лучше, что делают»). И, наконец, третий — это специфическая, **«патриотическая», или «популистская», критика войны**, в рамках которой говорящий выражает недовольство действиями государства, наносящим вред собственным гражданам, россиянам (например: «эта война не нужна обычным людям, наши мальчики умирают без цели»). Так вот: наши собеседники, как куряне, так и жители отдаленных от фронта регионов, с которыми мы говорили во время предыдущих этапов исследования, попеременно прибегали ко всем трем типам высказываний.

Например, одна из посетительниц гуманитарного центра старшего возраста сама заговорила с нашей исследовательницей, делясь болью от только что пережитой ей эвакуации и потери родного дома. В какой-то момент она стала говорить о смысле идущей третий год войны. Она сравнила текущий российско-украинский конфликт с войной в Донбассе 2014 года, где обычные люди тоже «никому не нужны были», и где «вся земля была поделена между Россией и этими». Потом она вспомнила Крым: «А в Крыму-то... Что при Украине, что при России. Бедный люд там ни при чем!» Оказалось, что она не только потеряла свой дом в Курской области, но и чудом избежала смерти, пересекая Крымский мост за считанные минуты до его взрыва пару лет назад. Воспоминания об этом событии вызывали ее гнев. «За деньги же это все сделано? Это же не просто так!» — возмущалась она. «А как же патриотизм?» — решила уточнить исследовательница. И услышала в ответ: «Ой, деточка, дорогая, забудь ты про такое слово. Деньги это все».

Наслушавшись леденящих душу рассказов о пережитом от своей собеседницы, исследовательница не удержалась и спросила, не было ли, с ее точки зрения, ошибкой начать «спецоперацию»? «Нас никто не спрашивал», — отрезала та — не задавай, мол, бессмысленных вопросов (ж, около 70 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024). Из этого диалога видно, что пожилая беженка не стеснялась критиковать войну из-за страданий обычных граждан (обеих стран, но прежде всего — России), но считала абсурдным оценивать саму необходимость начать эту войну.

Это отличает ее критику от оппозиционной антивоенной критики, в рамках которой принципиально сформулировать политическое мнение, осуждающее начало войны.

Наша исследовательница встретила эту женщину еще раз, на следующий день, во время детского концерта, устроенного организаторами центра гуманитарной помощи. Беженка сидела среди зрителей и внимательно слушала концерт. Выступления детей не затрагивали военно-патриотическую тематику до тех пор, пока один из участников, мальчик лет двенадцати, не начал с выражением читать стихотворение в жанре, который в народе называют «Z-поэзией». «Я не запомнила точных слов, но по общему содержанию это был агрессивно-милитаристский, даже имперский текст. Мальчик читал его с невероятным надрывом, с театральным пафосом», — пишет исследовательница в своем дневнике и продолжает:

«В холле установилась полная тишина, все слушали очень внимательно. Но больше всего меня поразила реакция бабушки-беженки. Пока мальчик декламировал Z-поэзию, она повернулась к своей соседке — очень пожилой женщине, которой, казалось, было далеко за девяносто и которая все это время сидела молча, будто в отрешении, смотрела в пустоту. Бабушка-беженка просто взяла ее лицо в руки и силой повернула к мальчику — как будто хотела сказать: “Смотри и слушай — ты не можешь это пропустить”. Сама бабушка-беженка слушала стихи, заслушиваясь, даже вытирала глаза от слез» (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024).

Можно было бы подумать, что эта пожилая беженка — убежденная сторонница войны, милитаристка и поклонница военно-патриотических шоу на российском телевидении. Однако именно она всего лишь днем ранее учила исследовательницу: патриотизм в этой стране никому не нужен, война ведется политиками ради прибыли, а о простых людях никто не думает. В одной ситуации она критиковала войну, а в другой — поддерживала, причем не словами, а всем телом, своим и чужим.

Другие собеседники и собеседницы наших исследовательниц тоже то критиковали, то оправдывали войну. Один из наиболее ярких примеров такой гибкости в суждениях о войне — это беженец Шура, которого одна из исследовательниц встречала несколько раз за время своей полевой работы.

Так, когда Шура, его приятель Олег и исследовательница вспоминали 24 февраля 2022 года, Шура не просто высказался в пользу решения российских властей ввести войска, а еще и заметил, что «надо было бы сразу идти без остановки», до конца. Однако, как только Олег возразил ему, мол, лучше бы Россия не начинала эту войну, Шура слегка сдал позиции. «Это большая политика, нам этого не понять, наше мнение никто не спросит, — говорил он. — Что случилось, то случилось, назад не вернуть, если только ждать и уповать». Иными словами, он продолжил оправдывать войну, но уже не в эмоционально-вовлеченном режиме — как нужную и правильную, а в режиме отстраненном — как неприятную реальность, над которой у нас нет контроля и которую нам следует принять. Все это не помешало ему чуть позже, погрузившись в воспоминания о поездках в Украину за покупками и к родственникам, удивить своих собеседников следующим заявлением: если бы кто-то поинтересовался его мнением о том, стоило ли начинать эту войну, то он бы, конечно, выступил против. А уже совсем в другой день исследовательница услышала, как он жаловался в курилке приятелю Олегу, подчеркивая несправедливый, не народный характер войны: война закончится только тогда, «когда два волка договорятся и мир подпишут» (м, около 60 лет, профессия неизвестна, беженец, Игловка, октябрь 2024).

Шура, как и пожилая беженка, заслушавшаяся военно-патриотическим стихотворением на детском концерте, чаще оправдывал войну, чем критиковал ее. Тем не менее, было бы некорректно сказать, что такие оправдания отражали их «позицию» по отношению к войне. Действительно, наличие «позиции» или сформированного «мнения» о событии означает, что человек будет оценивать это событие одинаковым образом вне зависимости от ситуативных обстоятельств разговора. Во время нашей полевой работы мы наблюдали нечто противоположное: во-первых, люди часто сопротивлялись любым оценкам происходящего, а во-вторых, когда они давали эти оценки — последние могли быть оправдательными или критическими в зависимости от обстоятельств разговоров и реплик собеседников.

Тем не менее, нельзя сказать, что оценки таких людей были совсем случайны: например, среди них не появлялось идеологически фундированных оправдательных высказываний или либеральной «антивоенной» критики. Если у них не было «мнений», но оценки войны варьировались в определенном диапазоне и не были случайными, как именно можно назвать этот «стержень» их верований? Над этим вопросом мы все еще размышляем.

Не виноватая я

Даже если оправдания войны курянами являлись ситуативными и не могут быть названы «мнениями» — у них была определенная логика. Нам всем хорошо известны аргументы в защиту российского вторжения в Украину, которые в избытке предоставляет российская пропаганда: война нужна для защиты русскоязычного населения Украины, для борьбы с националистами/нацистами в украинской власти, для сопротивления угрозе приближающегося к нашим границам блока НАТО, для предотвращения готовящегося нападения со стороны ВСУ при поддержке «Запада». Кроме того, в тяжелые для страны времена только предатели могут выступать против действий своего государства. В наших предыдущих исследованиях мы уже показывали, что рядовые россияне не столько «зомбированы» пропагандой, сколько творчески используют ее элементы и применяют те или иные аргументы в зависимости от ситуации. Но во что превращаются эти риторические стратегии оправдания войны, когда они звучат из уст курян, испытавших на себе тяготы боевых действий?

Большинство встретившихся нам оправдательных высказываний в адрес идущей третий год войны не столько утверждали ее необходимость, сколько снимали с России ответственность за военные действия. Наши собеседники добивались этого эффекта разными способами. Кто-то, например, утверждал, что украинцы «очень сильно» готовились напасть первыми и даже «заходили на нашу территорию» до 2022 года. Авторка этого высказывания — женщина, возвращавшаяся домой из Москвы, где она работала вахтовым методом, и повстречавшая в поезде нашу исследовательницу — знала, по ее словам, о готовящемся нападении Украины не понаслышке. Ее родная деревня находилась совсем близко к границе, и ее близкие и родственники якобы наблюдали подготовку украинских войск своими глазами (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, жительница Курской области, поезд Москва — Курск, октябрь 2024).

Другие искали оправдания войны в отношении украинцев к россиянам. Примерами такого оправдания военных действий России являются высказывания одного из водителей такси, услугами которого однажды воспользовалась наша исследовательница. После того, как таксист и исследовательница обменялись стандартными репликами про ужасы войны и вместе посочувствовали беженцам из приграничья, таксист проговорил: «Я вот до сих пор понять не могу, как можно было украинцам настолько мозги промыть, что они как заколдованные, у них агрессия к России». После этого он раскрыл свою мысль. С его точки зрения, любой нормальный человек должен понимать, что эту войну начали политики в своих интересах — и поэтому злость рядовых украинцев в адрес рядовых россиян не имеет смысла. Водитель вспомнил свой недавний разговор с

украинским знакомым, который настаивал на принадлежности Крыма Украине. «Я говорю, а что твое? — возмущался водитель такси. — Вот ты мне объясни, что в Украине твое? Ну, максимум квартира. А чего тебе от Крыма? Вот мне, допустим, ничего, мне вообще ни горячо, ни холодно, чей он» (м, около 45 лет, водитель такси, житель Курска, Курск, декабрь 2024). Иными словами, согласно этой логике, украинцы первыми проявили необоснованную агрессию — благодаря пропаганде или своей странной «природе» — и зачем-то заняли сторону «политиков», обвинив в своих бедах простых россиян, не имеющих никакого отношения к этому конфликту. Или по-другому: эта война проявила странную, агрессивную природу украинского народа, который зачем-то разозлился на простых россиян. Так или иначе, этот водитель такси не столько защищал необходимость войны, сколько убеждал себя и свою собеседницу в том, что вина за нее в каком-то экзистенциальном смысле лежит на украинцах, а не на россиянах.

Этот диалог интересен еще и тем, что он демонстрирует ту норму поведения, относительно которой собеседник нашей исследовательницы оценивает украинцев. Эта норма заключается в аполитичности — нормальные люди, с его точки зрения, не должны слишком интересоваться международными отношениями, границами, идентифицировать свои интересы с интересами государства, добровольно умирать или убивать за них или каким-либо иным образом принимать на свой счет «разборки» наверху, пусть даже военные. Украинцы, зачем-то требующие назад Крымский полуостров, к которому большинство из них не имеют никакого отношения, и испытывающие неприязнь к обычным россиянам, не обижавшим их лично, нарушают эту негласную норму, излишне политизируя ситуацию. Мы уже писали о том, что наши информанты, если и называли украинцев «фашистами», то часто имели в виду их чрезмерно «политизированную» реакцию на войну.

Наконец, многие наши собеседники-куряне использовали своеобразную форму пропагандистского аргумента об угрозе НАТО для оправдания поведения России. В оригинальном виде — звучащем на российском телевидении еще с 2022 и повторяемом с тех пор многими россиянами — этот аргумент предполагал, что увеличивающийся контроль НАТО над украинским правительством создал прямую угрозу безопасности России и тем самым вынудил Кремль ввести войска. Куряне же озвучивали его следующим образом: это не мы (Россия) начали эту войну и не мы совершаем военные преступления, это — «Запад» и НАТО. Таким образом, вместо обоснования необходимости начала этой войны для России наши собеседники убеждали своих слушателей в том, что Россия не несет ответственности за ее начало.

Показательный в этом отношении диалог состоялся у нашей исследовательницы с беженкой, которую она случайно встретила в городском парке — мы уже несколько раз в разных контекстах рассказывали эту историю. Прогуливаясь по парку, исследовательница услышала разговор трех женщин: одна из них, беженка, сокрушалась, что все потеряла, а две другие, видевшие ее в первый раз в жизни, активно предлагали ей думать о хорошем. Вскоре эти две женщины, устав от жалоб беженки, попросились и ушли, а исследовательница, наоборот, осталась. В какой-то момент, когда это было уместно, она поинтересовалась у своей собеседницы, почему, на ее взгляд, вообще началась война. «Это же не Украина — НАТО все, Америка эта», — ответила та. И добавила: «Ну, они сверху его, Зеленского». «В смысле?» — не сразу поняла исследовательница. «Америка, Америка, — нетерпеливо повторила беженка. — Там же сын Байдена постоянно. По газу что ли он, по-моему, был. Он сам приезжал туда. Это давно закрылось, еще при Порошенко». И заключила: «Мы всем помогаем. Ну, Россия всем помогала всегда. А нам — никто». Ее голос стал печальным: «Все так ненавидят почему-то нас. Почему? Наши люди самые бедные, мне кажется» (ж, 71 год, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024).

Этот диалог интересен не только тем, что его героиня обвинила НАТО и «Америку» в начале войны, а Россию представила как пострадавшую сторону (мы всем помогаем, а нас все ненавидят). Он показателен еще и тем, что эта женщина, как и многие другие наши собеседники-курае, в особенности, беженцы из приграничных деревень, испытывала трудности с формулировкой четкой связи между действиями НАТО, Зеленского и последствиями этих действий для России. Скорее, она повторяла ключевые слова: «это все НАТО», «это Америка», «сын Байдена», «Зеленского сверху» и так далее. Но эти ключевые слова в результате формировали понятное и простое высказывание: мы, то есть Россия и ее «бедный народ» — жертвы, а они, то есть Запад, Америка и, возможно, Зеленский — агрессоры.

Некоторые наши собеседники-курае пытались приписать ответственность за войну исключительно «Западу», другие — «Западу» и Украине в равной степени. Примером последнего может быть диалог нашей исследовательницы с беженкой старшего возраста, прогуливающейся по парку с собачкой. Исследовательница погладила собачку и завязала разговор с ее хозяйкой, который, конечно, тут же коснулся пережитых женщиной во время войны потерь. «Как вы думаете, когда все закончится-то?» — спросила в какой-то момент исследовательница. «Мне бы хотелось, чтобы в этом году все закончилось, хоть завтра», — печально вздохнула беженка. «А от чего это зависит, как вы думаете?» — продолжила исследовательница. «От Америки, от Зеленского», — услышала она в ответ. — «Мы не

против. Пожалуйста, диалог веди и все. Ну они же не успокаиваются. Ему надо ракеты, чтобы в глубь России пулять, что он и делает. Они же мирное население убивают, рушат все» (ж, 72 года, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024). Из торопливого ответа-оправдания пожилой беженки даже непонятно, кто именно «пуляет» ракеты вглубь России — Зеленский, Америка или кто-то еще — но это и не имеет большого значения. Большинству наших собеседников-курян было важно показать, что в их картине мира война — это всегда плохо, но что виноваты в этой конкретной войне кто угодно, но не Россия, и не они, простые россияне. Мы уже наблюдали эту тенденцию во время других этапов нашего исследования, в отдаленных от фронта регионах, но именно в Курской области этот паттерн оправдания войны стал основным.

Конечно, за два месяца, проведенных нашими исследовательницами в Курской области, они встречали и оправдания войны другого типа: не перенос ответственности за начало войны на кого-то другого, а объяснение того, почему войну, начатую Россией, следует принять. Интересно, однако, что почти все они звучали из уст жителей Курска или Игловки, не пострадавших от войны напрямую (то есть, не потерявших свои дома и не оказавшихся беженцами). Далекие от политики куряне привычно рассказывали, что с войной следует смириться, потому что войны, к сожалению, идут везде и это часть нашей реальности. Такой же естественной частью реальности является желание сильных мира сего стать еще сильнее и богаче с помощью войн и ценой страданий обычных людей. Несколько интересующихся политикой курян, которых повстречали наши исследовательницы, также привычно говорили о необходимости войны из-за угрозы безопасности России или для защиты русскоязычного населения Украины. А одна собеседница с активистским опытом призналась, что больше не может «поддерживать другую страну», потому что «это пришло на нашу территорию» и в тяжелый для страны момент нужно оставаться с ней (ж, 21 год, работница аптечного склада, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). Такие высказывания показательны своей редкостью, исключительностью: в целом куряне не переживали взлета патриотизма в связи с вторжением ВСУ на территорию области, хотя можно было бы этого ожидать.

Теперь, наконец, мы можем сравнить то, как наши собеседники оправдывали военное обострение в Курской области, и российско-украинский конфликт в целом, в котором курские события являлись только одним из эпизодов. Если для оправдания конфликта в целом куряне использовали вполне конкретные пропагандистские аргументы, пусть и в измененном виде, то оправдания вторжения ВСУ на территорию региона им приходилось изобретать самостоятельно — ведь прогосударственные СМИ [не предоставили им таких аргументов](#). В результате можно сделать несколько

любопытных наблюдений. Во-первых, пропагандистские объяснения российско-украинского конфликта могли бы служить рамкой для интерпретации событий в Курской области, но этого не произошло. Как следствие, оправдания конфликта в целом носили скорее моральный характер, тогда как оправдания событий в Курской области были, в основном, прагматико-стратегическими (хитрый план Кремля). Во-вторых — если следовать той же логике — опыт прямого столкновения с войной мог бы подтолкнуть курян к переосмыслению пропагандистских нарративов в объяснении российско-украинского конфликта. Но этого тоже не произошло: куряне оправдывали войну с Украиной точно так же, как и живущие вдали от фронта россияне, разве что еще сильнее старались «обелить» моральный образ России.

Таким образом, можно осторожно предположить: люди склонны использовать пропагандистские аргументы-клише в защиту войны тогда, когда им приходится оправдывать события, о которых они знают из новостей. Когда эти же люди рассуждают о пережитой на своем опыте войне, они как будто забывают пропагандистские аргументы и изобретают другой способ оценивать происходящее (на который, разумеется, все еще оказывает влияние политическая пропаганда, но не прямо — предоставляя конкретные оправдания — а косвенно, задавая саму логику рассуждения, например, «царь хороший, а бояре плохие»). Так или иначе, кажется, что спущенные сверху аргументы-оправдания войны не проходят полную проверку реальностью.

В отличие от большинства россиян, для многих жителей приграничья существовало как бы две войны. Одна началась 22 февраля 2022 года вместе с нападением России на Украину. Вторая началась тогда, когда интенсивные обстрелы, военная техника, а в некоторых случаях войска противника пришли к ним на порог. В жизни курян эта «вторая» война случилась 6 августа 2024 года. О «второй» войне, в отличие от «первой», куряне говорили постоянно. Но они не хотели обсуждать причины, предлагать интерпретации и давать оценки произошедшему. Вместо этого они делились пережитым опытом и обсуждали, как лучше справиться со своими проблемами и горестями. Особенно сложно было предлагать интерпретации военного обострения выходцам из непривилегированных слоев с низким уровнем образования, то есть многим беженцам из маленьких приграничных сел. Но если куряне все-таки начинали интерпретировать обрушившуюся на их землю войну, то они обвиняли в своих страданиях местные власти которые «разворовали деньги и не

укрепили границу», а власти, федеральные, наоборот, оправдывали, утверждая, что последние действовали в соответствии с хитрым военно-стратегическим планом.

О российско-украинском конфликте, начавшемся в февраля 2022 года, куряне говорили еще меньше. В тех ситуациях, когда они все-таки давали ему какие-то оценки, эти оценки часто были ситуативными: эмоциональные оправдания войны сменялись оправданиями отстраненными и даже критикой. Содержательно оправдания действий России в российско-украинской войне не столько объясняли, почему начало последней было необходимым, сколько «очищали» имя России (и россиян) от обвинений в совершении «плохих» поступков. Оправдания российско-украинской войны с одной стороны и военного обострения в Курской области с другой существовали словно в параллельных реальностях. Опыт эвакуации и пережитой утраты всего, что было оставлено в оккупированных ВСУ приграничных регионах, не изменил того, как люди рассуждали о «спецоперации» и не заставил их задать вопрос: а зачем это все было нужно? Вместо того, чтобы начать больше говорить о российско-украинском конфликте, куряне стали сильнее отстраняться от него, сосредоточившись на своем личном горе, которое ни с того ни с сего свалилось на их головы.

2. ОБРАЗ ВРАГА

С самого начала российско-украинского конфликта у россиян были довольно необычные отношения с «врагом». До начала полномасштабной войны, согласно [опросу Левада-центра](#), к украинцам как народу «хорошо» относились большинство россиян, а к Украине как к стране — хорошо относились примерно столько же россиян, сколько и «плохо». Более того, отношение к Западу и США, которых кремлевская пропаганда представляет в качестве чуть ли ни главных врагов России, [варьировалось](#) среди россиян на протяжении последнего времени, причем накануне «спецоперации» чуть больше россиян признавались в «хорошем» отношении к США, чем в «плохом».

Вторжение российских войск в Украину в феврале 2024 года шокировало многих жителей России в том числе из-за того, что их страна напала на народ, который они продолжали считать «братским». Пытаясь понять, что произошло, и оправдать действия своей страны, в первые месяцы войны многие россияне порвали связи с родственниками и друзьями из Украины — но спустя время значительная часть из этих связей восстановилась, и люди договорились «не обсуждать политику». Через год после начала войны [чаще всего](#) россияне говорили, что испытывают

к украинцам равнодушие, а не какие-то негативные эмоции. Во время нашего этнографического исследования восприятия войны в российских регионах собеседники не считали своих знакомых с украинскими корнями или беженцев из Украины представителями «вражеской» страны и редко обсуждали украинцев как таковых. Для большинства россиян, живущих вдали от фронта, «враг» так или иначе оставался абстрактным. Живых представителей «Америки», «НАТО» или «украинских нацистов» большинство россиян никогда не встречали, а в знакомых из Украины они с трудом видели врагов.

Но отношения с Украиной и украинцами выстраивались совсем по-другому у россиян, проживавших в приграничных регионах. Многие семьи были разделены границей, которая как минимум до 2014 года считалась искусственной. Люди по обе стороны этой границы регулярно ездили (и даже ходили) друг к другу в гости или за покупками. Наконец, жители российского приграничья находились под обстрелами с украинской стороны — к которым, впрочем, они быстро приспособились — с самого начала российско-украинского конфликта. Все это не могло не повлиять на их восприятие «врага» в этой войне.

И действительно, «враг» казался курянам, с одной стороны, гораздо менее страшным и агрессивным, а с другой — гораздо более конкретным, чем россиянам, живущим далеко от фронта. Не зря наиболее распространенным словом, которым куряне описывали оккупацию ВСУ части российских территорий, было нейтральное слово «зашли», тогда как более агрессивные слова «напали» или «оккупировали» практически отсутствовали в их словаре. Одновременно самого противника куряне часто называли «хохлами» — словом, которое мы почти не встречали, общаясь с жителями удаленных от фронта регионов во время предыдущих этапов этого исследования. Более того, в разговорах друг с другом жители приграничья зачастую вообще не использовали никаких наименований для описания врага, ограничиваясь местоимением «они». В таких ситуациях это местоимение становилось единственным способом говорить о противнике, как будто никаких других слов и не было нужно. Такая речевая практика, с одной стороны, подразумевала, что всем и так понятно, о ком идет речь, а с другой — как бы вытесняла прямое название, делая его лишним или даже нежелательным.

То, насколько значение местоимения «они» оказывается привязано к локальному опыту и знанию, особенно заметно в ситуациях, когда наши исследовательницы не сразу понимали своих собеседников. Например, как-то раз, когда одна из исследовательниц во время своей волонтерской смены помогала посетительнице-беженке с подбором одежды, та стала

делиться своим опытом эвакуации из родной деревни, впоследствии оккупированной ВСУ. «Нас никто не предупреждал, — говорила она. — Мы просто попали, как раз к **ним** на переезд. **Они** заходили, а мы из другой деревни возвращались». Исследовательница зафиксировала в дневнике, что не сразу сообразила, о чем идет речь. Ей пришлось переспросить: «В смысле? Это кто заходил?» Только тогда беженка уточнила: «Украинцы» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Географическая близость и в прошлом сильные социальные связи с жителями украинских приграничных территорий выразились в двух противоположных тенденциях. С одной стороны, представление об украинцах как о «таких же, как мы» или «своих» не выдержало проверки реальностью, и куряне стали относиться к ним с большей неприязнью. При этом близкое знакомство с соседями-украинцами, усиленное свойственным россиянам в целом **высокомерным отношением к жителям соседней страны**, вело к тому, что их описывали не с помощью абстрактного пропагандистского языка вражды, а с помощью повседневного языка презрения. С другой стороны, некоторые куряне так и не начали относиться к украинцам как к полноценным врагам — отчасти из-за близкого знакомства с соседями, отчасти из-за специфики российско-украинских отношений как таковых, которая заслуживает отдельного разбора. Так или иначе, они, напротив, стали пытаться реабилитировать украинцев: отрицали их участие в военных преступлениях и в самой войне, перекладывали всю ответственность на «западных наемников», которые, как утверждалось, в больших количествах воюют на стороне противника.

Паразиты в кукурузе

Для многих курян хорошо знакомые и добрые соседи, друзья и даже члены семьи из Украины постепенно превращались в «хохлов». Само по себе это ожидаемо в ситуации войны. Удивительно другое: такое превращение хорошо знакомых людей в обезличенных представителей вражеской страны сопровождалось не усилением поддержки действий своей страны, а, напротив, стремлением еще сильнее отстраниться от того, чтобы давать происходящему какую-либо оценку.

Например, молодая волонтерка Света, с которой мы уже много раз встречались, сама родом из приграничья. За несколько лет до того, как ее родную деревню заняли украинские войска, Света переехала в Курск, поступив в местный колледж. Света жила в общежитии колледжа, а ее родители остались в деревне. В августе 2024-го, после оккупации, они вынужденно переместились в Курск и воссоединились с дочерью уже в статусе беженцев. Вся семья, включая Свету, потеряла дом. Света

поделилась с нашей исследовательницей своими чувствами по поводу произошедшего. «Мамка плачет каждый день, — рассказала она. — А я смирилась с этим. Там детство мое прошло. Назад все это не вернуть, и я это понимаю. Я понимаю, что это никак не остановить. Не остановить войну эту блядскую. Обидно? Обидно, да». Несмотря на свою обиду и злость (недаром она называет войну «блядской»), Света не стала ни призывать к войне до победного конца, чтобы отомстить «обидчикам», ни требовать ее немедленного прекращения — она «смирилась с этим». При этом именно Света — одна из немногих наших собеседниц, которая рассуждала об украинцах не просто с неприязнью, а с ненавистью. «Знаешь, как больно смотреть видосы, когда хохлы выкладывают, как по центральной улице они идут, по Судже, — возмущалась она. — Эти гандоны у меня в деревне, короче, флаг сняли клуба и свой повесили, пидорасы» (ж, 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска родом из приграничья, сентябрь 2024).

Большинство наших собеседников из тех, кто в принципе рассматривал украинцев как врагов, не выражали в их адрес настолько откровенной ненависти. Тем не менее, в их словах часто присутствовала дегуманизация — отказ признавать за украинцами целый ряд человеческих качеств. Показательным в этом отношении является небольшая диалог, состоявшийся в одном из волонтерских центров при участии нашей исследовательницы. Ниже мы приведем его полностью — в той форме, в которой исследовательница восстановила его по памяти. Помимо исследовательницы в диалоге участвовали беженец из небольшой деревни на границе с Украиной, оккупированной украинской армией, и волонтерка, которая, как выяснилось чуть раньше, бежала из этой же деревни в августе 2024. Вот как выглядел обмен репликами в этом диалоге:

Волонтерка: А знаете, что ВСУ делают? Они берут, переодеваются в вещи гражданские!

Беженец: И плохо, что кукуруза их скроет.

Волонтерка: Да.

Исследовательница: Что?

Хором: Кукуруза.

Волонтерка: Поля с кукурузой.

Исследовательница: Ааа... И?

Беженец: В кукурузу залез, тебя не видно, там кукуруза ростом с человека. Кукуруза — она же высокая. Их искать надо, когда они шевелятся. Они в кукурузу залазят и тяжело их убивать (м, около 50 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024).

Этот диалог, напоминающий сцену из прозы Владимира Сорокина, интересен в нескольких отношениях. Во-первых, тут снова хорошо видно, как беженец и волонтерка, выходцы из одной деревни, понимали друг друга с полуслова, в то время как исследовательница некоторое время оставалась в недоумении и была вынуждена несколько раз переспрашивать своих собеседников, что именно они имеют в виду. Во-вторых, ключевую роль здесь играет то, какими словами беженец описывал поведение военных ВСУ: последний «залез» в кукурузу, «шевелится», его «надо искать» и поэтому «тяжело убивать». Этот язык скорее подошел бы для описания поведения, например, мелких грызунов — юрких, хитрых, но доставляющих неприятности хозяйству и поэтому требующих уничтожения.

Можно было бы предположить, что это всего лишь манера выражаться, свойственная конкретному собеседнику, который почему-то любит сельскохозяйственные метафоры — но это не так. Многие куряне использовали похожий язык в разговорах с нашими исследовательницами. «Все равно бы они *полезли*, хохлы», — сказал, например, житель Курска, объясняя, почему ввод войск в Украину в феврале 2022 был необходим (м, около 55 лет, сотрудник похоронного бюро, житель Курска, Курск, октябрь 2024). «Я хочу, чтобы *этих всех гнид* убрали оттуда, с той земли», — обронила в разговоре с нашей исследовательницей одна из беженок, уточнив, что имеет в виду «Западную Украину» (ж, около 35 лет, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024). «Вот даже по телевизору показывали — наши отняли транспорт ихний и *гнили этих чертей*», — уверенно рассказывала другая беженка (ж, около 45 лет, сторож в колхозе, беженка, Игловка, октябрь 2024). «Как раз сейчас в нашем поселке *они сидят*, все украинцы, — жаловалась третья. — Когда их *выгонят* оттуда, никто не знает» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

Но откуда берется этот взгляд? Может показаться, что перед нами типичный процесс дегуманизации военного противника, свойственный большинству военных конфликтов — мол, а как может быть иначе? Однако в данном случае это не так: из наших собственных исследований мы знаем, что большинство россиян, живущих в удаленных от фронта регионах, не судят об украинцах подобным образом. В тех случаях, когда они в принципе используют негативные описания врага, эти описания заимствуются из языка идеологического: украинцы становятся «нацистами» или «бандеровцами». Дегуманизирующий же язык, превращающий украинцев не в агрессивного врага-«нациста», а в надоедливую полевого паразита,

рождается снизу — от тех, кто хорошо знаком с противником. Можно предположить, что это знакомство играет важную роль в формировании подобного взгляда.

Поляки, британцы и «чумазые»

Одновременно некоторые куряне, оказавшись под обстрелами и убегая от армии тех, кого они недавно считали добрыми соседями, отрицали, что украинцы вообще сражаются на стороне ВСУ. На месте украинцев наши собеседники представляли себе «наемников», «западнцев», «американцев», «поляков» и даже «чумазых».

Иногда враги-украинцы оказывались на поверку вовсе не украинцами, а иностранными наемниками. Нечто подобное случилось во время разговора нашей исследовательницы с Раисой, еще одной представительницей группы студентов местного колледжа, «добровольно-принудительно» отправленных помогать беженцам. Раиса делилась с несколькими девушками, среди которых была и наша исследовательница, рассказами об ужасном поведении солдат ВСУ. В одной из ее историй солдаты «взорвали» четырнадцатилетнего мальчика, зарезали его бабушку и изнасиловали его сестру-погодку. В другой — повесили восьмерых детей. В третьей — расстреляли беременную девушку. Перечисляя эти происшествия, она почти всегда использовала местоимение «они» в отношении преступников, лишь однажды назвав их «украинцами». Когда Раиса закончила перечислять где-то услышанные ей истории, она заключила: «Я просто жду момента, когда скажут: “Все, бля, *они* все сдохли!” И я такая: “Ес!” Напьюсь с горя». Исследовательница уточнила, кого именно она имеет в виду, говоря «они». «Хохлы, блять», — быстро ответила Раиса. Но потом задумалась и проговорила: «НАТОвцы, не НАТОвцы, все вот эти уроды. *Там уже даже хохлов, по сути, нет, там все наемники*» (ж, около 20 лет, студентка ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024). Вопрос исследовательницы, вероятно, заставил ее взять паузу и подумать: а могут ли хорошо знакомые ей соседи-украинцы насиловать, расстреливать и вешать детей? Несмотря на свою злость, Раиса не могла поверить в это — но и не могла просто отбросить истории, которые куряне постоянно пересказывали друг другу. В результате она нашла выход: все эти вещи происходили на самом деле, но творили их не украинцы, а наемники.

За время своего пребывания в Курской области наши исследовательницы слышали истории разной степени фантастичности об иностранцах в украинской армии. Одну их самых курьезных рассказала нашей исследовательнице и ее коллегам-волонтерам пожилая беженка,

пришедшая в центр гуманитарной помощи. «Я вот так британца видела, как вас, — говорила она волонтерам. — И грека. Один на чистейшем русском говорил, а другой молчал. И он на “вы” меня называл и все время матами. Но **я поняла, что это не наш солдат**» (ж, около 70 лет, пенсионерка, беженка, Курск, декабрь 2024). При всей очевидной неправдоподобности этой истории показательно то, как именно она была рассказана. «Я поняла, что это **не наш** солдат», — уверенно заявила она, несмотря на легкие улыбки своих собеседников-волонтеров. «Не наш» в данном случае не означало «не российский» — очевидно, что речь шла о солдатах ВСУ. «Не наш» означало «не украинский», чужой.

Другой беженец, мужчина средних лет, рассказывал нашей исследовательнице: «Там в основном-то украинцев почти не осталось. Украинцы уже сразу сдаются». «А кто остался?» — уточнила исследовательница. «Ну, **чумазы. Американцы, там поляки, может, попадают**» (м, около 45 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, октябрь 2024). Еще одна беженка, молодая женщина с высшим образованием и в прошлом офисной работой, общаясь с нашей исследовательницей, настаивала: украинцы воевать совсем не хотят, а некоторые по доброй воле сдаются в плен. «Даже когда украинцы зашли на нашу территорию, они наших не трогали никого. А когда зашли **поляки, все остальные** — они просто людей расстреливали, детей маленьких, больших, машины» (ж, 28 лет, в прошлом администраторка частной клиники, беженка, Курск, октябрь 2024).

Более того, периодически жители приграничья — вовсе не будучи антивоенно-настроенными — настаивали на том, что украинцы не просто не совершают преступлений против российских граждан, но и, наоборот, активно помогают им. Софья Викторовна, сама беженка, но ставшая волонтеркой, чтобы не сидеть без дела, как-то рассказывала посетительнице центра гуманитарной помощи о бойце ВСУ Андрее, который заботится о россиянах на оккупированных противником территориях. Андрей, по ее словам, ездит по подконтрольным ВСУ российским деревням, развозит еду и лекарства, а еще — помогает эвакуировать россиян из-под обстрелов. Собеседница Софьи Викторовны, удивленно слушая этот рассказ, несколько раз переспросила, действительно ли речь идет об украинском солдате, и Софье Викторовне приходилось настойчиво уверять ее в этом (ж, около 65 лет, в прошлом завуч младших классов, беженка и волонтерка, Курск, декабрь 2024). При этом именно Софья Викторовна днем ранее «попалась» на том, что тайком откладывала гуманитарную помощь, предназначенную для гражданских, российским военным, чтобы те «возвращались живыми». Иными словами, Софья Викторовна — вовсе не

противница войны и не симпатизирует украинцам политически. Но она не готова видеть врагов ни в украинских, ни в российских военных, которых ей одинаково жалко.

Разговаривая с жителями удаленных от фронта регионов России, мы почти не сталкивались с утверждениями о том, что на стороне противника не воюют настоящие украинцы — наши собеседники, по всей вероятности, просто не были озабочены этим вопросом. Соответственно, можно предположить, что взгляд — а точнее, желание оправдать простых украинских граждан — является результатом длительного сожительства и тесного повседневного взаимодействия с ними.

Если для большинства россиян «враг» в российско-украинском конфликте остается абстрактным — образом из телевизора и интернета — то для курян этот враг являлся гораздо более конкретным. Многолетнее соседство с украинскими гражданами, наблюдение за перемещениями войск с 2022 (а возможно, и с 2014) года, а также прямое влияние войны на их — все это, вероятно, формировало и специфические отношения с солдатами ВСУ. В некоторых случаях образ солдат-украинцев как «таких же, как мы» разрушался под давлением перенесенных испытаний (и отчасти пропаганды), наполняясь новыми, негативными, смыслами. Однако украинцы описывались не в агрессивно-идеологических терминах — как «нацисты» или «бандеровцы», а с помощью повседневного дегуманизирующего языка — как надоедливый полевой паразит. В некоторых случаях куряне, очевидно имевшие опыт знакомства с гражданами Украины, настаивали, что в ВСУ воюют иностранцы, а простые украинцы являются такими же заложниками этой войны, как и они, простые россияне.

3. КРИТИКА ВОЙНЫ

Разумеется, за два месяца своего пребывания в Курской области наши исследовательницы слышали не только оправдания войны — пусть последние и преобладали — но и ее критику. Один тип критики войны мы уже коротко упоминали выше. Она звучала от в целом лояльных власти людей, не являющихся противниками войны, в отдельных, специфических коммуникативных ситуациях, когда реплики собеседников каким-то образом провоцировали их на критические комментарии. Здесь мы расскажем, что именно представляла из себя эта критика. Кроме того, среди курян, как и везде, были люди, которых смело можно назвать последовательными противниками войны. Эти люди считали, что начало войны было ошиб-

кой или даже преступлением со стороны российских властей и что войну следует немедленно прекратить. Как выглядела эта критика и отличалась ли она чем-либо от того, как критиковали войну антивоенно настроенные жители более отдаленных от фронта регионов? Вот второй вопрос, на который мы отвечаем в этом разделе.

Большие дяди делят деньги

Наши лояльные власти собеседники, которые, тем не менее, время от времени критиковали войну, делали это в соответствии с одной и той же логикой. Они говорили, что у «спецоперации» нет никаких благородных (спасение братского народа) или даже стратегически значимых (обеспечение национальной безопасности) целей. В основе их критики лежали два противопоставления: бедные люди противопоставлялись людям богатым и безвластные люди противопоставлялись обладающим властью политикам (причем не обязательно российским). Бедные и безвластные граждане описывались как жертвы войны, а богатые политики — как ее инициаторы и бенефициары.

Так, согласно беженке Тамаре, которая, как и упоминавшаяся выше Софья Викторовна, сама стала волонтеркой, чтобы не сидеть без дела, война «не закончится, **пока богатые не наиграются**» (ж, около 45 лет, профессия неизвестна, беженка, волонтерка, Курск, декабрь 2024). Мастерница педикюра, на прием к которой попала наша исследовательница, сформулировала похожую мысль. С ее точки зрения, война будет идти пока **«большие дяди, которые у мировой власти что-то делят»**, не договорятся между собой (ж, около 40 лет, мастерница педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). А по словам пожилого беженца, война не нужна никому, кроме **«этих капиталистов, которые набивают карманы»** (м, около 75 лет, пенсионер, беженец, Курск, октябрь 2024). Так или иначе, все эти «ситуативные» критики войны единодушно приписывали ответственным за ее начало корыстные мотивы.

Иногда наши собеседники только *предполагали* наличие у демиургов «спецоперации» корыстных мотивов. «Там такая техника шла — ужас! Они по всем же направлениям шли на Украину. Зачем? Зачем?» — восклицала, например, в диалоге с нашей исследовательницей одна из ее собеседниц, вспоминая первые дни российского вторжения. И потом добавила: **«Поэтому никто ничего не понимает. Все продается, все покупается. И это СВО — это какая-то непонятка»** (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, жительница Курской области, поезд Москва — Курск, октябрь 2024). В данном случае собеседница нашей

исследовательницы осторожно, с некоторой долей неуверенности приписала властям мотив корысти («поэтому никто ничего не понимает»).

Другие же, наоборот, с уверенностью говорили о непрозрачности (а значит, подозрительности) мотивов властей. Показательный в этом отношении диалог состоялся у нашей исследовательницы с двумя постоянными посетителями одного из центров гуманитарной помощи. На этот раз беженку Лину и ее бойфренда Сашу — военного в отпуске в связи с ранением — она встретила в курилке. Они жаловались, что война никак не заканчивается из-за целенаправленной пропаганды с обеих сторон. «Вы считаете, что это кому-то надо? А кому?», — решила уточнить исследовательница. «Простота! Хуй его знает!» — с насмешкой ответила Лина (ж, около 35, в прошлом работница завода, беженка, Игловка, октябрь 2024). Другими словами: разумеется, «это кому-то надо», но наивно полагать, что обычные люди, такие, как мы, смогут разобраться в корыстных мотивах сильных мира сего.

Особенность этой критики войны заключается не только в ее ситуативности, а в том, что сама по себе она может быть легко трансформирована в отстраненное оправдание войны. Между возмущенным высказыванием «война ведется из-за корыстных мотивов властей» и обреченным высказыванием «войны ведутся из-за корыстных мотивов властей — такова реальность, в которой мы живем» стоит только способность говорящего все еще испытывать злость, а не только смирение.

Критиковать, но понимать

Совсем по-другому критиковали войну те, кого можно назвать последовательными противниками войны. На основе данных этнографического исследования в удаленных от фронта регионах России осенью 2023 мы условно выделили четыре типа антивоенно настроенных россиян. Среди них были те, кто пытался интегрироваться в новую реальность, в которой согласие с войной стало навязанной властями нормой («интегрирующиеся противники»); те, кто, наоборот, изолировался от нее, окружая себя людьми с антивоенными взглядами («противники-изоляционисты»); те, у кого не получалось ни то, ни другое («угнетенные противники»); и, наконец, те, кто продолжал бороться против войны («противники-активисты»). Среди встретившихся нам противников войны во время полевой работы в Курской области только один оказался либеральным активистом, и еще одного можно назвать «изоляционистом» — он старался окружать себя единомышленниками и избегал близкого общения с людьми других

взглядов. Всех остальных следует отнести к категории «интегрирующихся противников»: они, продолжая осуждать войну, не разрывали связи с лояльным войне и власти большинством.

Как и «интегрирующиеся противники», встретившиеся нам в других, более отдаленных от фронта регионах России, эти куряне, несмотря на осуждение российского вторжения в Украину, без труда поддерживали общение с оправдывающими войну близкими и с пониманием относились к их лояльным взглядам и действиям. Однажды, например, наша исследовательница ужинала с супружеской парой, Мариной и Сашей, которые прямо во время ужина стали спорить о том, насколько осмысленным было решение начать «спецоперацию». Вот как исследовательница описывает свои впечатления от этого спора:

«Было любопытно и то, что в этом разговоре, несмотря на разницу позиций — Марина была антивоенной, Саша — провоенным — между ними не возникало серьезных конфликтов. То, как они обсуждали происходящее, их интонация, напоминало мне разговоры соседей, которые обсуждают кого-то “из своего подъезда”: живо, с интересом, с нотками легкого возмущения, иногда споря о деталях. Даже не знаю, как точнее описать это, но это было именно такое будничное, привычное обсуждение чего-то, что вызывает много эмоций, близко каждому, но не может стать причиной экзистенциального спора» (Игловка, октябрь 2024).

Кира, одна из тех немногих, кто согласилась дать социологическое интервью под запись, следующим образом объяснила, почему она, будучи противницей войны, с пониманием относится к тем, кто помогает российской армии:

«Тем, кто как-то помогает фронту, я не могу сказать что-то отрицательное, потому что и с одной и с другой стороны кто-то что-то делает. Я не могу кого-то обвинять и осуждать. Считаю, что это будет не совсем правильно. И у людей есть разные мотивы. Люди могут принимать чью-то точку зрения не из-за своей какой-то жестокости, а может быть, из-за незнания какого-то. То есть все почему-то думают, что все, кто, например, поддерживают Россию, они какие-то ублюдки. Нет, далеко не так. С той стороны тоже много далеко не хороших людей. Почему-то вот у многих какое-то полярное мышление, что вот эти вот поддерживают, вот они вот уроды. А те хорошие. Ну, не знаю, мне кажется,

нельзя никого обвинить в том, что кто-то хочет помочь своим. Я так думаю» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

Еще одно интервью под запись (большинство из которых было как раз с антивоенно настроенными курянами) нам удалось провести с уроженкой Курской области, которая давно переехала в Москву, но регулярно навещает родные края. Эта информантка призналась, что не просто способна понять тех, кто помогает российской армии, но и сама жертвовала деньги на защиту российского пограничья. При этом она постоянно рефлексировала над тем, где проходит граница между чем-то морально допустимым для нее, как для противницы войны, и чем-то недопустимым. На момент интервью эта граница проходила между поддержкой оборонительных действий России, направленных на защиту российских граждан, и действий наступательных. В третьей главе мы уже рассказывали о ее сочувствии своей многолетней и помогающей срочникам подруге — сейчас мы приведем этот отрывок из интервью полностью:

«У меня подруга, она вообще продавец шампуней. Она получает зарплату, там, ну, тысяч, наверное, сейчас 25 у нее зарплата, у нее трое детей. И она за свой счет покупает мясо, там, какую-то рыбу, недорогую, типа, трески, жарит это все, и они отвозят [в зону боевых действий]. Она говорит: “Я не могу, у меня сын служил. Я знаю, каково это быть там солдатом-срочником, какие они оборванные.” <...> Естественно, я ей давала. Ну, потому что *мне ее жалко*, и я помогала ей. В том плане, что *я считаю, что накормить борцом солдата, ну, или вообще любого человека*, да, хоть и украинца, [это нормально]. <...> *А когда уже на нас напали, <...> на этот ПВО*, стала моя подруга [деньги] собирать, и я *отправила*. То есть *вот этим ракетным войскам, которые занимаются обороной*. Я считаю, что это, ну, *не на убийство же, а на оборону*. Ну, мой этический кодекс мне позволяет как бы... <...> Вот, когда вот началось [вторжение ВСУ], на раненых собирали, на бабулечек вот этих вот в Рыльске, то я тоже помогала. *То есть какие-то такие мирные цели, либо оборонительные, я считаю, это нормально*» (интервью, ж, 47 лет, домохозяйка, родом из Курской области, онлайн, декабрь 2024).

Проживание в приграничной Курской области создавало дополнительные мотивы для разнообразных форм поддержки армии и государства. В глазах людей эта была не поддержка агрессивной войны, а поддержка обо-

роны, страдающих мирных жителей, беженцев. При этом сама готовность помогать тем, кто участвует в войне на стороне России, не поддерживая при этом войну как таковую, свойственна «интегрирующимся противникам» из самых разных регионов России. Например, в Бурятии мы встречали антивоенно настроенных россиян, которые жертвовали деньги и отправляли продукты срочникам, поскольку знали, в каких нечеловеческих условиях им приходится существовать во время службы.

При этом противники войны в Курской области казались чуть более настороженными по отношению к чужакам, чем противники войны в отдаленных от фронта регионах. С одной стороны, как и везде, противники войны охотнее говорили с исследователями: не будем забывать, что шесть из семи взятых нашими исследовательницами социологических интервью под запись — это интервью с антивоенно настроенными курянами. С другой стороны, во время таких интервью они старались избегать прямых негативных оценок войны, по крайней мере до тех пор, пока не узнавали взгляды самих исследовательниц. Например, после онлайн интервью с той самой уроженкой Курской области, которую мы цитировали выше, исследовательница записала следующее:

«Информантка была открыта, дружелюбна, и когда я минут через 20–30 после начала разговора попросила ее вспомнить, как для нее началась война, она рассказала, что была в таком шоке, что даже вышла на Пушкинскую с плакатом. И потом так скомкано скороговоркой проговорила: “Ну вот это нетвойне и так далее”. То есть она не скрывала свою позицию, но пыталась избегать прямых высказываний и фильтровала речь» (заметка исследовательницы после интервью с ж, 47 лет, домохозяйкой, родом из Курской области, онлайн, декабрь 2024).

Еще более показательной в этом отношении была попытка другой нашей исследовательницы взять анонимное социологическое интервью у молодой эко-активистки из Курска, Насти. Ее контакт исследовательница получила от своей знакомой антивоенной эко-блогерки, но встреча Насти и исследовательницы в Курске так и не состоялась — девушки не нашли подходящее обоим время. Впрочем, Настя согласилась помочь исследовательнице и дать ей анонимное интервью онлайн, уже после ее возвращения домой. Разговор, однако, не клеился:

Исследовательница: Слушай, а как ты думаешь вообще — зачем это все? Как это все получилось?

Настя: Я не готова сейчас отвечать на этот вопрос.

Исследовательница: Хорошо, имеешь полное право.

Настя: Я не хочу в тюрьму.

Исследовательница: Я это все понимаю. <...>

Исследовательница: Слушай, а если вот в идеальном мире — как было бы лучше им [беженцам] помогать?

Настя: Лучше бы вообще не начинать войну, чтобы не было таких ситуаций. И в принципе не создавать подобных ситуаций.

Исследовательница: А по твоему мнению — как вообще эта ситуация возникла?

Настя: Я не готова отвечать на этот вопрос. (ж, 23 года, студентка, жительница Курска, онлайн, ноябрь 2024).

После получасового разговора в таком духе исследовательница поблагодарила свою собеседницу и решила закончить интервью. Выключив диктофон, она сказала, что понимает сомнения и страхи Насти, призналась в своих собственных антивоенных взглядах, рассказала про взгляды своих коллег по Лаборатории. Ее собеседница, как пишет исследовательница в дневнике, «заметно расслабилась» — между девушками сформировался совсем другой уровень доверия. Тогда исследовательница предложила Насте продолжить интервью — и они проговорили еще час, в течение которого Настя свободно рассуждала о войне, не стесняясь критически ее оценивать, и не скрывала своих оппозиционных взглядов.

Еще одна черта, свойственная высказываниям антивоенно настроенных курян, — это их сходство с суждениями оправдывающих войну россиян. Возлагая ответственность за войну и ее разрушительные последствия на российские власти, антивоенные куряне в то же время избегали политических дискуссий о войне и считали, что у войны есть причины, которые невозможно понять обычному человеку. Многие из них не испытывали симпатий и к действиям Украины ВСУ.

Например, обеспеченная жительница Курска Вероника, с которой наша исследовательница однажды гуляла по городу и болтала, была критически настроена не только к «спецоперации», но и к российскому государству как таковому. Несмотря на то, что ее негативное отношение к войне выглядело последовательным (то есть, она не пыталась оправдать действия российской армии в Украине), она, как и оправдывающие войну россияне, постоянно повторяла, что эта война «кому-то» и «для чего-то нужна». Иными словами, она отказывалась давать четкую интерпретацию происходящему, предполагая, что действия и интересы сильных мира сегодня плохо поддаются толкованию. Вероника также призналась, что если какое-то время назад она еще пыталась разобраться в причинах войны, то сейчас поняла, что это бесполезно — обычные люди «там

вообще такие мелкие пешки» (ж, около 35 лет, частная бизнесменка, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). А уроженка Курской области Вера, готовая жертвовать деньги на оборону своего родного региона, сама отметила сходства между ее собственным восприятием войны и восприятием войны своих провоенных близких. Не будем забывать при этом, что она не просто считала себя противницей войны — в свое время она даже выходила на антивоенные пикеты:

«Я думаю, что мои сестры, они верят, что это происки НАТО. У нас вот взгляды глобально там могут отличаться, да, но, в целом, мы, как это сказать, *ни они не радикальны, ни я не радикальна*. То есть, в том плане, что *мы сходимся, что война нам не нужна эта, это не наша война*. И вот, да, но они верят, да, что НАТО, это все происки НАТО, Зеленский-то вообще не самостоятельный игрок, и что, дебилов там много, но простые люди, они там страдают от нее больше» (ж, 47 лет, домохозяйкой, родом из Курской области, онлайн, декабрь 2024).

А примером исчезновения симпатий к украинской стороне вместе с сохранением антивоенной позиции, не снимающей ответственности с России, может служить история Киры. Кира, о которой мы уже писали выше, призналась, что после попадания украинского снаряда в дом своего детства, она хоть и не поменяла свою негативную оценку решения российских властей начать войну, но перестала активно поддерживать Украину. Более того, она начала осуждать украинцев, которые почему-то возненавидели обычных россиян. Мы уже встречались с похожим взглядом в начале этой главы — он был озвучен лояльным войне и власти таксистом. В отличие от этого таксиста, Кире было важно подчеркнуть свое негативное отношение к войне, в которой она винила российский политический режим. Но это не мешало ей выразить свое возмущение в адрес украинцев и «либералов», обозлившихся на ее сограждан:

«Мое мнение скорее изменилось по отношению к людям, поддерживающим Украину, к украинцам. Потому что *очень много необоснованного негатива*, в том числе, негатива, просто зверского и нечеловечного *исходит от них в нашу сторону*. Я даже как-то натыкалась на комментарии, когда был теракт в Крокусе, многие писали вот во всяких либеральных пабликах, особенно не стесняясь, о том, что нам так и нужно, мы заслужили это, да. И таких было случаев немало, я это все вижу. Мое мнение относительно людей очень сильно изменилось. *Я не могу им сочувствовать после того, как они относятся к*

нам, просто к обычным людям. Я не говорю про военных, я говорю просто про обычных людей. Как можно желать нам, не знаю, мучений, смерти? Я бы так никогда не делала, даже после вторжения там чьего-то, я сроду так не скажу» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

Проводя исследование в удаленных от фронта регионах России, мы уже **наблюдали** сближения между анти- и провоенно настроенными россиянами. Наши антивоенные собеседники рассказывали нам, что испытывают сочувствие и даже солидарность с лояльными власти согражданами, переживающими тяготы войны (например, мобилизованными против своей воли). Однако в Курской области мы заметили не только солидарность на словах (хотя и ее тоже), но и сходство в том, как антивоенные и лояльные власти жители региона говорили о войне. И те, и другие не хотели рассуждать о ее причинах и давать ей интерпретации, а также — часто не были готовы испытывать сочувствие к другой стороне.

Наконец, некоторые из противников войны, с которыми разговаривали наши исследовательницы в Курской области, признавались, что пережитый опыт обстрелов и оккупации вынудил их поставить под вопрос собственные оценки происходящего. С одной стороны, даже они подчеркивали, что продолжают желать немедленного окончания войны и не снимают ответственность за ее начало с российских властей. С другой стороны, они начинали сомневаться, действительно ли за этим решением стоит «безумие» президента и его жажда власти, а не реальные угрозы безопасности; действительно ли один Путин виноват в том, что война не может закончиться:

«Грубо говоря, мы заложники ситуации, и они точно такие же заложники ситуации. А вот те, которые, грубо говоря, имеют влияние на принятие решений — меня начало выбешивать, что вот эти решения, которые принимаются обеими сторонами... **Ну, с нашей понятно. Но та страна, она тоже не несет никаких рисков за эти решения.** <...> Ну, вот мы с девчонками, вот сейчас, когда про Рьльск эта ситуация, мы думаем, ну, получается, **вы [Путин и Зеленский] оба одинаковые. Зачем ты [Зеленский] бомбишь город, где живут, блин, старики и бабушки?** Молодежь, естественно, оттуда уехала уже. Ну, по бабушкам с гусями бомбить — это тупо» (ж, 47 лет, домохозяйкой, родом из Курской области, онлайн, декабрь 2024).

Таким образом, вторжение войны в повседневную жизнь россиян не привело к «сплочению вокруг флага», но и не вызвало протеста: поляризации общества не произошло. В каком-то смысле куряне с разным отношением к войне еще больше сблизились — за счет свойственного обеим группам ощущения собственного бессилия и отказа от радикальных оценок.

Мы наблюдали два типа критики войны среди курян. Первая из них была ситуативной: к ней периодически прибегали люди, которые в целом оправдывали войну. Представляется, что война ведется сильными мира сего в корыстных интересах, и страдает от нее простой народ, прежде всего — россияне. Именно *собственные* страдания и страдания своих близких заставляли их думать о войне в негативном ключе. Вторая критика была последовательной, то есть не зависящей от коммуникативной ситуации, и звучала она из уст тех, кого мы привычно называем противниками войны. Несмотря на то, что наше исследование — не количественное, мы можем предположить, что многие противники войны в Курской области так или иначе интегрировались в лояльное войне общество. Они не ссорились с более провоенными близкими, понимали их мотивы, когда те помогали российским солдатам, и сами могли участвовать в такой помощи. При этом они рефлексировали об этической составляющей своих практик и проводили границу между допустимым и недопустимым в отношении войны (например, помощь обороне в противоположность помощи в нападении). Антивоенные куряне даже рассуждали о войне во многом так же, как их лояльные власти соотечественники. Не снимая ответственности за начало войны с России, они неохотно говорили о причинах и смысле конфликта, подчеркивали бессмысленность подобных рассуждений со стороны «маленьких» людей, и далеко не всегда могли испытывать симпатию к Украине.

4. НЕДОВОЛЬСТВО ВЛАСТЬЮ

Казалось бы, у курян было множество причин для недовольства властью. В результате прорыва границы украинской армией, ее относительно беспрепятственного продвижения вглубь российской территории и оккупации части населенных пунктов Курской области, жители приграничья понесли материальные, социальные и психологические потери. Из-за военных действий у многих из них были разрушены дома. Даже если их имущество не пострадало при бомбежке, они не знали, уцелело ли оно во время оккупации или оказалось разграблено мародерами — к тому же возвращение в родные города и деревни в ближайшее время

не представлялось возможным. Люди, владевшие хозяйством, потеряли скот, и многие были вынуждены оставить домашних животных на произвол судьбы. Некоторые не смогли эвакуировать близких и часто не имели с ними связи. Наконец, эвакуация застала большинство жителей приграничных районов врасплох, поэтому необходимые для жизни вещи попросту не были собраны для короткой, как казалось многим, длиной в несколько дней, поездки.

У жителей Курска и других населенных пунктов области, не потерявших свои дома и не превратившихся в беженцев, тоже хватало поводов для недовольства. Осенью 2024 года почти каждый день звучала сирена воздушной тревоги, периодически снаряды разрывались в жилых районах, улицы заполнили военные, а приток беженцев привел к дополнительной нагрузке на без того хлипкую городскую инфраструктуру и социальную систему.

В этом разделе мы описываем, как именно люди выражали свое недовольство перенесенными тяготами: на что жаловались, кого считали виноватыми в своих страданиях (и обвиняли ли кого-то вообще), а также, как они «распределяли» ответственность за произошедшее между разными уровнями власти. Собранный нами материал дает основания предположить, что сам по себе прорыв границы вряд ли стал бы причиной массового недовольства жителей (границу прорывали и [ранее](#), но никто из наших собеседников не выражал возмущения в связи с этим эпизодом, а большинство и вовсе не вспоминали о нем), если бы за ним не следовала цепочка разочарований в действиях местной и региональной власти.

Это делается все на местном уровне

Курские беженцы — одна из наиболее пострадавших от войны групп среди россиян. И пусть большинство из них, как мы выяснили выше, уклонялось от ответа на вопросы о причинах войны и вторжения украинской армии на территорию России, они охотно говорили о материальных последствиях этих событий. Такие разговоры часто содержали критику в адрес власти.

Эта критика, однако, почти никогда не подвергала сомнению действия президента и армии, как и само решение начать войну. Вместо этого она воспроизводила расхожую идею «царь хороший, бояре плохие»: на представителей власти, обладающих *наименьшими* полномочиями, обрушивалось *наибольшее* количество критики. И хотя нельзя сказать, что беженцы были непременно довольны Путиным, чаще всего тот становился не объектом критики, а адресатом жалоб на местные власти.

Когда, например, наша исследовательница, перебирая одежду вместе с пожилой беженкой в одном из центров гуманитарной помощи и слушая ее сетования, спросила, не пробовала ли та писать Путину, беженка удрученно ответила: «Было обращение Путину», — и замолчала, мол, оно ни к чему не привело. «Так власти добьются того, что все на Кремль пойдут с вилами!» — эмоционально воскликнула исследовательница. Но беженка остудила ее пыл: «Так это делается все на местном уровне. Путин один. А сколько их тут этих кровососов?» (ж, около 65 лет, сиделка в доме престарелых, беженка, декабрь 2024). Иными словами, она не только не критиковала президента Путина, но и бросилась защищать его, как только услышала намек на критику из чужих уст. Одновременно она не стеснялась направлять свое возмущение на *местных* «кровососов».

Основное недовольство беженцев было связано не столько с самим прорывом границы иностранными войсками, сколько с *реагированием* местных властей — глав сел и районов. Однако это недовольство в повседневных разговорах почти никогда не трансформировалось в открытую, артикулированную критику власти с формулировкой требований (хотя позднее такая критика нашла выражение в *формате петиций*, инициированных наиболее активными беженцами). Напротив, в повседневной речи наши собеседники прибегали к различным речевым стратегиям, позволяющим смягчать характер обвинений и завуалировать недовольство.

Наибольшее возмущение у большинства беженцев вызывало то, что **местные власти** — главы сел и районов — **не справились с организацией эвакуации и не предупредили** жителей о подходе украинской армии. В некоторых случаях, по словам беженцев, они намеренно вводили людей в заблуждение, преуменьшая масштаб происходящего. Например, когда ВСУ были на подступах к Судже, местным жителям посоветовали «не поднимать панику» (ж, около 20 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Сами представители местной власти, по словам беженцев, эвакуировались заранее. Например, администрация Кореневского района, граничащего с Украиной, по словам одной из собеседниц нашей исследовательницы, которая рассказывала об этом, продолжая перекапывать горы отданной кем-то одежды, уехала «первое всех, еще четвертого августа, когда войны не было». После этих слов, беженка, обутая в резиновые шлепанцы — вместо более подходящей для октябрьской погоды обуви — вздохнула и, как будто оправдываясь за свой внешний вид, добавила: «Если б хотя бы заранее людей предупредили бы, может быть, кто-то голый бы не уехал. Мы вообще уезжали в тапочках и в шортах, в чем были одеты» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

В отсутствии информирования и помощи со стороны администрации многие люди были вынуждены эвакуироваться самостоятельно — когда украинские войска находились критически близко к их населенным пунктам. Беженцы рассказывали нашим исследовательницам, как выезжали под пулями, как кооперировались со знакомыми и соседями, потому что ждать помощи было неоткуда, или ездили в приграничные села, чтобы спасти своих родных, не получивших никакой поддержки от местной власти. Мы уже рассказывали историю Марии, молодой преподавательницы курского колледжа, муж которой поехал за ее родителями «ночью, забирал в два часа ночи. Сам. Эвакуации не было» (ж, около 33 лет, преподавательница ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024). Она объяснила рискованные действия своего мужа тем, что «вся администрация *свалила*», зная о приближении украинских войск.

Примечательно, однако, что, говоря о том, как власть оставила жителей на произвол судьбы, она не меняла интонации. На ее недовольство указывал только выбор слова: «свалила» вместо нейтрального «уехала». Другой беженец, родом из Глушково, использовал похожую лексику, критикуя местную власть. «У нас администрация вся *смоталась* гораздо раньше», — говорил он (м, около 55 лет, профессия неизвестная, беженец, Курск, сентябрь 2024). А рассказывая о том, как разъяренные местные жители избили главу Суджи в здании цирка, переоборудованном в ПВР, уроженка Суджи объясняла: «Должен был хоть как-то посодействовать, а он сам первый *слинял*» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). С помощью пренебрежительных по отношению к действиям власти слов — «свалили», «смотались», «слиняли» — беженцы выражали свое недовольство брошенностью на произвол судьбы, теми, кто должны были им помогать, но вместо этого спасались сами.

При этом выражение недовольства редко выходило за пределы использования глагольных конструкций с пренебрежительным оттенком. А некоторые беженцы и вовсе рассказывали о жизни под оккупацией, эвакуации, попытках обустроиться на новом месте, сухо перечисляя факты и не упоминая представителей власти в принципе.

Беженцы были также недовольны **местной властью** из-за того, что вопреки заверениям властей и — в отдельных случаях — военных их «**временное перемещение**» **затянулось на неопределенное время**. Ожидая, что им предстоит покинуть свои дома на короткий срок («они сказали, что на пару дней», ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024), некоторые не взяли с собой ничего, кроме документов. Впрочем, очевидный обман со стороны власти, несоответствие ожиданий

и реальности, вызывали не столько возмущение, сколько горечь. Наши собеседники горевали, например, о том, что из-за дезинформации «сверху» домашние животные оказались брошены и, вероятнее всего, погибли. «Мне больше всего, вот, жалко животных. Да, из-за дома я тоже очень плакала. Но животных — мы их как будто предали», — говорила беженка, перебирая детские вещи в пункте выдачи гуманитарной помощи (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, Курск, декабрь 2024). Представители власти — те самые «они» — объявлялись виновниками трагедии лишь косвенно, и то не всегда.

Эти не прямые обвинения передавались с помощью риторических средств вроде усиленного отрицания любых общественно полезных действий со стороны местной власти. «Никто», «ничего», «никого», — повторяли наши собеседники, говоря о поведении чиновников. «Никто. У нас никто ничего не предупреждал, эвакуировали уже позже намного», — жаловалась молодая беременная беженка исследовательнице, помогавшей ей с выбором одежды в центре гуманитарной помощи (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). А уже знакомая нам беженка в резиновых тапочках говорила: «Никто не предупреждал, даже людей не предупредили. Никто ничего не говорил» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024). Можно предположить, что словосочетания, содержащие двойное, а иногда и тройное отрицание, снова указывают на переживаемое беженцами ощущение: их будто бросили те, кто должен был отвечать за их судьбу.

Важно, что наши собеседники-беженцы не критиковали ни российскую армию, не сумевшую защитить регион, ни политическое руководство страны, стремящееся к завоеванию новых территорий ценой человеческих жизней. Ответственными за свои страдания — то есть за то, что им пришлось в спешке покинуть свои дома и они до сих пор не могут туда вернуться — они считали исключительно представителей местной власти. При этом **недовольство неэффективным управлением последствиями вторжения и оккупации** — например, отсутствием должных компенсаций — они адресовали **либо региональным чиновникам, либо полностью обезличенной и обобщенной «власти»** — абстрактным «им». Таким образом, сами обвинения оказывались столь же абстрактными, как и образ власти, к которой они были адресованы.

Действительно, со временем беженцы стали ожидать от государства быстрой и равноценной компенсации потерянного имущества, а также определенности. Неспособность или нежелание государства внести определенность в их жизнь порождала страх, но также возмущение, раздражение и досаду. Часто эти эмоции выражались в том, как беженцы отвечали на

вопросы о помощи государства. «Но государство вам сейчас помогает?» — спросила, например, исследовательница у пожилой беженки. «Ну, чем? Тем, что мы здесь? Чем оно помогает? Дали десять тысяч, дали пятнадцать тысяч, на этом все закончилось», — прозвучало в ответ (ж, около 65 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024). А другая беженка, на этот раз молодая, ответила нааналогичный вопрос исследовательницы так: «А чем оно помогает? Да ничем оно вообще не помогает» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024). Такие риторические вопросы вместо прямых ответов могут указывать на разочарование говорящих в действиях государства и на их раздражение от самого напоминания о том, что «вообще-то» государство должно было бы заботиться о них.

Некоторые беженцы, все же открыто критиковали власть — впрочем, и в таких критических высказываниях она не становилась менее абстрактной. «Почему вот это вот “КТО”, контр-террористическая опасность? Это к тому, *чтобы* нам денег *не платить!*» — возмущалась жительница Курской области, с которой наша исследовательница познакомилась в поезде (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, жительница Курской области, поезд Москва-Курск, октябрь 2024). «*Они* же говорят, что ничего там не разрушено. А как не разрушено?!» — указывала на отрицание властями «фактов» другая (ж, 72 года, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024).

Разочарование беженцев бездействием властей наиболее емко сформулировала беженка, посетившая встречу с губернатором. Наша исследовательница, повстречавшая эту беженку на складе в центре гуманитарной помощи, поинтересовалась, пообещали ли представители власти что-то на этой встрече. «Пообещали много..., — иронично ответила беженка. — Но ничего не изменилось» (ж, около 65 лет, сиделка в доме престарелых, беженка, декабрь 2024).

Все разворовали

Жители области, не пострадавшие напрямую от войны, жаловались в основном на **показуху и коррумпированность региональных властей** — губернаторов и их команд — которая привела к прорыву границы, а также на **недостаток помощи** после ее прорыва **со стороны власти в целом**.

Именно коррупцией и недостаточностью мер по строительству укреплений на границе (при заверениях в том, что граница защищена), местные жители объясняли прорыв украинской армии на территорию России. Полубившийся нашим исследовательницам вопрос «как так получилось?»,

призванный подтолкнуть собеседников к размышлению о причинах вторжения ВСУ, ставил местных жителей в тупик отнюдь не всегда. В отличие от беженцев, которые часто отвечали на него, просто перечисляя цепочку событий («украинские военные границу перешли и дошли»), куряне, не пострадавшие от военных действий напрямую, время от времени все же рассуждали о причинах случившегося.

Чаще всего местные жители ругали региональных чиновников, указывая на несоответствие слов и дел, иначе говоря, обличая «показуху». Шестого августа 2024 года стало очевидно, что бесконечные заверения представителей власти в надежном укреплении границы оказались построены на лжи. «Ну, по документам отчитались, что защита стоит, — возмутился один из курских таксистов. — Но на самом деле ее не было. Защита была 20 срочников и 10 пограничников. Вот и вся защита» (м, около 45, водитель такси, житель Курска, Курск, декабрь 2024). Другая наша собеседница, Кира, вспоминала лицемерную фотосессию, проведенную возле границы прошлым руководителем региона: «Там поездил губернатор наш, на тот момент Старовойт, пофоткался, мы там, типа, все сделали. А потом, как выяснилось, что даже то, что он пофоткал, там и половины этого не было» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

Этот обман вызывал возмущение курян не только из-за самого факта прорыва границы, но еще и из-за того, что представители власти наживались на лжи. Коррупционность губернаторов и их команд обличал едва ли не каждый местный житель, с которым нашим исследовательницам удалось поговорить о причинах вторжения ВСУ. По словам Григория, одного из курских городских активистов, «Смирнов [губернатор Курской области после отставки Старовойта], разворовав деньги, “пригласил” сюда ВСУ» (интервью, м, около 50 лет, активист, житель Курска, Курск, декабрь 2024). А молодая экологиня Диана употребила еще более эмоционально нагруженные слова, описывая пагубность и злонамеренность действий губернатора. «Старовойт проебал это», — уверенно заявила она. И уточнила: «Проебал, потому что все деньги себе в карман откладывал, потом съебался в Москву. А деньги же нам от Москвы передавались, чтобы мы укрепляли границу» (ж, 21 год, работница аптечного склада, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Несоответствие между словами власти и реальностью вокруг иногда провоцировало наших собеседников на критические замечания в адрес федеральных властей. Однако, если активные, политизированные и часто антивоенно настроенные куряне могли критически высказываться даже о президенте, то аполитичные собеседники, пусть и не стеснялись в выраже-

ниях, но редко прямо обвиняли руководство страны. Например, мастерица педикюра, болтая с нашей исследовательницей во время процедуры, как и многие, жаловалась на (бывшего) губернатора Старовойта: «Президент его хвалит, а мы в полной жопе. Он министр. Этого человека при Сталине расстреляли бы, это было бы заслуженно» (ж, около 40 лет, мастер педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024). Такими словами она, очевидно, выражала недовольство не только действиями Старовойта, но и поведением президента страны, который повысил курского губернатора в должности вместо того, чтобы «расстрелять его за преступления» (по иронии судьбы, этот приговор, спустя почти год после этого разговора бывший губернатор Старовойт **вынес себе сам**). Тем не менее, мастерица педикюра не критиковала президента напрямую, ограничившись лишь косвенным критически замечанием.

Претензии местных жителей в связи с недостаточностью поддержки пострадавших были направлены скорее к абстрактной, обезличенной власти, нежели к конкретным чиновникам, называемым по именам. Однажды, например, наша исследовательница случайно подслушала разговор двух волонтеров, которые передвигали коробки и перебрасывались короткими репликами. «Волонтерство должно быть анонимным и добровольным», — донеслось до нее. Собеседник, не видимый исследовательнице, согласился, но добавил: «Для чиновников это не так». В ответ первый голос продолжил: «Да если бы он хоть одеяла купил... А он же только отчитается» (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). «Он» в данном случае — не конкретное лицо, а собирательный образ государственного чиновника, абстрактного представителя власти. Настя, студентка одного из курских институтов, одна из немногих, кто согласился на социологическое интервью под запись, объяснила:

«У нас о беженцах **заботятся** только показушно, по сути. Да, там какие-то концерты в ПВР, да, действительно вещи им **дают**, это правда, и так далее. Но есть одна очень важная проблема. Данная забота абсолютно несоизмерима с тем, что люди потеряли» (интервью, ж, 23 года, студентка, жительница Курска, онлайн, ноябрь 2024).

Критически высказываясь о действиях власти, Настя говорила о ней, не называя конкретных исполнителей. Сами беженцы, редко критикуя «показуху» вслух, тем не менее, порой демонстрировали недовольство подобным отношением к себе. Так, однажды наша исследовательница наблюдала, как один из беженцев, узнав, что ему нужно поблагодарить спонсора на камеру, отказался от смартфона, махнул рукой и сердито покинул пункт

выдачи гуманитарной помощи (центр гуманитарной помощи, Курск, сентябрь 2024). Как правило более образованные горожане облакали в слова то, что беженцы выражали своим поведением.

Так или иначе, не пострадавшие напрямую от войны куряне (в основном, горожане, к тому же более образованные, чем беженцы — выходцы из приграничных деревень) направляли свое недовольство не только на конкретные региональные власти, но и на условную «Москву». Так, Рита, волонтерка в одном из центров гуманитарной помощи, ежедневно взаимодействовавшая с беженцами, говорила о дистанции — как физической, так и политической — между жителями приграничных районов и властями в Москве. «Уже ВСУшники фотографии выставляли с наших территорий, а первый Совет безопасности был создан только, когда дроны на Москву полетели — вот тут они уже запели немножко...», — иронизировала она. Только когда дроны «уже на Москву полетели», руководство страны, по ее словам, зашевелилось (ж, около 40, педагог, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024). Иными словами, высшее политическое и военное руководство может позволить себе безответственное отношение к происходящему в регионе — но ровно до тех пор, пока последствия этого бездействия не докатятся до Москвы. Похожим образом об отношении политиков высшего уровня к курянам высказывалась и Мария, чей муж вынужден был самостоятельно вывозить ее родителей из-под обстрелов. В ходе знакомства наша исследовательница упомянула, что ей приходилось жить в Москве, на что ее собеседница заметила: «Вот если в Москву так начнут дроны летать, война сразу закончится» (ж, около 33, преподавательница ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024).

Казалось бы, если в прифронтовом регионе наступил хаос, жители должны винить руководство страны — ведь именно оно, в конце концов, начало и ведет эту войну — но требовать грамотных мер по работе с его последствиями от местной власти. Однако в реальности все оказалось не совсем так. Местные жители, не пережившие эвакуацию, считали ответственными за *причины* вторжения *конкретных представителей* региональных политических элит, из-за коррумпированности которых граница оказалась недостаточно укрепленной. Одновременно в плохой работе с *последствиями* этого вторжения — отсутствии адекватной помощи пострадавшим при «показушном» бравировании ей — они обвиняли абстрактную, деперсонифицированную «власть» вообще (куда обычно не включался президент

Путин). Беженцы реже говорили об ответственности за само вторжение, осмысляя скорее свой личный опыт, но в целом их рассуждения были похожими. В *причинах* своего беженства — неадекватно организованной эвакуации, а главное, затянувшемся пребывании вне дома — они винили *конкретных местных чиновников* (администрации деревень и поселков). В плохой работе с *последствиями* же своего беженства — неспособности, например, удовлетворить их острую потребность в жилье — они обвиняли *абстрактную власть*, неких «их», которые находятся где-то наверху. Иными словами, и те, и другие, говорили об ответственности конкретных политиков за причины произошедших событий (причем эти политики относились к местному или региональному уровню, и никогда — к федеральному), но ожидали помощи в смягчении их последствий от абстрактной власти.

При этом беженцы, выходцы из в целом менее привилегированных и менее образованных слоев населения, в отличие от не пострадавших от войны напрямую городских жителей региона, рассуждали о произошедшем с точки зрения собственного опыта: они пытались осмыслить то, что случилось с ними, а не причины военного обострения в регионе или войны как таковой. Кроме этого, в повседневных разговорах они чаще выражали свое недовольство в форме жалоб, а не артикулированной критики. Артикулированная критика, в отличие от жалоб, помимо описания проблем предполагает выявление их причин и приписывание ответственности за эти причины конкретным акторам. В артикулированном виде недовольство беженцев появилось только в письменных петициях, адресованных руководству страны. Не пострадавшие же напрямую от войны куряне — а в особенности те, кто уже интересовался политикой — могли четче сформулировать это недовольство и обвинить не только абстрактную власть, но и руководство страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель может закрыть глаза и представить, что в августе 2024 года в Курской области, на границе с Украиной, произошло, скажем, наводнение. Вода неожиданно вышла из берегов реки и залила десятки деревень и городков, заставив людей срочно покинуть свои дома и уехать подальше от границы, в столицу. Жители столицы, а также те, кто принял беженцев в других населенных пунктах области, разлились на региональных

чиновников, из-за коррумпированности которых берега реки оказались не укреплены и сильные ливни привели к катастрофе. В свою очередь, беженцы стали жаловаться на то, что администрации их городков и деревень не позаботились о своевременном предупреждении жителей и не организовали их эвакуацию. При этом и те, и другие понимали, что никто, кроме, разве что, господ Бога, не был виноват в том, что на протяжении нескольких дней в области шел проливной дождь, вызвавший в конечном счете это наводнение. Осенью 2024 года вода начала возвращаться в русло реки, оставляя после себя разрушенные деревни. Их жители сожалели о пропавшем урожае и гадали, когда они смогут, наконец, вернуться домой.

Теперь читатель может открыть глаза и оглянуться вокруг. В августе 2024 года в Курской области не было никакого наводнения — там случилось обострение российско-украинского конфликта. Однако все остальное случилось именно так, как представил себе читатель. Куряне пережили не один из эпизодов трехлетней войны, который развернулся прямо рядом с их домами — они, за редкими исключениями, пережили природную катастрофу.

В это же время их страна уже три года ведет войну с соседней страной, о чем они, разумеется, знали, но не думали слишком много — какое отношение она имеет к их повседневной жизни и к невзгодам, с которыми им приходится иметь дело? Впрочем... пережитые невзгоды и потеря «всего» заставляли их чувствовать себя еще более бессильными перед сильными мира сего — Богом, природой, властью, сидящей где-то в Кремле. Поэтому они еще больше, по сравнению с остальными россиянами, отстранялись от оценки сложного политического конфликта. Значит ли это, что они довольны властью? Конечно, нет! В располагающей к этому ситуации они были не прочь пожаловаться на власть и на ведущуюся ей в своих интересах войну, от которой страдают простые люди, такие же, как они. Но стоило ситуации разговора поменяться, жалобы исчезали, на их место приходили оправдания, или даже чаще — желание отстраниться от необходимости раздавать какие-либо оценки.

Среди них были и другие люди, меньшинство — это те, кто были уверены: вторжение произошло не просто так, оно являлось последствием войны, начатой российским политическим руководством, а значит, это самое руководство несет ответственность за смерти украинских и российских граждан. Однако эти люди со своим, казалось бы, особым, отличным от остальных взглядом на происходящее, жили рядом, дружили, влюблялись,

воспитывали детей вместе со всеми остальными — и, разумеется, сопереживали им. Они знали точно: какими бы странными ни были представления беженцев из пострадавших деревень, они не заслужили свои страдания и им нужна помощь, точно так же как помощь нужна мобилизованным на войну солдатам.

ГЛАВА 6.

**ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В
НАСТОЯЩЕМ,
ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ**

ВВЕДЕНИЕ



Жизнь рядом с фронтом может оказывать влияние на еще два важных аспекта повседневности людей, о которых мы традиционно рассказываем вам в наших исследованиях: их потребление информации и их размышления о будущем. Те, кто видят войну своими глазами, должны быть, казалось бы, менее восприимчивы к пропагандистским клише, имеющим слабое отношение к реальности. А в ситуации, когда даже жители далеких от фронта регионов с начала 2022 года с трудом представляют свое будущее, куряне, хочется предположить, после августа 2024 могли и вовсе потерять эту способность. Итак, напоследок мы расскажем о том, как жители прифронтовой Курской области обращались с информацией об идущей у них под боком войне, в том числе из пропагандистских медиа, и как они размышляли о будущем. Реальность по обыкновению оказалась сложнее, чем можно было бы себе представить.

1. МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОПАГАНДА

Военное обострение в Курской области заново поставило вопросы о доверии к информации и роли государственной пропаганды в войне. Если жители удаленных от фронта регионов формируют свое отношение к происходящему в значительной степени под влиянием государственной пропаганды, то для жителей приграничья война уже сошла с экранов теленовостей и вторглась в их повседневную жизнь. Курская область, находящаяся в непосредственной близости от зоны боевых действий, стала пространством, где официальная риторика и личный опыт нередко входили в противоречие.

Как люди воспринимают пропаганду, когда последняя расходится с наблюдаемой реальностью? Меняет ли это расхождение политические взгляды людей? В силу близости боев, цензурированной подачи информации о происходящем в регионе со стороны государственной пропаганды, а также недоступности информации с территорий, контролируемых ВСУ, беженцы часто оказывались перед необходимостью следить за пропагандой противоположной стороны — надеясь узнать, что происходит с их городами и селами, а также друзьями и родственниками, которые там остались. Как нахождение под огнем противоречивых политических нарративов сказывалось на их отношении к войне? В этом разделе мы опишем отношение курян к информации в СМИ — в частности, к пропаганде с той и другой

стороны, — источники информации, на которые они опираются, мотивы медиапотребления или отказа потреблять информацию, а также то, как информация влияла на их представления о войне.

Бесполезная пропаганда

На основе доступной информации сложно понять, насколько украинское наступление в Курской области в августе 2024 года было сюрпризом для российского руководства. Но оно точно стало сюрпризом для работников государственного аппарата. «Темники» или инструкции по освещению событий для сотрудников телеканалов и государственных СМИ были **разосланы** Администрацией Президента только через несколько дней после начала наступления. Мониторинговые организации, которые систематически извлекают данные из российских СМИ и социальных сетей, **отмечают** хаотичный и противоречивый характер освещения событий в СМИ в начале наступления. В то время, как государственные СМИ получили задачу преуменьшать масштаб наступления и придерживаться нейтрального тона, репортажи многих «военных корреспондентов» были гораздо более эмоциональными и подчеркивали потери российской армии.

Эти **инструкции** мало чем отличались от предыдущих реакций государственной пропаганды на неожиданные продвижения украинской армии. Журналистам предлагалось не говорить о процессе движения ВСУ, а делать акцент на успехах российских войск, которые не дают ВСУ пройти дальше вглубь территории. Им также было рекомендовано освещать атаки ВСУ на мирное население, подчеркивать единство и сплочение людей, которые помогают пострадавшим мирным жителям, усилия федеральной власти и лично Владимира Путина, которые «не бросают никого в беде». Происходящее в Курской области в августе 2024-го предлагалось сравнивать с Курской битвой времен ВОВ. В последующие месяцы государственные СМИ **продолжали** опираться на похожие темы, добавляя к ним акцент на большом количестве украинских пленных, а также скором и неотвратимом отступлении украинской армии.

Такой информационный фон создавал очевидное противоречие между пропагандой и наблюдаемой реальностью вокруг. Даже куряне, которые поддерживали вторжение в Украину и верили государственной пропаганде, ожидали от российских СМИ релевантной информации, которая помогла бы им ориентироваться в быстро меняющейся и опасной обстановке. Однако в попытке преуменьшить масштаб происходящего государственные медиа не справились с этой задачей, что вынуждало людей обращаться к альтернативным источникам: например, к таким платформам, как Telegram или YouTube. Последние, в свою очередь, становились

не только основными каналами получения информации, но и мишенью информационных операций со стороны противника, осознавшего их важность для населения вокруг линии фронта. Таким образом, многие куряне одновременно потребляли противоречивые интерпретации происходящего — с обеих сторон конфликта.

Усталость от «негатива», мечты о нейтральности

Большинство наших собеседников из тех, с кем нам вообще удалось поговорить о медиапотреблении, жаловались на политическую предвзятость как прогосударственных, так и оппозиционных источников. Например, Кира, жительница Курской области, так объяснила в интервью свой подход к потреблению информации:

«Я вообще всегда читаю новости со всех источников, и с прокремлевских, и с проукраинских. И уже на основании этого стараюсь какие-то выводы сделать. Я считаю, что это относится к потреблению любой информации. Всегда нужно делать выводы своей головой, не слушать вот оголтело одну или вторую сторону, а делать свои выводы. Мне не нравится эта категоричность, что вот если ты поддерживаешь одну сторону, ты только с этой стороны все впитываешь и только ей там абсолютно доверяешь» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

Многие другие собеседники наших исследовательниц разделяли позицию, стоящую за практикой, описанной Киной. Однако для них потреблять информацию из разных источников было сложно — это не просто требовало медиаграмотности, которой они не обладали, но и заставляло бы их лишней раз сталкиваться с травматичными новостями о войне, а также глубоко чуждыми интерпретациями происходящего. В результате такие люди частично или полностью ограничили потребление политической информации — причем часто задолго до военного обострения в Курской области.

Собеседники наших исследовательниц периодически говорили о практике чтения прогосударственных источниках в прошедшем времени:

«На протяжении двух лет, наверное, я “РИА Новости” *читал*. Но, честно, я уже не знаю, кого читать, чтобы более-менее получать объективную информацию, а не ту информацию, которую нам хотят преподнести. Потому что *сначала я слышал*, что

“РИА Новости” что-то адекватное постят. *Потом услышал, что там не стоит верить*» (интервью, м, 20 лет, студент, житель Курска, онлайн, ноябрь 2024).

Оппозиционные СМИ тоже казались многим курянам чересчур политизированными. Кира, которую мы уже цитировали выше, критически настроенная к войне, следующим образом рассуждала о Telegram-канале «Дождя», который оскорбил ее своим освещением теракта в «Крокус Сити Холле»:

«Когда был теракт в Крокусе, многие писали вот во всяких либеральных пабликах, особенно не стесняясь, о том, что нам так и нужно, мы заслужили это, да. <...> Я перестала читать “Дождь” после вот этой ситуации, когда я про теракт в Крокусе вычитала. Там было много таких комментариев. То есть это было не единичное что-то. И не раз, и не два. После этого я, ну, не хочу просто их читать» (интервью, ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

В глазах курян как российское, так и украинское общество были полны пропаганды. Как заметил бывший участник СВО, когда разговорился с нашей исследовательницей во время посещения центра гуманитарной помощи, «дети в Украине воспитываются на пропаганде, но и с нашей стороны тоже хватает пропаганды» (м, 27 лет, бывший военный-контрактник, участник СВО, Игловка, октябрь 2024). Поэтому некоторые наши собеседники выражали усталость от односторонней подачи информации и мечтали о более «нейтральных» СМИ. Например, жительница Курска Диана, с которой нашу исследовательницу познакомила их общая приятельница, и с которой исследовательница провела целый вечер, сидя в кафе и болтая о разном, призналась, что ей нравится украинский пророссийский блогер Анатолий Шарий. Нравится он ей, однако, не из-за пророссийской направленности своих постов, а из-за одинаково критичного отношения к действиям как российского, так и украинского правительства. «Шарий, — говорила Диана, — пытается смотреть на ситуацию с двух сторон» и «критически смотрит и на тех, и на других». Диана была уверена, что Шарий — один из немногих публичных фигур, которые стараются быть «на нейтральной стороне», и именно таких фигур ей хотелось слышать больше (ж, 21 год, работница аптечного склада, жительница Курска, Курск, декабрь 2024).

Кроме политической предвзятости раздражение вызывал и общий «негативный» тон новостей. Многие жаловались на усталость от тревожного информационного фона. Однажды, например, исследовательница позна-

комилась в баре с компанией молодых людей. Одна из них, Настя, родом из Льгова, но несколько лет назад переехавшая в Курск, в какой-то момент отметила: «Я новости не читаю, ничего не знаю, мне хорошо» (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, жительница Курска родом из приграничья, Курск, октябрь 2024). В этот же вечер исследовательница познакомилась с еще одной молодой девушкой, Соней. Соня оказалась родом из Белгорода — она переехала в Курск совсем недавно. Она разоткровенничалась с исследовательницей, рассказав, что после первых взрывов в Белгороде у нее начались панические атаки, а во сне она видела, как взрывается ее квартира. Девушка продолжила: «Я отписалась от тех пабликов, просто перестала вообще все читать. И стало легче» (ж, около 25 лет, профессия неизвестна, жительница Курска родом из Белгорода, Курск, октябрь 2024). Илья, молодой человек Насти, делился похожими переживаниями: «От наших тоже пиздеца много, но все равно тяжело смотреть и на украинские видео, и на российские видео» о войне (м, около 25 лет, IT-специалист, житель Москвы родом из Курска, Курск, октябрь 2024).

В новостях такого не покажут

Надо сказать, когда речь заходила о вторжении ВСУ в Курскую область, наши исследовательницы — порой неожиданно для себя — слышали от своих собеседников, причем не только с антивоенными взглядами, особенно резкие высказывания в адрес провластных СМИ. Например, разговорившись в одном из курских парков с пожилым мужчиной-беженцем, исследовательница узнала, что тот, хотя и пользуется телевизором, но только для того, чтобы смотреть сериалы вместе со своей женой. Он избегает политических шоу и резко критикует Владимира Соловьева: «А этого [Соловьева] вообще терпеть не могу. Он такой хам! Что ты всякую гадость мелешь? Как клоун кривляется!» (м, около 75 лет, пенсионер, беженец, Курск, октябрь 2024).

Фразы вроде «по телеку ничего не говорят» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024), «просто все умалчивается» (ж, около 40 лет, мастер педикюра, жительница Игловки, Игловка, октябрь 2024), «по телеку не скажут — по телеку у нас все хорошо, у нас все круто, у нас все классно» (ж, около 20 лет, студентка колледжа, волонтерка, Курск, сентябрь 2024) постоянно звучали в разговорах между нашими исследовательницами и жителями Курской области. Куряне считали, что причина этого — целенаправленные попытки власти преуменьшить масштаб происходящего, не показывать свои ошибки и провалы, не сеять излишнюю панику. Молодая волонтерка центра гуманитарной помощи Света, отправленная туда на «добровольно-принудительной» основе своим колледжем и отличающаяся острым языком и резкостью суждений,

как-то заявила нашей исследовательнице, что замалчивание происходящего нужно властям «чтобы правительство выставить хорошим». «По телеку прокручивают что? — продолжила она. — Гуманитарную помощь. По телеку прокручивают то, что у нас все хорошо» (ж, около 20 лет, студентка колледжа, волонтерка, Курск, сентябрь 2024). Другое объяснение исследовательница услышала от мастерицы педикюра: такая политика нужна, «чтобы панику не создавать и не подавлять моральный дух людей» (ж, около 40 лет, мастерица педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024).

Так или иначе, все собеседники наших исследовательниц, в принципе высказывавшиеся на эту тему, скептически относились к попыткам провластных СМИ скрыть или преуменьшить происходящее у них в области. «Скоро вилки новые выпустят, чтобы лапшу вот так сразу снимать — раз и все!» — иронично прокомментировала политику правительства Тамара, волонтерка одного из центров гуманитарной помощи, болтая с нашей исследовательницей (ж, около 45 лет, волонтерка, беженка, профессия неизвестна, Курск, декабрь 2024). «Да-да, лапшу чтобы снимать, накручивать!» — вторила ей, смеясь, Шура, другая волонтерка (ж, около 50 лет, волонтерка, беженка, профессия неизвестна, Курск, декабрь 2024).

Особенно остро недоверие звучало в разговорах с беженцами. «В новостях все хорошо, — иронично заметил одинокий беженец, перекидываясь парой слов с волонтерами, среди которых была и наша исследовательница, во время получения продуктового набора. — Что там в этих новостях? Вы смотрите новости? Мы все знаем только по разговорам людей» (м, около 50 лет, профессия неизвестна, беженец, Курск, сентябрь 2024). С ним тут же согласилась одна из волонтерок: «Нет, в новостях такое не покажут» (ж, около 33 лет, преподавательница ПТУ, жительница Курска, Курск, сентябрь 2024). В другом центре гуманитарной помощи наша исследовательница как-то помогала с выбором одежды семейной паре из Глушково — и разговорилась с женщиной. Та рассказала, что ее поразила разница между новостями, которые она смотрела 7-8 августа, и ее родным поселком, который пустел у нее на глазах. «Я работала 7-8 числа и смотрела телевизор. И поселок пустеет — по телевизору ничего! — возмущалась она. — Говорили о каком-то чиновнике, который Путину докладывался о том, что зашли в Курскую область около 300 человек из ДРГ [диверсионно-разведывательных групп]» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024).

О пользе Telegram-каналов

В силу этнографического характера нашего исследования мы не можем составить исчерпывающий список информационных источников, на который полагались куряне, или подробно описать их практики медиапотребления. В повседневных взаимодействиях наши собеседники редко упоминали, откуда именно получают информацию — а сами эти взаимодействия лишь изредко позволяли задать вопрос о медиапотреблении, не нарушая спонтанного характера беседы. Тем не менее, систематизировав все источники, которые так или иначе фигурировали в разговорах, можно получить некоторое представление о медиапотреблении наших собеседников.

Тип	Ориентация	Упомянутые источники
YouTube-каналы	Оппозиционные	<i>Продолжение следует, Редакция, Ходорковский Live, Максим Кац, Илья Варламов</i>
	Прогосударственные	<i>Стас Ай, Как Просто!</i>
Telegram-каналы	Прогосударственные	<i>Ридовка, Два Майора, Апти Алаудинов «Ахмат», Берегини*, Когнитивная война</i>
	Украинские пророссийские	Анатолий Шарий
	Нейтральные	Ateo Breaking
	Местные	<i>Суджа родная, Актуальный Курск, Курский Бомондъ, Вестник приграничья</i>
Онлайн-СМИ	Прогосударственные	РИА Новости
	Оппозиционные	<i>ВВС Российская служба, Медуза, Дождь</i>
Агрегаторы	Прогосударственные	Яндекс.Новости

На первое место по популярности среди собеседников наших исследовательниц с большим отрывом выходят каналы в Telegram, за которыми следуют YouTube-каналы. Впрочем, последние, кажется, становятся менее популярны из-за «замедления» YouTube. Показательно, что ни один из тех, с кем общались наши исследовательницы, не упомянул среди релевантных

* Источник классифицирован как прогосударственный несмотря на то, что группа, которой принадлежит канал, представляет себя как украинская хактивистская группа. Дело в том, что по факту канал является пророссийским, а сайт группы находится на российском сервере. Подробнее см.: <https://nixintel.info/osint/digging-into-russian-disinfo-infrastructure/>

для себя источников информации новости и политические программы на телевидении. Так, например, Вероника, с которой исследовательнице несколько часов гуляла по городу и болтала буквально обо всем, объяснила ей прямым текстом — военное обострение в Курской области не отражается в теленовостях, и добавила: «Мы сами из Telegram-каналов многое узнаем» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

Интересно также, что куряне — причем как городские жители с высшим образованием и предположительно более высокой медиаграмотностью, так и пенсионеры и пенсионерки из небольших приграничных деревень — часто уверенно рассуждали о конкретных Telegram-каналах, оценивая достоверность и полезность их материалов. Например, о каналах вроде «Ридовка» или «Два Майора» они обычно говорили с недоверием, потому что их контент казался им несоответствующим реальности вокруг. Так, когда наша исследовательница разговорилась с одной из посетительниц центра гуманитарной помощи родом из Суджи, та в какой-то момент призналась, что перестала читать канал «Два майора» именно по этой причине. По ее воспоминаниям, 6-го и 7-го августа промежутки тишины между взрывами от артиллерии и авиаударов в Судже не превышали трех минут. Однако уже после эвакуации в Курск она прочитала в канале, что «все под контролем, не волнуйтесь, был небольшой прорыв». Такое несоответствие между сообщениями канала и тем, что она пережила сама, возмутило ее, и она даже сделала скриншот этой публикации, хотя сама толком не смогла объяснить, зачем: «Ну, зачем я? Кому это я буду доказывать?» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

На этом фоне популярность среди курян стали набирать местные, менее политизированные каналы и чаты в Telegram и WhatsApp. Именно они реагировали на события быстро и предоставляли релевантную информацию. К тому же, как отметил один из наших собеседников, вместе с такими каналами «можно поугорать» (м, около 30 лет, IT-специалист, житель Курска, Курск, ноябрь 2024). Поскольку эти каналы оперативно реагировали на обстрелы, ночами в них появлялись много постов и комментариев, чтение (и участие в обсуждениях) которых позволяло курянам почувствовать хоть какой-то контроль над происходящим.

Я просто слушаю людей

В [предыдущих отчетах](#) мы уже показывали, что в ситуации недоверия СМИ и социальным сетям многие россияне полагаются на других людей — родственников, друзей, знакомых — как на более достоверные источники информации. Такая стратегия, впрочем, не слишком способствует

более разностороннему взгляду на события, ведь люди формируют круг знакомств в соответствии с собственными взглядами, к тому же, те, кто говорят о событиях от первого лица, могут также быть подвержены пропаганде. Эта тенденция усиливается в Курской области, где многие люди, в особенности пострадавшие от войны напрямую, живут в небольших поселениях с плотными социальными связями.

Как и россияне в отдаленных от фронта районах, жители Курской области, сокращая потребление новостей, ожидали, что самые важные из них они все равно услышат от других. Так, жительница Курска Валя, с которой нашей исследовательнице удалось провести интервью под запись, призналась, что, хотя иногда и читает новости в Telegram, но в целом полагается на своего парня, который «скидывает выборочно, что реально интересно», то есть по сути «контролирует поток новостей» (интервью, ж, около 23 лет, студентка и парикмахер, жительница Курска, онлайн, ноябрь). Эта стратегия кажется нашим собеседникам разумной, во-первых, потому, что «когда вы живете в приграничной области, то вокруг очень много заинтересованных [то есть, следящих за событиями] людей» (интервью, м, 20 лет, студент, житель Курска, онлайн, ноябрь 2024), а, во-вторых, из-за того, что в маленьких населенных пунктах информация распространяется сама собой. «Город маленький, мы все равно общаемся друг с другом, и эта информация передается, — объяснила нашей исследовательнице мастерица педикюра прямо во время процедуры. — Все списываются, обсуждают, кто и что увидел и услышал» (ж, около 40 лет, мастерица педикюра, жительница Игловки, Игловка, сентябрь 2024).

При этом в Курской области процесс делегирования новостных функций другим обладал уникальными чертами. Во-первых, когда живешь рядом с фронтом, военные новости, получаемые от земляков, могут являться жизненно важными. Так, по словам беженки из Суджи, которую наша исследовательница случайно встретила в парке, она успела уехать из города на поезде только потому, что узнала об эвакуации от своей знакомой: «Это знакомая мне сказала. А если бы этой знакомой не было у нас? Поезд этот ушел бы. У нас нет транспорта» (ж, 71 год, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024). Во-вторых, желание получать релевантную информацию и наличие собственного опыта жизни рядом с фронтом делали курян более критичными к ней. Однажды наша исследовательница разговорилась с сотрудником похоронного бюро. Он поделился с ней историей, которую услышал от своей знакомой: сестра этой знакомой якобы ехала по Судже и видела тела российских солдат на колах. Понимая реалии войны, собеседник исследовательницы быстро разоблачил эту историю как недостоверную: «Если бы это было правдой, как бы она попала на украинскую

территорию? Если бы это была российская территория, то тела бы давно сняли. Это все чушь» (м, около 55 лет, сотрудник похоронного бюро, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Между «своей» и «чужой» пропагандой

В предыдущих отчетах мы рассказывали о том, что критическое отношение к СМИ не всегда ведет к привычке проверять информацию — особенно если это информация о событиях, которые происходят далеко и не касаются людей напрямую. Совсем другое дело, когда речь идет об информации важной и практически значимой — например, об обстрелах собственного города или о родственниках, которые остались на захваченных ВСУ территориях. В каком-то смысле сама жизнь учит обитателей приграничных территорий базовым основам цифровой грамотности. Так, например, освоить грамотное пользование каналами в Telegram пришлось даже тем, кто раньше не пользовался этим мессенджером.

Парадоксальность ситуации, в которой находились куряне, была в том, что часто они оказывались больше подвержены «чужой», украинской пропаганде, чем «своей», российской. Мы уже знаем, что многие куряне полностью игнорировали государственные СМИ и прогосударственные каналы в Telegram как нерелевантные для их повседневной жизни в ситуации войны. Украинские же Telegram-каналы оказались для многих из них жизненно важными — ведь они предлагали информацию о происходящем в захваченных ВСУ деревнях и поселках области.

Украинская армия использовала подобный интерес курян для своих информационных кампаний, публикуя видео с жителями контролируемых территорий области в социальных сетях. Эти видео были призваны подчеркнуть гуманность отношения ВСУ к мирным жителям. Вряд ли вызвавшие бы интерес у россиян из отдаленных от фронта регионов, для курян эти видео становились подчас единственным способом увидеть знакомых или родственников и убедиться, что они живы. Вероника рассказала, что ссылки на такие ролики часто появляются в закрытых чатах и каналах. Недавно, например, в закрытом канале города Суджи стали публиковаться видео о том, как украинские военные помогают и поддерживают местных жителей: «Там ВСУ записывает видео с местными жителями, типа “привет, дед, как дела?”. И люди в группе узнают, “Это мой папа!”». Вероника поведала и о собственном опыте опознания знакомых в таких видео: «Я вот совсем недавно узнала тетю Машу. Она дает интервью украинскому каналу: “Здравствуй, я такая-то такая, тетя Маша, все хорошо, не обижают” (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024).

При этом куряне осторожно оценивали достоверность таких видео. Они понимали, что видео сделаны ВСУ в целях пропаганды. Уже упомянутая выше Вероника, например, предполагала, что они вообще могут быть постановочными — впрочем, идентифицировать манипуляцию в таких видео сложно: «Там у них сильная школа. Очень творческий народ. Прощаренная нация. Я смотрю эти видео и ловлю себя на мысли: “А вдруг правда? Это наши бомбили, а они пришли освобождать. Не знаешь же, кому верить”» (ж, около 35 лет, кинолог, жительница Курска, Курск, октябрь 2024). А по словам одной из беженок, «ВСУ показывают, какие они хорошие, и как российская армия бомбит Суджу — какие они плохие» (ж, около 50 лет, профессия неизвестна, беженка, Игловка, октябрь 2024) — иными словами, украинская сторона явно снимает эти видео в своих собственных целях.

Однако наши собеседники не делали категоричных высказываний и о недостоверности подобных роликов. Многие признавали, что ВСУ действительно могут относиться гуманно как к мирным жителям, так и к солдатам российской армии. ВСУ «помогали солдатам нашим — еду давали и помогали бежать», — заметил в разговоре с нашей исследовательницей сотрудник похоронного бюро в Курске. Поэтому полностью отделить факты от манипуляции очень сложно: «Тут ничего не поймешь, непонятно» (м, около 55 лет, сотрудник похоронного бюро, житель Курска, Курск, октябрь 2024).

Всей правды мы (все еще) не знаем

Однако понимание предвзятости государственной пропаганды редко заставляет людей пересмотреть свой взгляд на войну. Россияне рассуждают по-другому: поскольку любая другая информация — из оппозиционных, западных или украинских изданий — это тоже пропаганда, то «правду мы никогда не узнаем». А значит можно выбрать ту версию (или медиа), чье освещение близко к собственному взгляду на происходящее. И снова в Курской области мы наблюдаем то же самое, но в усиленной форме.

Казалось бы, если куряне видели, что российская пропаганда рассказывает и показывает неправду, они должны были начать относиться к политике государства более критически. Этого, однако, не произошло. Драматический характер происходящего и недоверие любым источникам информации привели к тому, что люди «откатились» к тем объяснительным конструкциям, которые казались им очевидными. Например, люди с прогосударственными взглядами начали искать объяснения, которые помогли бы им защитить действия государства. Так, во время своего волонтерства в центре гуманитарной помощи наша исследовательница встретила муж-

чину, который оказался бывшим контрактником — участником СВО, восстанавливающимся после ранения. Среди прочего этот мужчина ругал пропаганду и в украинском и, что важно, в российском обществе: «Дети на Украине воспитываются на пропаганде. Но и с нашей стороны тоже хватает пропаганды». Такой взгляд, однако, не заставил его стать критичным к войне. Чтобы защитить действия России, он обратился к расхожему клише о том, что война — это неотъемлемое свойство человечества: «Это животный инстинкт. Среди зверей всегда идет грызня — сильный всегда убивает слабого. Так оно будет всегда» (м, 27 лет, бывший военный-контрактник, участник СВО, Игловка, октябрь 2024).

Для людей, которые склонны к конспирологическим объяснениям происходящего, отсутствие достоверной информации и пропаганда с обеих сторон оказывались подтверждением того, что наступление ВСУ в Курской области — это результат сговора российских, украинских или мировых элит, смысл которого не может быть ясен обычному человеку. Например, одна разговорчивая посетительница центра гуманитарной помощи делилась с исследовательницей, пока та помогала ей подбирать одежду: смысла верить написанному в социальных сетях нет, поскольку эта информация доступна всем, в том числе врагу. А кто же будет сообщать правду врагу? «Там какая-то политика своя, — уверена она. — Мы не должны ничего знать» (ж, около 40 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Вторжение войны в повседневную жизнь жителей Курской области резко усилило внимание последних к медиа и социальным сетям, сделав их ресурсом, важным для безопасности и выживания. Однако провластные СМИ не справились с задачей предоставления курянам релевантной и своевременной информации: их попытки приуменьшить масштаб наступления ВСУ и сохранить контроль над интерпретацией событий способствовали еще большему недоверию к ним, причем даже среди лояльных к власти граждан. Люди начали активно использовать альтернативные источники: каналы в Telegram, YouTube и местные чаты. Впрочем, оппозиционные и украинские каналы продолжали казаться им ангажированными, и из-за постоянного потока негативных новостей многие радикально сокращали потребление любой информации. В условиях растущей усталости и тревоги они делегировали «отсев» новостей другим — более политически «грамотным» знакомым, и доверяли в первую очередь тем, кого они знали лично внутри маленького

локального сообщества. Одновременно они научились фильтровать информацию и различать манипуляции, потому что эти навыки были необходимы для выживания.

Многие жители приграничья стали следить за украинскими Telegram- и YouTube-каналами, поскольку это был единственный способ узнать, что происходит на подконтрольных ВСУ территориях, где остались их родные и знакомые. Парадоксально, но в условиях полного недоверия «своим» СМИ именно «чужая» пропаганда стала источником жизненно важной информации. Тем не менее, несмотря на очевидную курьянам ложь, льющуюся с экранов телевизоров и страниц провластных СМИ, они никак не пересмотрели свой взгляд на российско-украинский конфликт. Недоверие к одним источникам не вело к доверию к другим, а порождало общий скепсис и стремление объяснить происходящее через устойчивые мировоззренческие схемы — от культурных стереотипов до конспирологических теорий. В результате люди продолжали воспринимать информацию избирательно и в соответствии с уже сложившимися предпочтениями.

2. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ ПОСЛЕ УКРАИНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ?

К последней главе даже самый невнимательный читатель должен был заметить: среди наших героев были как беженцы, чья жизнь радикально изменилась из-за войны, так и те курьяне, которые, несмотря на близость к границе с Украиной, обстрелы и налеты дронов, смогли продолжить жить как раньше. Находясь на разном расстоянии от фронта — как географически, так и социально, — смотрели ли они в будущее по-разному? И если да (именно таким будет ответ на этот вопрос), то в чем лучше измерять дистанцию между ними — в километрах, опыте или в чем-то еще?

Вперед в прошлое

Проводя исследование в далеких от фронта регионах России, мы обнаружили, что наши собеседники мечтали о скором окончании войны, но одновременно со страхом предрекали, что она может затянуться. Жители Курской области, прифронтового региона, точно так же желали завершения конфликта — «в идеале завтра, сейчас» (ж, 34 года, СММщица в частной компании, жительница Курска, Курск, декабрь 2024). Однако те, кто не пострадал от войны напрямую и не превратился в беженцев, так или иначе смирились с его затяжным характером. «Пока капают деньги,

это выгодно, а пока выгодно, значит, бесконечно», — удрученно отметил Федор, с которым наша исследовательница разговорилась в баре (м, около 25 лет, работник алкогольного завода, житель Курска, Курск, октябрь 2024). Представления наших собеседников по поводу окончания войны варьировались от «Россия будет расплачиваться ... еще очень долгое время» (интервью, м, 20 лет, студент, житель Курска, онлайн, ноябрь 2024) до ожидания раздела Украины между Россией и странами запада. Эти рассуждения уже хорошо нам знакомы — мы слышали их от живущих вдали от фронта россиян еще в 2022 году. Таким образом, не пострадавшие напрямую от войны жители прифронтовой Курской области отличались от наших предыдущих собеседников разве что большей готовностью смириться с затянувшейся войной. Из одного из главных страхов эта отсрочка превратилась в неприятный, но неустрашимый факт неприглядной реальности вокруг.

Однако те, чьи жизни радикально изменились из-за российско-украинской войны — люди, которые потеряли свои дома и превратились в беженцев, — смотрели в будущее иначе. Во-первых, наиболее охотно беженцы говорили о своем личном будущем, которое они связывали не с прекращением войны, а с возвращением к покинутым домам, огородам и привычным занятиям. Думая о будущем, особенно в начале осени 2024 года, они мечтали не о чем-то новом, а о возвращении к прошлому, к своим вещам и образу жизни, от которых им пришлось отказаться.

Когда живущие далеко от фронта россияне рассуждали о будущем в первые годы войны, они надеялись, что после ее окончания смогут продолжить жить так, как будто этой войны не было. В этом смысле война для них была скорее приостановкой, паузой. Беженцы из курского приграничья же мечтали о возвращении к прошлому как о преодолении утраты: их будущее должно было наступить, когда они смогут вернуться к тому, что потеряли, и восстановить прошлую жизнь.

Например, однажды, увидев сидящую со скучающим видом на территории центра гуманитарной помощи пожилую женщину с внуком, исследовательница решила заговорить с ней. Та отвечала на расспросы исследовательницы охотно, но односложно. Среди прочего, она уверенно сказала, что вернется в родную деревню, «когда это все закончится». «А как вы думаете — когда это все закончится?» — тут же поинтересовалась исследовательница. «Я понятия не имею», — услышала она. Чуть позже исследовательница зашла с другой стороны: она уточнила, как, по мнению собеседницы, война повлияет на ее шансы вернуться. На этот вопрос у собеседницы был вполне конкретный ответ. «Ну, мы как-то не слишком

близко к Судже. У нас вроде бы дома стоят, газ сделают, значит, вернемся», — проговорила она (ж, около 65 лет, пенсионерка, беженка, Игловка, октябрь 2024).

В этом коротком обмене репликами важен контраст между отказом этой пожилой женщины давать какие-либо оценки возможному сроку продолжения войны («Я понятия не имею») и легкостью, с которой она оценивала возможные сроки пребывания вне дома (не слишком близко к Судже, отсутствие существенных разрушений, возможность починки газопровода). «Влияние войны» для нее сводилось к конкретным процессам, происходящим в ее районе. Война же как таковая была в ее глазах чем-то снять далеким и абстрактным, тем, о чем бесполезно рассуждать.

В целом беженцы, как и эта пожилая женщина, охотно говорили о том, когда и чем закончатся боевые действия на территориях, которые им пришлось покинуть, в то время как окончание российско-украинской войны, казалось, волновало их гораздо меньше. Рассуждая о будущем, они пытались угадать, когда будут освобождены *их* населенные пункты, как скоро *они* смогут вернуться домой и восстановят ли то, что было разрушено в ходе военных действий. Эти догадки были максимально конкретны: они рассчитывали даты возможного возвращения, определяли условия, при которых украинские войска могут быть отброшены, а их жилища — снова стать пригодными для жизни. Многие планировали вернуться в свои дома весной или летом 2025 года, потому что, по их подсчетам — и согласно «экспертным оценкам», на которые они ссылались — именно тогда украинская армия будет вытеснена с занятых ей российских территорий и начнется их восстановление. Например, пожилая беженка, которую исследовательница случайно встретила во время прогулки по курскому парку, рассуждала о возможных военных стратегиях в приграничье с серьезным видом военного аналитика. С ее точки зрения, приграничные деревни будут отвоеваны у ВСУ весной 2025 года, потому что в холодную зимнюю погоду, согласно мнению отставного полковника из интернета, разумнее всего начать контратаку. А военный, пограничник, с которым она говорила лично, уверил ее, что украинцев «нужно выбить хотя бы за Суджу — тогда дроны не долетят, тогда уже можно что-то восстанавливать» (ж, 71 год, пенсионерка, беженка, Курск, октябрь 2024).

Ожидание скорого возвращения, особенно томительное в начале осени 2024 года, задавало не только направление бесед беженцев между собой, но и некоторые их практики — например, выбор одежды в центрах гуманитарной помощи. Исследовательницы много раз наблюдали ситуации, когда этот выбор определялся представлениями беженцев о будущем. Иногда даже казалось, что, выбирая одежду, беженцы почти магическим образом

пытались на это будущее повлиять. Например, иногда они отказывались брать одежду «про запас», считая, что она им не пригодится: они вернутся домой и смогут носить свою или покупать одежду сами. Как-то одна молодая беженка, находящаяся на позднем сроке беременности, отвергла предложение исследовательницы подобрать одежду для малыша, которому скоро предстояло появиться на свет — она надеялась, что это событие произойдет уже дома (центр гуманитарной помощи, Игловка, октябрь 2024). Еще одна посетительница центра гуманитарной помощи отказалась забрать куртку «на весну», объяснив, что весной «может, мы домой уедем» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024), а другая объяснила, что ей не нужна обувь на лето, поскольку свои осенние ботинки она сможет носить и весной, «а летом мы уже домой» (ж, около 30 лет, профессия неизвестна, беженка, Курск, декабрь 2024).

Многие беженцы **попадали в ловушку безвременья**: они пассивно ждали момента, когда смогут вернуться к прошлой жизни — живя в ПВР, не предпринимая попыток искать работу и не стремясь получить сертификаты на жилье. Выбирая одежду «на будущее» — или отказываясь ее выбирать — они как будто совершали магический ритуал: заговаривали время, делая то небольшое, что в их силах, с целью приблизить желаемое будущее.

Таким образом, куряне, не пострадавшие напрямую от войны, как и жители других регионов России, в том числе близких к границе с Украиной, были готовы рассуждать о сценариях ее окончания, потому что она «далеко» — не географически, а практически: она не изменила радикально их повседневную жизнь. Беженцы же, напротив, редко говорили о российско-украинском конфликте как таковом. «Война» для них была в первую очередь тем, что произошло с ними. Она началась, когда им пришлось покинуть свои дома, и должна будет закончиться, когда они смогут вернуться. Поэтому и будущее, о котором они размышляли, казалось очень конкретным: это было их *личное* будущее, и зависело оно от того, как будут разворачиваться события на занятых украинской армией территориях Курской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда война приходит к людям на порог, они действительно начинают по-другому взаимодействовать с потоками доступной информации и по-другому смотреть в будущее. Их взгляд на информацию о сегодняшнем дне — ожидаемо — становится более придирчивым, а их взгляд в будущее

— неожиданно — более конкретным и острым. Куряне, и в особенности беженцы говорили о новостях из провластных источников исключительно со злой иронией — не столько из-за недостоверности последних, сколько из-за их бесполезности. Они научились искусно пользоваться разнообразными Telegram- и Youtube- каналами, в том числе украинскими, выуживая оттуда релевантную информацию о происходящем вокруг. Также искусно, впрочем, они уклонялись от эффекта «вражеской пропаганды»: окружающая их разноголосица в интерпретации событий усиливала общий скепсис в отношении любых «позиций» и оценок войны. При этом люди, чью жизнь война перевернула с ног на голову, не просто не потеряли способность размышлять о будущем, а превратили эти размышления в одну из основных тем для разговоров. В противоположность Марти Макфлаю, который спешил «назад в будущее», они мечтали попасть «вперед в прошлое» — скорее вернуться в свои деревни, восстановить хозяйство, зажить как раньше. Будущее, о котором они размышляли, было, таким образом, их личным будущим. Будущее военного конфликта как таковое, будущее страны, будущее народа казались им не поддающимися никаким предсказаниям, а значит — не заслуживающими внимания.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

**«ГОД ПРОШЕЛ, ЧИСЛО
СМЕНИЛОСЬ — НИ*УЯ НЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ»**

► **К**огда мы готовились к поездке в Курскую область сразу после начавшегося там военного обострения, мы ожидали увидеть все, что угодно, но не то же самое, что уже наблюдали в удаленных от фронта регионах — двух российских столицах, Свердловской области, Бурятии, Краснодарском крае. Первые сообщения от наших исследователей, как и первые страницы их дневников, действительно указывали на то, что в Курской области все по-другому. Но чем больше наши этнографы погружались в жизнь региона и чем внимательнее мы анализировали собранные ими данные, тем больше мы убеждались: основные тенденции, связанные с восприятием войны и повседневной жизнью людей в военное время, наблюдаемые нами в других местах, присутствовали и в прифронтовой Курской области, причем часто в усиленной, ярко выраженной форме.

ПРИРОДНАЯ КАТАСТРОФА

Когда из первых медиа-репортажей из Курской области стало известно, что для многих курян «война началась 6 августа 2024 года», это вызвало шквал возмущенных реакций. Как можно быть такими нечувствительными к горю других и очнуться, только когда «прилетело» в свой огород? — писали одни комментаторы. Как можно быть такими глупыми, наивно полагая, что начатая вашей страной война не придет к вам на порог? — злорадствовали другие. Так вам и надо! — просто восклицали третьи.

Эмоции, стоящие за подобными высказываниями, хорошо понятны. Одновременно эти высказывания не учитывают как особенности отношений между «обычными людьми» и властью в России — существующими как будто в параллельных мирах, — так и особенности жизни в российском приграничье. Жители приграничья, в отличие от большинства своих сограждан, «проснувшихся в шоке» в феврале 2022 года, находились вблизи боевых действий на протяжении нескольких лет. Они долго привыкали к непосредственной близости войны и в то же время учились существовать рядом с ней, сохраняя привычный мирный образ жизни. Вооруженные группы со стороны Украины уже пересекали российскую границу и с легкостью вторгались обратно российской армией. Присутствие военных на улицах приграничных населенных пунктов свидетельствовало для местных жителей о том, что они находятся под надежной защитой. Инфраструктура мирного времени — сады, школы, больницы, магазины, общественный транспорт — продолжали работать. Представители го-

сударства и государственные СМИ уверяли людей, что они в безопасности. Поэтому, даже несмотря на периодически учащающиеся обстрелы, многие жители приграничья верили, что «мирное сосуществование» с войной будет продолжаться еще долго.

Но этого не случилось. Длительная оккупация ВСУ части приграничных территорий, непригодность для жизни другой части и необходимость в спешке покинуть свои дома внезапно обрушились на головы курян, и война завладела их жизнью надолго. Катастрофическое по своим последствиям, это событие переживалось жителями региона как нечто *нерукотворное*, почти как *природная катастрофа*. На это указывают три особенности его восприятия и переживания.

Во-первых, куряне осмыслили вторжение ВСУ и последующую оккупацию российских территорий войсками противника как событие, которое произошло как будто само собой, по законам, не подвластным простым смертным и не поддающимся их пониманию. В результате многим казалось бессмысленным рассуждать о причинах этого события, давать ему интерпретации или наделять его какими-то политическими или идеологическими смыслами — с сопротивлением таким разговорам постоянно сталкивались наши исследовательницы. Несмотря на то, что российская пропаганда предоставляла множество интерпретаций так называемой «спецоперации», ни одно из них не было использовано курянами для осмысления пережитого ими опыта. Вторжение и оккупация, в точности как это бывает с природными катастрофами, *просто случились*.

Во-вторых, вторжение и оккупация переживались курянами как событие без прошлого и будущего, не связанное с российско-украинской войной, которое, как природная катастрофа, *уже завершилось*. В настоящем остались только горечь утраты и необходимость преодоления его последствий. Это особенно удивительно, учитывая, что во время полевой работы наших исследовательниц часть Курской области все еще находилась под контролем украинских войск, российская армия вела активные бои за населенные пункты, а с тысячами курян, оставшихся на оккупированных территориях, не было связи. Более того, большинство беженцев не могут вернуться домой до сих пор, осенью 2025 года.

В-третьих, это событие было для курян ограниченным не только во времени, но и в пространстве. Его последствия казались важными в первую очередь для тех мест, в которых оно произошло, и для жизни тех людей, которые от него пострадали. Оно не мыслилось как событие национального масштаба и значения. Прорыв границы и последовавшее

за ним продвижение украинских войск вглубь российской территории не воспринимались курянами (и россиянами вообще) как угроза национальной безопасности. Для не пострадавших напрямую от войны курян «негативный эффект» вторжения заключался в первую очередь в наплыве беженцев, который испытал их город: он привел к пробкам на дорогах и увеличил нагрузку на без того дряхлую инфраструктуру. Если ответственность за «природную катастрофу» и приписывалась кому-то, этим кем-то становились именно *местные* власти, из-за коррумпированности которых, по мнению многих наших собеседников, граница оказалась не укреплена. От них же куряне ждали своевременного информирования о ситуации и грамотно организованной эвакуации.

Все это, конечно, не означает, что куряне буквально не знали, что вторжение ВСУ являлось частью идущей российско-украинской войны. Просто сама эта война была не слишком популярна и даже не слишком понятна для курян, а вот вторжение ВСУ, очевидно, стало значимым для них событием. Оно было настолько внезапным и разрушительным, что рефлексия о нем оказалась еще больше затруднена, чем рефлексия о войне в целом.

Когда россияне из удаленных от фронта регионов сравнивали идущую войну с природным явлением, они, по сути, активно использовали эту метафору как *риторический инструмент* для оправдания неприятной реальности. Когда война сошла с экранов телевизоров и стала частью повседневности, люди стали *проживать* ее как природную катастрофу. Из риторического инструмента, метафоры, «природная катастрофа» превратилась в опыт, переживание. Вдали от войны это было одним из *способов интерпретации* войны, а вблизи — стало *способом отказа от интерпретации* военного опыта, нежелания оправдывать или критиковать войну, избегания разговоров о ней.

ЦЕННОСТЬ НОРМАЛЬНОСТИ

Природные катастрофы случаются и заканчиваются. Пострадавшие постепенно разбираются с их последствиями и привыкают жить в посткатастрофической реальности. Когда исследовательницы приехали в Курскую область спустя месяц и позже после эвакуации, они наблюдали формирование новой нормы жизни в регионе.

Во-первых, куряне не замечали элементы окружающей их военной реальности: например, не слышали сигналы тревоги или не видели бомбоубежища. Во-вторых, они активно избегали некоторых из этих элементов

— скажем, переворачивая предупреждающие об опасности телефоны, выключая уведомления и отписываясь от новостных каналов. В-третьих, они риторически отодвигали опасность во времени («это было раньше, а не сейчас») и в пространстве («это случилось там, а не здесь»). В-четвертых, они, наоборот, описывали элементы военной реальности как вечные и вездесущие («войны давно идут везде», мародерство военных — это свойство любой войны), и поэтому не стоящие внимания. В-пятых, они понижали статус военной опасности, низводя ее до бытовых неурядиц («полетел дрон, и стиральная машинка тоже полетела») и иронизируя над ней (бутылка издает звук при открытии — «пиуу-пиуу, ракетная тревога!», — комментирует барменша). В-шестых, они давали военной реальности новые интерпретации (звуки снаряда сигнализируют о том, что ты в безопасности, а не в опасности, ведь снаряд прилетел куда-то еще).

Все эти действия так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить нормальность, которая пошатнулась с приходом войны в жизни курян. В результате элементы военной реальности, которые сначала воспринимались как нечто экстраординарное, становились в их глазах чем-то обыденным, нормальным. Поскольку «объективный» мир вокруг стал другим, но субъективно, в результате усилий местных жителей, он продолжал видиться ими как обыкновенный, изменилось само их представление о норме.

Этот процесс мы называем *нормализацией*. Он представляет собой: 1) усилия по восстановлению реальности, чья обыденность и нормальность оказались под вопросом. В результате этих усилий 2) экстраординарные элементы реальности превращаются в обыденные и 3) меняются представления о норме (не как о том, к чему следует стремиться — а как о чем-то распространенном, общепринятом).

Оккупация ВСУ, поток беженцев (а тем более превращение в беженцев), снаряды и дроны над головой, столкновение с опасными для жизни ситуациями были экстраординарными, выходящими за пределы нормальности явлениями для жителей региона. Со временем, однако, куряне стали совершать усилия по восстановлению пошатнувшейся нормальности (этот процесс был отложенным во времени для беженцев, но и многие из них спустя месяцы стали «налаживать» нормальную жизнь). Прежде экстраординарное стало обыденным. Само представление о том, что является нормальным, а что нет, изменилось. Эта перемена бросается в глаза при чтении этнографических дневников наших исследовательниц: для них, новичков в регионе, многие вещи выглядели удивительными, тогда

как местные постоянно подтрунивали над их удивлением. То, что все еще казалось ненормальным для наших исследовательниц, осенью 2024 года уже было нормой для многих курян.

Почему куряне прилагали такие усилия по восстановлению нормальности? Часть объяснения, на наш взгляд, заключается в том, что «нормальность» сама по себе была для них ценностью. Они пытались убедить себя и других — и в особенности исследовательниц, гостей региона — в том, что у них «все нормально» и они продолжают жить «нормальной жизнью». Есть этому и другие свидетельства. Так, не пострадавшие от войны напрямую куряне помогали беженцам во многом именно потому, что видели в них таких же людей, как они сами, — тех, кто эту «нормальную» жизнь неожиданно потерял. Собеседники, готовые рассуждать о российско-украинской войне, пытались убедить исследовательниц, что они, россияне, — «нормальные», и вовсе не нападали на своих соседей. Радикальная поддержка войны — причем неважно, со стороны украинцев против россиян или со стороны россиян против украинцев — выглядела в их глазах отклонением от нормы.

С приходом войны в жизнь курян изменение нормы в смысле чего-то общепринятого во многом стало следствием укрепления прежней «ценностной» нормы — ценности аполитичной, частной жизни со своими близкими, вдали от идеологических конфликтов. Стараясь вернуть эту желаемую реальность, убедить себя и других в том, что новый мир не слишком отличается от этого идеала, они и превращали экстраординарные военные явления в нечто обыденное, «нормальное».

Ценность «нормальности» и попытки нормализовать войну свойственны далеко не только курянам — они свойственны очень многим россиянам. В приграничной Курской области эти тенденции просто были выражены сильнее: ее жителям приходилось совершать больше усилий для того, чтобы символически нормализовать ситуацию, потому что норма в статистическом смысле менялась быстрее и дальше уходила от аполитичного ценностного идеала.

ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ

Можно было бы ожидать, что в ответ на вторжение ВСУ куряне или мобилизуются в поддержку властей, или, наоборот, станут настроены к политике власти более негативно. Не произошло ни того, ни другого. Жители Курской области, к которым война пришла буквально на пороге, не «сплотились вокруг флага» перед лицом «врага» и не обозлились на

российские власти, обвиняя их в произошедшем. Куряне были не большими сторонниками или противниками войны, чем жители более отдаленных от фронта регионов. Однако они сильнее, чем последние, избегали каких-либо оценок военного конфликта с Украиной.

Постоянно обсуждая личный опыт войны, они неохотно говорили о причинах конфликта, не интересовались его возможными политическими интерпретациями, редко приписывали кому-то ответственность за происходящее. Это может показаться удивительным: разве близость к войне, влияние войны на повседневную жизнь людей, не должны делать их заинтересованными в ее оценке и исходе, не должны помогать в формировании мнения о войне, «хорошее» или «плохое»? Оказывается — не обязательно.

Во-первых, близость войны имела обратный эффект. Чем сильнее война затрагивала жизни людей, тем беспомощнее они чувствовали себя перед ее лицом, тем больше она напоминала природную стихию. Стихию не принято оценивать, ругать или хвалить.

Во-вторых, специфика медиапотребления в приграничье заставляла его жителей сильнее отстраняться от оценок конфликта. Куряне активно следили за украинскими пропагандистскими источниками, потому что именно они сообщали полезную информацию об их родственниках на оккупированных территориях. Вкупе с российской пропагандой, которая никуда не делась, это создавало ощущение разногласия в оценках и фактах, в которой невозможно разобраться, и подавляло всякое желание это делать. Кроме того, сравнение российской пропаганды с реальностью вокруг пусть и свидетельствовало о лжи, льющей с экранов телевизоров, но не настраивало курян против власти. Наоборот, оно только подтверждало, что политика — это грязное дело, и ей не должно быть места в нормальной жизни.

В-третьих, несмотря на милитаризацию городского ландшафта в регионе, военизированные материальные объекты никак не свидетельствовали о связи локальной опасности с российско-украинской войной. Многочисленные памятники по безопасному поведению во время обстрелов, ролики с призывами идти на фронт и инструкции по эвакуации никак не касались того, *почему* курянам приходится прятаться в укрытиях, *зачем* следует идти в армию и *от кого* нужно защищать регион.

Все эти факторы влияли не только на большинство аполитичных курян, но и на меньшинство политизированных, в том числе антивоенно настроенных жителей. Последние не меняли своего отношения к войне и

не переставали считать Кремль ответственным за ее начало. Однако они, как и их лояльные властям сограждане, неохотно рассуждали о причинах конфликта и не испытывали никакой симпатии к украинским властям или ВСУ, которые в их глазах также несли ответственность за затяжной характер войны.

В тех ситуациях, когда куряне все-таки оценивали — критиковали или оправдывали — войну, они делали это так же, как и россияне, живущие в удаленных от фронта регионах. Несмотря на личный опыт столкновения с военной реальностью, российско-украинский конфликт как таковой оставался для них, парадоксальным образом, событием из новостей. Пережитое военное обострение в регионе не поменяло взгляд курян на конфликт в целом, а многочисленные интерпретации конфликта из медиа не использовались ими для осмысления их собственной, региональной и локальной беды.

Куряне, как и другие россияне, часто критиковали или оправдывали войну *в зависимости от коммуникативной ситуации*. Когда речь заходила о вреде, который война и «политики» наносят им, россиянам, они противопоставляли себя государству и критически высказывались о его действиях («сами войте на своей войне»). Когда речь заходила о внешнеполитических действиях государства, направленных на украинцев, они идентифицировались с государством и эмоционально оправдывали его и себя («мы не нападаем, мы защищаемся»). Наконец, когда речь заходила об эпизодах или действиях, не направленных ни внутрь, ни вовне, они отделяли себя от государства, но не противопоставляли себя ему — и снова оправдывали войну, на этот раз отстраненно («наверху знают, что делают»).

Похожим образом куряне переключались между критикой и оправданием войны, когда говорили о разных уровнях власти. В разговорах о деятельности местных чиновников та обычно оценивалась негативно, и вторжение ВСУ виделось следствием их ошибок (из-за коррупции региональных чиновников границу не укрепили как следует). В то же время куряне были склонны оправдывать федеральную власть. Тогда они зачастую говорили о вторжении ВСУ в Курскую область как о заранее продуманном плане Кремля (надо было пожертвовать курским приграничьем, чтобы отвести войска противника от Донбасса).

В этом смысле критические или оправдательные высказывания курян в адрес войны нельзя назвать «мнениями» в строгом смысле слова. Наличие «мнения» предполагает, что в разных ситуациях люди оценивают один и тот же феномен в соответствии с ним. Мы же наблюдали нечто

противоположное: было ли высказывание критическим или оправдательным (и каким именно — эмоциональным или отстраненным), зависело от коммуникативной ситуации.

При этом и критика, и оправдания войны в устах курян (да и аполитичных россиян в целом, как мы знаем из наших [предыдущих исследований](#)) подчинялись одной и той же логике. Они не были радикальны, и они не объясняли необходимость (или ненужность) войны с помощью идеологических интерпретаций. Далекие от политики россияне, а куряне в особенности, вообще не так часто *объясняли* войну. Они жаловались на ее негативные последствия для обычных людей или делегировали власти ответственность за происходящее на фронте. А в тех ситуациях, когда им казалось, что имидж России и россиян находится под угрозой, они защищали его.

Почему куряне оказались особенно невосприимчивыми к разговорам о причинах и смысле войны? Почему они показались нам даже более «аполитичными», чем жители удаленных от фронта регионов, с которыми мы говорили в рамках [предыдущих этапов этого исследования](#)? Можно предположить, что роль в данном случае играют как временной, так и географический фактор. Близость к войне усиливает ощущение беспомощности, уменьшает агентность и чувство, что твои слова и поступки хоть что-то значат. А чем больше проходит времени — ведь с жителями удаленных от фронта регионов мы говорили в 2022 и 2023 годах — тем больше россияне чувствуют отчуждение от людей, принимающих решения в Кремле, и, снова, бессмысленность своих попыток что-то объяснить самим себе, другим и властям. Если в первые полгода после начала «спецоперации» люди пытались понять — и рассказать другим — что происходит, то спустя определенное время эти попытки остались в прошлом.

Язык российской пропаганды состоит из двух компонентов: идеологического-мобилизующего и деполитизирующего. [Первый компонент](#) — явный, он проявляется в содержании медиасообщений. К нему относятся все объяснения великого исторического смысла действий России в Украине, призывы к поддержке родины и патриотизму, популяризация определенных («традиционных») ценностей и так далее. [Второй компонент](#) — не явный, он проявляется в подтексте сообщений. Например, демонстрируя, что чиновники и политики склонны воровать деньги, что «везде» идут войны и что мир — беспокойное место, пропаганда внушает россиянам скепсис в отношении мира политики и способствуют желанию оградить себя от него, не вмешиваться в дела государства. Соотношение этих компонентов менялось со временем: второй преобладал в 2000-е годы, а первый [начинал играть](#) все более важную роль с начала

2010-х. Так вот: наши собеседники в Курской области отлично усваивали неявный, деполитизирующий компонент, и очень плохо — явный, идеологический, тот самый, который играет все более и более важную роль в российской пропаганде.

Идеологическая составляющая российской пропаганды — например, знаменитые речи и тексты президента Путина — направлена на придание войне с Украиной множества смыслов, встраивание ее в определенную геополитическую картину мира. Именно такое мышление, как мы могли убедиться, было чуждо большинству наших собеседников в Курской области, которые как раз не хотели *объяснять* войну. Даже говоря об украинцах, они не использовали идеологические клише. Мирное соседство с Украиной в прошлом даже после вторжения украинских войск вызывало у них теплые, ностальгические воспоминания. Солдат же ВСУ они описывали или негативно, но с помощью обиденного языка, или вообще отрицали, что среди них есть украинцы (а только поляки, американцы и «чумазые», в общем, наемники). Причем, если на первый взгляд похожее идеологическое пропагандистское клише предполагает, что «обычные» граждане Украины не хотят воевать с россиянами, а в ВСУ оказываются убежденные «нацисты» или принудительно мобилизованные, то куряне — те из них, кто вообще говорил об этом, — как будто отказывались верить, что украинцы в принципе способны воевать против россиян. Даже помогая военным — что со стороны может выглядеть как признак идеологической мобилизации населения — куряне просто по-человечески жалели их, считая, что те являются такими же жертвами неожиданного военного обострения в регионе, как и они сами.

Таким образом, военный кризис в Курской области не привел к идеологической мобилизации не только всей нации, но и жителей самого региона. Впрочем, не вылился он и в протесты (за редкими исключениями) или хотя бы сильное недовольство. Пришедшая на порог их домов война заставила курян только сильнее отстраниться от политико-идеологической оценки конфликта с Украиной.

РАЗОБЩЕННОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ

При этом нельзя сказать, что в результате военного обострения и гуманитарного кризиса куряне полностью погрузились в частную жизнь. Так, с августа 2024 года регион пережил небывалый рост инфраструктуры помощи пострадавшим жителям приграничья. Государственные организации, большой и малый бизнес, рядовые жители тратили свое время и

ресурсы, чтобы помочь беженцам. Более того, эта инфраструктура распространилась и за пределы региона: «гуманитарка» во многие центры стекалась со всей страны, а порой из других городов и областей приезжали и волонтеры. Инфраструктура помощи могла бы стать материальной основой для региональной, а может быть, даже национальной солидарности. Но этого не случилось.

С одной стороны, остальная Россия быстро забыла про оккупацию части Курской области, а в сам регион война привнесла новые конфликты. Беда, пришедшая в дома курян, стала не столько общей, сколько разъединяющей. Беженцы вынуждены были конкурировать за ограниченные ресурсы и часто требовали большей поддержки от уставших волонтеров. Последних, в свою очередь, порой раздражали неблагодарность и «иждивенчество» пострадавших. А жители принявших беженцев городов злились на беженцев из-за увеличения нагрузки на и без того хлипкую городскую инфраструктуру. В кризисной ситуации, как это часто бывает, лишенные ресурсов люди выстраивали своего рода «иерархию страдания» и боролись за место под еле греющим солнцем.

Одновременно гуманитарный кризис в Курской области способствовал развитию сочувствия между курянами, и в гораздо меньшей степени — солидарности. *Солидарность* появляется там, где разные группы людей с отличающимися, но в чем-то похожими интересами и/или ценностями, действуют вместе, несмотря на свои различия. *Сочувствие* же направлено на *других*: оно не ведет к формированию общих идентичностей и развитию *коллективного* действия.

Сочувствие между разными группами курян строилось в основном на ощущении близости. Это ощущение подвижно: одни и те же люди могут казаться нам близкими или далекими в разных ситуациях и обстоятельствах. Так происходило и с курянами. Когда жители пограничья вынуждены были покинуть свои дома и заполнили улицы Курска и других городов области, они превратились в новую группу, которая требовала поддержки и интеграции. Ее представители были чем-то похожи, а чем-то непохожи на не пострадавших от войны напрямую курян. Например, в большинстве своем беженцы происходили из деревень, а не городов, многие не имели высшего образования и вели отличный от городского образ жизни. Одновременно, как и городские жители, они владели имуществом, заботились о своих семьях и вели «нормальную» жизнь до эвакуации. В одних ситуациях сходства членов принимающего сообщества и беженцев оказывались важнее, и первые испытывали сочувствие к последним, направляя свои усилия на то, чтобы им помочь. В других же ситуациях на первый план выходили различия — и беженцы казались ку-

рянам, не пострадавшим от войны напрямую, чужаками, не способными интегрироваться в цивилизованное городское общество, претендующими на и без того ограниченные ресурсы.

Нечто похожее возникало и между самими беженцами. Иногда разные их группы — например, незнакомые жители одного и того же городка или района — считали друг друга близкими. Родственные или соседские связи в их глазах как будто расширялись и захватывали село, город, район. Тогда они помогали друг другу и даже пытались вместе решать свои проблемы (например, искали жилье или по очереди добывали «гуманитарку»). Иными словами, ощущение близости вело не только к развитию сочувствия, но и к формированию солидарности. Иногда же отдельные группы беженцев — например, жители одного и того же района, но разных сел — воспринимали друг друга как чужаков. Тогда вместо солидарности и сочувствия эти группы начинали конкурировать за ограниченные ресурсы. Несмотря на то, что в данном случае «объективная» географическая близость тоже играла роль, ощущение близости все равно было подвижным: иногда оно распространялось на ближайших родственников, иногда — и на соседей с односельчанами, а иногда — даже на жителей городка неподалеку.

Гуманитарный кризис в регионе показал потенциал сочувствия: жители приграничья помогали друг другу; не пострадавшие напрямую от войны куряне собирали вещи и деньги для беженцев; и те, и другие поддерживали «бедных солдат». Испытывая сочувствие, куряне в большинстве своем стремились поддерживать тех, кто похож, но *отличался* от них: кто, в отличие от них, лишился «нормальной жизни»; кто воюет на границе, пока они живут «в безопасности» дома; кто потерял все, тогда как у них многое осталось; кто, в конце концов, не обладал такими культурными навыками, как они, городские жители. Установка «у нас все нормально, не так плохо, как у них» была важна для многих.

Однако эта установка, способствуя сочувствию, часто мешала солидарности, то есть совместному действию на основе общих интересов. Иными словами, даже жители одного региона, Курской области, помогая друг другу, не думали о том, что у них могут быть общие интересы (что уж тут говорить об остальных россиянах). В этом контексте примечательно, что внутри группы беженцев (а не между членами принимающего сообщества и беженцами) мы наблюдали одновременно меньше примеров сочувствия и больше примеров солидарности. С одной стороны, беженцы чаще конкурировали друг с другом за ресурсы, считая, что помощь должна достаться именно им, а не другим, «менее пострадавшим» — как мы помним, в этих ситуациях разные группы беженцев видели друг друга

как чужих, далеких людей. С другой стороны, когда на передний план выходило ощущение сходства и близости, именно беженцы действовали, исходя из общих интересов: организовывали эвакуацию, искали жилье, добывали «гуманитарку» и даже выходили на митинги (которые оставались именно митингами беженцев — члены принимающего сообщества *сочувствовали*, но не присоединялись). Солидарность и сочувствие оказались очень разными явлениями.

При этом и сочувствие, и (редкая) солидарность между курянами были возможны именно благодаря ощущению близости, а не благодаря, например, ощущению сходства взглядов, интересов или проблем. Исследователи и *раньше замечали*, что именно из-за чувства близости, привязанности между людьми и людей к вещам — точнее, когда эти *отношения близости и привязанности нарушались* государством или бизнесом — было возможно коллективное действие в России. В этом смысле военное обострение в Курской области не произвело новые формы социальности, а сделало явными и в чем-то усилило уже существующие.

Говоря о разных видах солидарности внутри российского гражданского общества военного времени, *некоторые исследователи* подчеркивают особенную важность так называемой «рефлексивной» солидарности. Она «проявляется, прежде всего, по отношению к Другому — людям, социальным группам и инициативам, практикующим принципиально иные подходы и ценности» и «предполагает помощь тем, кто не входит в круг “своих”». Не оспаривая значимость этого типа солидарности для определенного типа инициатив, включающих в основном политизированное меньшинство россиян, мы хотели бы подчеркнуть ключевую роль противоположного типа — солидарности на основе близости — для далекого от политики большинства. Ни в коем случае не следует списывать со счетов этот тип солидарности как «неправильный» и «не настоящий», и не только потому, что именно он мобилизует тех, кто принадлежит к большинству. Дело еще и в том, что границы того, что считается «близким», могут меняться, и ощущение близости может связывать прежде «далеких» друг от друга людей.

ГОД ПРОШЕЛ, ЧИСЛО СМЕНИЛОСЬ...

Эта фраза — как и большинство самых метких и точных эпитетов — всплыла во время полевой работы нашей исследовательницы. В этот вечер она снова была в баре, где знакомилась и болтала с местными жителями. Она расспрашивала своих новых приятелей, которые оказались родом из приграничья, о жизни в регионе. Ей хотелось узнать, не бывает

ли им страшно, особенно учитывая, что «пиздец» вокруг (исследовательница обычно не стеснялась в выражениях, особенно в баре), поговаривают, начался даже до официального объявления «спецоперации». «А что изменилось?» — философски проговорила одна из девушек в компании — мол, живем мы так уже давно, а остальная Россия стала удивляться этому только сегодня. Исследовательница же поняла эту реплику по-своему. Для тех, кто живет в Москве, — сказала она, — ничего не изменилось, потому что в Москве войны как будто нет. Девушка, не слыша ее, продолжила гнуть свою линию: «Год прошел, число сменилось, ни*уя не изменилось», — иронично заметила она.

Произнося одни и те же слова, собеседницы говорили о разном. Одна указывала на то, что жители отдаленных от фронта регионов не замечают войну, а другая — на то, что жители приграничных регионов живут в «обострившейся» военной обстановке уже не первый год. Строго говоря, обе девушки были не совсем правы — но фраза при этом оказалась довольно точной.

Мы уже привели достаточно свидетельств того, что прифронтовая Курская область сразу после военного обострения — вторжения ВСУ, продолжающейся (на тот момент) оккупации части российской территории, регулярных обстрелов — не стала уникальным местом со своим особенным восприятием войны. Напротив, ее жители смотрели на российско-украинский конфликт, политику и власть и обживали реальность военного времени во многом так же, как и другие россияне, только тенденции, замеченные нами где-то еще, в приграничной Курской области были особенно четко выражены. Поскольку мы изучаем восприятие войны россиянами с самого начала полномасштабного вторжения — и, разумеется, следим за публикациями коллег, проводящих количественные исследования — мы можем посмотреть на ее динамику.

И многочисленные опросы, и качественные данные показывают, что шок, вызванный у большинства россиян началом российского вторжения в Украину, быстро прошел. Он сменился попытками людей как-то объяснить себе происходящее (рационализация), а потом — восстановить пошатнувшуюся нормальность. Вместе с этим экстраординарные элементы военной реальности превращались в обыденность и раз за разом утверждалась ценность «нормальной жизни».

«Нормальная жизнь» переживала испытания на прочность. Те или иные события приводили к шокам — большим и маленьким, захватывающим все население и локализованным. Например, объявление мобилизации испугало многих, а вторжение ВСУ в Белгородскую, потом в Курскую

область и оккупация приграничных населенных пунктов — скорее только живущих рядом людей, и то совсем ненадолго. Так или иначе, большинство россиян успешно справлялись с шоком, иногда пытаясь объяснить себе происходящее, но всегда — убеждать себя и других, что все, в общем-то, в порядке и можно продолжать жить дальше. События, которые *могли бы* (как казалось в начале антивоенно настроенными наблюдателям) заставить россиян «одуматься» или «задуматься», производили обратный эффект: заставляли их еще раз убедить себя, что ничего особенного не происходит. Цикл повторялся, и «норма» продолжала демонстрировать свою эластичность. «Год прошел, число сменилось...» — дальше можно не продолжать.

В этом месте кто-то из читателей может не удержаться и сказать: ага, значит, россияне съедят все — что и требовалось доказать. Этот взгляд некорректен по нескольким причинам.

Во-первых, приспособление к событиям и обстоятельствам, которые сначала вызывают шок, так или иначе свойственно человеческим сообществам и живым существам в целом. Люди привыкают к климатическим изменениям, к последствиям экономических кризисов и природных катастроф, а множество исследований самых разных стран показывают, как люди привыкают к войнам, особенно если те ведутся их странами где-то еще.

Во-вторых, дьявол, как всегда, кроется в деталях. Большинство россиян успешно справляются с нормализацией шокирующих событий или новостей (или в принципе перестают обращать на них внимание) — но не все. Например, в целом куряне, включая часть беженцев, адаптировались к пришедшей на порог войне и даже потерям, но кое-кто спустя год после военного обострения все еще не оставлял **попытки публично выражать недовольство**. Не получилось нормализовать свою жизнь и у **некоторых жен мобилизованных**, тех, которые организовались в движение и зависли в лимбо: они не могли ни вернуть прежнюю жизнь, ни вместе с остальными строить новую. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше мы будем видеть «неудачных» примеров нормализации, тем больше людей, забытых обществом, будут каким-то образом артикулировать недовольство.

В-третьих, у событий, которые, пусть на короткое время, приводят к шоку, «встряхивают» людей, есть менее заметные, но более долгосрочные последствия. Они приводят к росту недовольства: тихого, в формате жалоб друг другу, а не артикулированной публичной критики, адресованной скорее местной, а не федеральной власти — но тем не менее. Пусть

люди, по-разному пострадавшие от войны, не объединяются в единую группу и не считают, что у них есть общие интересы, зато происходит расширение категории «близких», по отношению к которым далекие от политики россияне склонны испытывать сочувствие и солидарность. Мы не знаем, к каким именно эффектам могут привести такие шаткие солидарность и сочувствие, которые грозят обернуться своей противоположностью, и такое «неправильное» недовольство, которое не направлено на принимающих ключевые решения, но, возможно, именно к ним нам стоит присмотреться внимательнее в будущем?

В настоящем же мы видим проигрыш политизации и идеологической мобилизации — будь то за или против политики Кремля. В схватке между «партией мира» и «партией войны» побеждает нормальность и запрос на нее.

**лаборатория
публичной
социологии**